

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛЯ

С О В Е Т С К А Я Э Т Н О Г Р А Ф И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

Январь — Февраль

1969



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва

Редакционная коллегия:

Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **Ю. В. Арутюнян**,
Н. А. Баскаков, **С. И. Брук**, **Л. Ф. Моногарова** (зам. глав. редактора),
Д. А. Ольдерогге, **А. И. Першиц**, **Л. П. Потапов**, **В. К. Соколова**,
С. А. Токарев, **Д. Д. Тумаркин** (зам. главного редактора), **В. Н. Чернецов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*

Ю. П. Аверкиева, С. А. Арутюнов, Ю. В. Бромлей

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

Прошло четыре года со времени всем нам памятного VII МКАЭН, состоявшегося в августе 1964 г. в Москве и явившегося большим событием в научной жизни нашей страны. Недавно (с 3 по 10 сентября 1968 г.) в Японии состоялся VIII очередной МКАЭН. Место его заседаний было поделено между двумя японскими столицами: новой (Токио) и древней (Киото).

Заседания первых пяти дней были проведены в Токио в одном из крупнейших общественных зданий столицы. Последние же три дня работы конгресса и его торжественное закрытие состоялись в Киото в большом оригинальной архитектуры здании («Доме международных съездов»).

В конгрессе участвовало около тысячи человек, представлявших науку свыше 50 стран мира.

Японская делегация, естественно, была самой многочисленной на конгрессе. В его работе принимало участие около 300 японских ученых, не говоря уже о многочисленных студентах и аспирантах. Однако с докладами выступила лишь часть японских участников конгресса. Большинство же из них было занято организационной работой в секциях и симпозиумах и ограничилось лишь участием в дискуссии. Иностранные участники конгресса за немногими исключениями почти все выступили с докладами.

Из зарубежных делегаций самой многочисленной была американская; она насчитывала 262 человека. Характерно, что вместе с крупными учеными с мировым именем в ее состав вошло также очень большое количество молодых начинающих исследователей.

Следующей по численности была советская делегация, включавшая 46 человек. Из западноевропейских стран относительно широко были представлены Франция и ФРГ, из социалистических стран примерно по 10 человек направили на конгресс Румыния и Чехословакия, по 1—3 человека — Польша, Венгрия, Югославия и ГДР.

Социалистические страны Азии на конгрессе представлены не были. Не участвовали в работе конгресса также ученые социалистической Кубы.

Довольно многочисленными, до 10 человек, были группы ученых из Таиланда, Филиппин, Южной Кореи. По несколько человек приехали из Индии, Индонезии, Ирана, Турции и др. Крайне слабо были представлены Африка и Латинская Америка — всего по одному человеку из Того, Нигерии, Венесуэлы, Боливии, Перу и Мексики. Следует отметить, что в качестве делегатов ряда азиатских стран нередко выступали американские ученые, временно работающие в этих странах.

Торжественное открытие конгресса состоялось в здании Национального театра. После приветствий президента конгресса проф. Масао Ока и официальных представителей японского правительства от имени страны — организатора предыдущего конгресса выступил проф. Г. Ф. Дебец, а затем — представители континентов.

Работа конгресса была организована по секциям, симпозиумам и рабочим группам, которые были разбиты по двум разделам наук о человеке и его обществе: антропологии и этнографии.

Работа антропологов протекала в 8 специальных секциях («Теория и методология», «Морфологическая антропология», «Физиологическая антропология», «Палеоантропология и антропогенез», «Антропология рас и популяций», «Генетика человека», «Медицинская антропология», «Приматология») и 7 симпозиумах («Человек эпохи плейстоцена в Азии», «Одونتология и эволюция человека», «Изучение локомоций», «Отбор и дифференциальная фертильность в человеческих популяциях», «Биохимический полиморфизм», «Антропологические аспекты роста человека», «Социальная структура приматов»).

Советские доклады на антропологических секциях и симпозиумах были в большинстве своем посвящены этнической антропологии. Эта тема применительно к отдельным районам СССР и двум зарубежным регионам рассматривалась в докладах М. Г. Абдушелишвили, О. Исмагулова, И. М. Золотаревой, Г. Ф. Дебеца. Выступление последнего о результатах проведенных им антропологических исследований в Афганистане привлекло внимание как широтой охваченной исследованием территории, так и важностью поднятых проблем.

Центральное место в работе антропологов конгресса занимали вопросы, связанные с изучением современного человека в различных условиях обитания и в разные периоды его жизни, вопросы адаптации человеческого организма к различным условиям среды. Из советских сообщений здесь уместно отметить доклад Т. И. Алексеевой, содержавший итоги ее многолетней работы в данной области.

Наряду с этими вопросами большое место было уделено теме эволюции человека, всегда волнующей антропологов. Большинство докладов по этой проблематике было посвящено описанию новых палеоантропологических находок. Они убедительно показали, что после бурной вспышки научного интереса к Восточной Африке в связи с открытиями Лики внимание антропологов вновь начинают привлекать азиатские находки. В докладах советских антропологов В. П. Якимова, В. И. Кочетковой и Б. А. Никитюка, посвященных вопросам антропогенеза, были сделаны важные выводы, связанные с проблемами эволюции человека. С интересом был встречен доклад Б. Ф. Поршнева, посвященный проблемам палеопсихофизиологии.

Значительный интерес вызвали доклады приматологов, особенно выступления японских ученых (К. Токуда, М. Кавая, А. Тоёсима, И. Сугияма, Г. Исимото и др.), охарактеризовавших результаты своих широких наблюдений над обезьянами. Этой проблематике были специально посвящены секция «Приматология» и симпозиум «Социальная структура приматов». На них были поставлены и доклады советских ученых Б. А. Никитюка и Е. И. Даниловой. В программу указанного симпозиума, наряду с докладами о характере ассоциаций у обезьян, был включен доклад японского ученого И. Танака «Социальная структура бушменов», что вызвало протест со стороны советских и некоторых зарубежных ученых. Самый факт постановки этого доклада рядом с докладом «Социальная организация шимпанзе», как и название самого симпозиума, не были, конечно, случайностью. Они свидетельствовали о широко распространенных в буржуазной науке попытках биологизации социальных отношений людей, о стремлении обосновать современные социальные институты классового общества биологическими факторами, якобы унаследованными людьми от своих предков-обезьян.

Выступления антропологов на конгрессе продемонстрировали усиливающуюся тенденцию проникновения в их науку методов физиологического и биохимического анализа. К сожалению, здесь не были достаточно полно представлены работы советских антропологов в области кон-

ституциологии, дерматоглифики, серологии, одонтологии, по проблемам роста, анализу компонентов тела, хотя в теоретической и методической разработке этих вопросов нашими учеными достигнуты значительные успехи.

В целом же выступления советских антропологов выделялись обобщениями, сделанными на большом фактическом материале. Они говорили о немалых достижениях советской антропологической науки.

Выступления ученых разных профилей объединил симпозиум «Экология в антропологических и этнологических науках», посвященный важному направлению в современной теоретической мысли Запада. На нем были заслушаны доклады этнографов, антропологов и одного археолога, в которых трактовался вопрос взаимосвязи между человеком, обществом и средой. В теоретическом плане интересен был вступительный доклад Дж. Беннета (США) «Значение понятия адаптации для социально-культурной антропологии», в котором говорилось об ограниченности экологических объяснений социальной жизни народов. Общее впечатление от симпозиума — несмотря на широкое распространение в западной науке различного рода экологических теорий, среди ученых нет единого мнения о том, что понимать под экологией.

Большому кругу этнографических проблем были посвящены заседания 9 тематических секций («Теория и методология», «История культуры», «Общественные и политические организации», «Общественные и культурные изменения», «Экономические исследования», «Религия и фольклор», «Искусство», «Психокультурные исследования», «Материальная культура») и 3 региональных секции («Африка», «Япония», «Айны и Арктика»). Кроме того, небольшое количество докладов было выделено в секции демографии и музееведения. Этнографическая тематика обсуждалась также на 8 симпозиумах («Религия и мораль», «Кочевники Евразии», «Устная традиция в Африке», «Планируемые социальные изменения в деревне», «Культурные изменения и психологические приспособления», «Проблема мегалитов», «Сравнительный анализ сложных обществ», «Этногенез японского народа»).

Обсуждение конкретных проблем этнографической науки проходило также в четырех рабочих группах («Неотложные задачи современной этнографии», «Народная культура: Восток — Запад», «Системы родства Китая, Кореи и Японии», «Изучение Юго-Восточной Азии»), не собравших, однако, больших аудиторий.

В общем же более половины представленных на конгрессе докладов было посвящено этнографической тематике. Они подразделялись в основном на три группы: 1) конкретно-описательные, 2) с попытками выведения частных закономерностей и 3) общетеоретического значения. Группировка докладов по затрагиваемой в них тематике была недостаточно последовательной. Симпозиумы и рабочие группы отличались от заседаний секций лишь более тщательным подбором докладов по связываемой проблеме. Размежевание же между многочисленными секциями конгресса было подчас нечетким и произвольным. Действительно, в очень многих случаях в рамках одного заседания секции объединялись доклады, тематически малосвязанные между собой и перекликавшиеся с темами докладов на других секциях. Доклады, которые по логике своего содержания должны были бы стоять рядом, нередко оказывались разнесенными по разным секциям. Например, доклады общетеоретического значения зачитывались на нескольких секциях, в то время как специальная секция «Теория и методология» оказалась довольно слабой. Из 15 прочитанных на ней докладов два носили конкретно-описательный характер, три были посвящены методике научного исследования. Следует отметить доклад о методике составления региональных историко-этнографических атласов, подготовленный коллективом наших авторов (С. И. Брук, В. К. Гарданов, К. Г. Гуслистый, Т. А. Жданко, М. Г. Раби-

нович, Л. Н. Терентьева) и доложенный Т. А. Жданко. Сходной теме был посвящен зачитанный в секции «Демография» доклад В. И. Наулко о разработанной советской наукой методике этнической картографии. Эти доклады вызвали большой интерес делегатов конгресса. Один доклад (И. Полунина из Сингапура), зачитанный на секции теории и методологии, был посвящен вопросам использования в полевой работе современной японской аппаратуры: кинокамер, видеофонов и магнитофонов с наглядной их демонстрацией. Лишь восемь докладов, заслушанных на этой секции, трактовали отдельные проблемы теории этнографической науки. Выступления же виднейших теоретиков зарубежной науки имели место в других секциях и симпозиумах. И хотя таких докладов было очень немного, они зачитывались нередко в одно и то же время на разных секциях и ознакомление с ними затруднялось отсутствием текстов докладов. К сожалению, кроме советских делегатов, участники конгресса, как правило, не распространяли текстов своих докладов.

Представляется, что работа секции «Теория и методология» в известной мере отражает стремление современной буржуазной этнографической науки уйти от решения важнейших теоретических проблем. Из поставленных на VIII конгрессе теоретических докладов можно упомянуть отдельные доклады прогрессивных западных ученых, выступавших с критикой культурного релятивизма, теории «культуры нищеты», в защиту эволюционистских традиций, по их мнению, более верных методологически. При этом многие из них под названием эволюционизма высказывали взгляды, близкие к марксизму. Привлекали внимание доклады, в которых делались попытки выделить общие признаки цивилизации на различных этапах ее развития, обосновывавшие необходимость новой науки «культурологии», а также доклады, подчеркивавшие необходимость учета экономических факторов в теоретических обобщениях, выступления против теорий эгалитаризма в социально дифференцированных обществах, дискуссии о значении структурного метода в этнографических исследованиях.

Как показали доклады, посвященные конкретной тематике, центральное место в этнографических исследованиях зарубежных ученых занимают вопросы современности. Особенно большое внимание в них было обращено на перемены, происходящие в быту, образе жизни и культуре стран Азии, Африки и Латинской Америки в связи с национально-освободительным движением и общим прогрессом человечества, в связи с научно-технической революцией, ростом городов и урбанизацией сельского населения. По этой тематике было заслушано немало интересных докладов, основанных на конкретных полевых материалах.

Проблемы социальных и культурных изменений в современном обществе рассматривались и в большинстве докладов, содержавших попытки выведения частных закономерностей. Главное внимание исследователей привлекает проблема приспособления этнических групп с традиционной культурой к новым условиям, вызванным бурными процессами урбанизации. Об этом свидетельствовали доклады, заслушанные на секции «Психокультурные исследования» и на симпозиуме «Культурные изменения и психологическое приспособление». Доклады на этом симпозиуме, за исключением одного, сделанного японским ученым Т. Софуэ, были зачитаны американскими участниками конгресса. В них излагались результаты их исследований в области современных культурных изменений и психологического приспособления к ним преимущественно в условиях стран Юго-Восточной Азии и Океании (Японии, Китая, Индонезии, Бирмы, Таиланда, Индии, Пакистана, Меланезии, Полинезии и Микронезии). Характерно, что специалистами в этой области выступили многие исследователи США, занимавшиеся раньше американистикой и, в частности, изучением психологии и культуры индейцев.

В ряде докладов делалась попытка объединения ориенталистики с американистикой в связи с проблемой ассимиляции японских эмигрантов в странах Нового Света. В частности, в докладах американских ученых Дж. Корнела, Р. Смита, Ф. С. Станифорда говорилось о процессах изменения культуры японских эмигрантов в Бразилии и проблеме взаимоотношений разных поколений. Как показали материалы докладов, японские эмигранты в бразильских городах значительно быстрее начинают приспосабливаться к местному бразильскому образу жизни, сливаться с основной массой бразильцев, переходить на португальский язык, чем японские крестьяне в сельских районах Бразилии. Процесс аккумуляции, процесс этнической ассимиляции в городах, по мнению докладчиков, проходит настолько быстро, что поколение отцов и поколение детей оказываются принадлежащими по существу к разным этносам.

Но при рассмотрении проблемы современности не обошлось и без явно тенденциозных выступлений. В докладе Ф. Мооса (США) утверждалось, например, что слаборазвитые в недалеком прошлом колониальные страны обречены на дальнейшее и даже усиливающееся культурное отставание, в результате чего разрыв между ними и идущими семимильными шагами по пути прогресса государствами Северного полушария — Европы и Северной Америки, будет все больше и больше увеличиваться. Немногие примеры культурного прогресса, которые мог усмотреть докладчик в странах Юго-Восточной Азии, он связывал с влиянием американских военных баз, американских солдат, выступающих в роли «культуртрегеров». И распространение американского образа жизни с бутылкой кока-колы в качестве символа он считал одним из важнейших показателей прогресса, одним из главных факторов, влияющих на приобщение народов Тихоокеанского бассейна к современной культуре.

Совершенно иная, гуманистическая и прогрессивная позиция была выражена в ряде докладов советских делегатов. На конкретных примерах социального и культурного прогресса отстававших в недалеком прошлом народов Средней Азии и других национальных окраин бывшей царской России в этих докладах было показано, что разрыв между отсталым обществом и современным индустриально развитым обществом в условиях социалистического строя может быть преодолен за немногие годы; при этом не только сохраняются, но и получают развитие самобытные черты национальной культуры. Эти сюжеты получили освещение в докладах Т. А. Жданко «Евразийский нomaдизм», Г. Ф. Дахшлейгера «Опыт перехода к оседлости кочевников казахов в советский период», А. О. Чубарьяна «К истории культурного развития советских национальных республик». Два первых доклада были вынесены на симпозиум «Аккультурация кочевников Евразии», проводившийся под руководством их авторов совместно с Л. Крадером (США) и японскими учеными Т. Сагути и М. Мори. Основной темой этого симпозиума были поиски практических путей улучшения жизни слаборазвитых кочевых народов. Выступления советских ученых вызвали большой интерес участников симпозиума.

Важное место в работе конгресса заняла традиционная этнографическая тема — эволюция форм социальной организации у разных народов. Ей было посвящено около 50 докладов, в которых трактовались вопросы эволюции рода, семьи, систем родства, норм обычного права. Эта проблематика рассматривалась в четырех советских докладах. В докладе Ю. В. Бромлея «Об архаических формах семейной общины» ставился важный методологический вопрос об универсальности братской семьи как наиболее ранней формы демократической семейной общины. М. В. Крюков посвятил свой доклад анализу соотношения социальных и этнических аспектов, обуславливающих исторические особенности систем родства; в докладе Н. А. Бутинова «Клан на Новой Гвинее» ставился вопрос о семейно-родственной организации папуасов; доклад

Ю. М. Юригиниса содержал анализ обычного права балтов; доклад Ю. П. Аверкиевой был посвящен проблеме военной демократии.

Очень оживленная дискуссия развернулась вокруг доклада голландского ученого В. Вертхейма, содержавшего критику теорий, идеализирующих значение патерналистских отношений в условиях слаборазвитых стран; автор подчеркнул различия в расстановке классовых сил на разных этапах национально-освободительной борьбы.

Большой комплекс докладов был посвящен рассматривавшимся на ряде секций локальным вопросам духовной и материальной культуры. Интересные доклады об архаичных приемах изготовления керамики без круга представили П. Сной (Афганистан) и Р. Мурер (Камбоджа), об огородничестве на плавучих островах в Бирме — У. Стертевант (США), о примитивных приемах рыбной ловли и охоты — Д. Трейд (ГДР), Н. Стора (Финляндия), А. Нисимура (Япония) и др. Этой же тематике был посвящен доклад Г. П. Строда об изменениях в традиционных формах земледелия в Латвии в переходный период от аграрного к промышленному обществу, а также доклад Л. А. Молчановой «Общеславянские и национальные элементы в материальной культуре белорусов». Об изменениях в типах поселений и жилищ сельского населения России говорилось в докладе Е. П. Бусыгина и Н. В. Зорина, доложенном первым в секции «История культуры»; доклад К. Г. Гуслистого, В. Т. Зинича и Н. П. Приходько «Проблемы изучения современных условий жизни украинского рабочего класса» был доложен В. Т. Зиничем в секции «Социальные и культурные изменения». Все эти доклады привлекли внимание специалистов, занимающихся вопросами современной материальной культуры и быта.

Много было докладов по народному устному и изобразительному искусству (большей частью в связи с религиозными воззрениями). Этой тематике касались интересные доклады А. Х. Маргулана «Казахское декоративное искусство», К. М. Герасимовой «Антропологические основы законов пропорции в тибетских канонах (семь типов телосложения)», Я. Н. Киреева «Отражение мифологических элементов в эпосе башкирского народа», Б. Орузбаевой «Этнонимы в эпосе „Манас“ и их значение в позднейших племенных названиях киргизов»; Р. С. Джарылгасиновой «Этногенетические мифы и легенды корейцев», Л. Е. Вирсаладзе «Проблема классификации народной лирики», М. Я. Чиковани «Проблема типологических связей между тремя средневековыми поэмами: Тристан и Изольда, Абессалом и Этери, Вис и Рамини». Специально проблемам религии были посвящены два советских доклада: Г. Г. Стратановича «Роль религии в современной жизни народов Юго-Восточной Азии» и Т. М. Михайлова «Шаманский фольклор бурято-монголов: опыт классификации».

Большинство докладов советских ученых по проблемам этнографической науки характеризовалось тем, что в них рассматривалось не какое-либо отдельное, изолированное явление, а как правило, делалась попытка исторического обобщения, создания классификационной схемы.

Лингвистические проблемы обсуждались в секции «Язык» и на двух симпозиумах: «Современные границы лингвистической антропологии» и «Пользование языком почтительности». В работе их приняли участие известные советские лингвисты: Д. А. Ольдерогге, зачитавший доклад «Древние связи Армении и Эфиопии (из истории алфавита)», Н. А. Баскаков («Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая»), К. Г. Церетели («Семитские языки в Советском Союзе»).

Выступления археологов были сосредоточены главным образом в секции «Предыстория и археология» и в симпозиуме «Древние связи между Северной Евразией и американской Арктикой». В работе последнего активно участвовали советские ученые. Их содержательные доклады («Неолит низовий Амура и его связи с неолитическими культурами

других районов Азии» А. П. Окладникова, «Палеолит Камчатки» Н. Н. Дикова, «К вопросу о культуре морских охотников Тихоокеанского Севера» Р. С. Васильевского, «Формализованная типология наконечников гарпуна и эволюция древних культур Арктики» С. А. Арутюнова) имели непосредственное отношение к этнической истории народов Северо-Восточной Азии, Японии и Америки. По этой важной проблеме развернулась оживленная дискуссия между археологами Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии. На основе новейших исследований обсуждался вопрос древних контактов между Евразией и Северной Америкой. Эти контакты, восходящие к глубокой древности, ко временам палеолита, очевидно, захватывали и территорию Японии. Продемонстрированные на симпозиуме находки показали тесную связь древних культур этих районов.

Вообще проблемы этногенеза занимали большое место в работе конгресса. Они рассматривались на основе лингвистических, этнографических, археологических и антропологических материалов, объединяя в дискуссиях специалистов разных профилей. Эти проблемы обсуждались на секциях «История культуры», «Айны и Арктика», на симпозиуме «Этногенез японского народа». Особое внимание было уделено этногенезу японцев. Дискуссии по этой проблеме продемонстрировали весьма сложный характер формирования японского народа, показали, что истоки его культурной, языковой, этнической традиции в глубокой древности уходили в разные районы азиатского континента и островного мира. Активное участие в этой дискуссии принял С. А. Арутюнов. На конгрессе были представлены также доклады по этногенезу народов Кавказа (Г. А. Меликишвили) и о происхождении татарского народа (Ш. Ф. Мухамедьяров).

Проведение VIII конгресса в Японии естественно привлекло к нему внимание прежде всего специалистов по этнографии народов Юго-Восточной Азии и Океании, и большинство докладов было посвящено различным проблемам истории и этнографии этих народов. Африканистика и американистика также были представлены, но значительно слабее. В работе африканской секции активное участие приняли видные африканисты социалистических стран — Д. А. Ольдерогге (СССР) и И. Зельнов (ГДР). Проблемы европейской этнографии освещались главным образом в докладах ученых СССР, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии.

В целом работа конгресса показала, что для современной западной (в особенности американской) этнографической науки все еще характерен эмпиризм, уход в детальные конкретные исследования без попыток широких обобщений. В этой углубленной детализации, в этом сугубо конкретном подходе есть и свои положительные стороны. Но выведение из богатого эмпирического материала лишь частных закономерностей снижает его научную ценность.

Некоторые доклады иллюстрировались показом кинофильмов, демонстрировавшихся в специальном зале. Приходится лишь сожалеть, что советская делегация не привезла ни одного этнографического фильма. Но она оказалась единственной делегацией, приехавшей со своей, правда, не очень большой, выставкой последних публикаций по этнографии, антропологии и археологии, экспонировавшихся наряду с книжной выставкой организаторов конгресса.

Обилие научных ячеек на конгрессе (всего их насчитывалось 48) создавало для нашей делегации определенные научно-организационные трудности. Сравнительно небольшими силами советские делегаты стремились охватить весь широкий, многогранный фронт работы конгресса. Эта задача была тем более трудной, что она требовала хорошего знания английского языка, который фактически был господствующим рабочим языком конгресса. И все же с данной задачей, без решения которой было бы невозможно получить целостное представление о конгрессе, делегация в основном успешно справилась.

Японская научная общественность вложила немалый труд в организацию конгресса, и с точки зрения доброжелательности, гостеприимства и тактичности хозяев, а также со стороны технической организации конгресс не оставлял желать лучшего. Однако при организации следующих конгрессов необходимо учесть, что все увеличивающееся количество секций и симпозиумов создает значительные трудности для участников этих международных научных встреч.

В ходе работы конгресса был решен ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью Международного союза антропологических и этнографических наук.

В руководящий орган Союза — Исполком — были избраны советские ученые Г. Ф. Дебец (вице-президент), Ю. В. Бромлей (секретарь). В состав Постоянного совета вновь была включена группа советских ученых: в качестве почетного члена Совета — С. П. Толстов; в качестве членов-делегатов — Ю. В. Бромлей, Г. Ф. Дебец, Д. А. Ольдерогге, В. П. Якимов, секретарями — С. А. Арутюнов, К. Г. Гуслистый.

На заседании Постоянного совета была принята резолюция, в которой выражался протест против мер, угрожающих жизни и благосостоянию туземного населения в различных странах мира, причем в качестве примера приводились американские индейцы.

Был утвержден новый устав Союза, который определил периодичность конгрессов — 5 лет. Следующий конгресс было решено провести в 1973 г. в США.

Готовясь к следующему конгрессу, равно как и к другим международным форумам, нам следует учесть опыт VIII МКАЭН. В частности, надо обратить большее внимание на представление докладов методологического, общетеоретического плана. В делегации нужно включать больше людей с активным знанием иностранных языков и прежде всего английского языка, поскольку конгресс будет проходить в англоязычной стране.

Основную часть докладов следует готовить не к секциям, а к симпозиумам по конкретной проблематике. Практика VIII конгресса убеждает в эффективности распространения заранее отпечатанных текстов докладов.

Ознакомление с работами зарубежных коллег показало, что наши этнографы чрезвычайно отстают от американцев и ученых Западной Европы в проведении полевых исследований в афро-азиатских странах.

Конгресс показал также, насколько слабо мы используем возможности публикации наших теоретически важных трудов в зарубежной научной прессе.

В целом VIII Международный конгресс антропологических и этнографических наук явился существенным вкладом в дело развития международного сотрудничества этнографов, археологов и антропологов разных стран. Особую ценность имели контакты, установленные на данном конгрессе с прогрессивными учеными ряда азиатских стран. Впервые наши ученые смогли завязать контакты со многими представителями молодого поколения ученых США и Канады, среди которых немало людей, выражающих прогрессивные тенденции в современной этнографической науке.

Чрезвычайно важным было также ознакомление наших специалистов с научной деятельностью широкого круга японских исследователей, недостаточно известных нам до сих пор вследствие языкового барьера. Важно и то, что советские ученые смогли ознакомиться с японскими музейными коллекциями.

Присутствие на этом конгрессе многочисленной советской делегации, выступления наших ученых с содержательными докладами, их активное участие в дискуссиях и обсуждениях, способствовало поднятию престижа советской этнографической науки в глазах мировой общественности и пропаганде марксистско-ленинских идей за рубежом.

S U M M A R Y

The article contains a brief description and a general evaluation of the VIII International Congress of Anthropological and Ethnographical Sciences (VIII CISAE, Tokyo — Kyoto, September, 1968).

Problems of interaction between man and his natural environment, of primatology, physiological and biological methods are noted as particularly important in physical anthropology. In ethnography the break of a number of scientists in the Western World with cultural relativism and their shift towards evolutionism is shown: ideas close to Marxian are often expressed. A heightening interest to the problems of modernity is noted, as, for instance, the adaptation by people of traditional culture to conditions of rapid urbanization. Ethnogenetic problems were largely concentrated on peoples of the Northern Pacific — Japan, Northern Eurasia, the American Arctic Region. The predominance of papers on empirical problems over those having a wider theoretical significance is noted. The authors stress the warm hospitality of the Japanese organizers of the Congress. The practical work of the Congress made it apparent that greater attention should be given to symposia on specific problems.

On the whole the Congress represented an important contribution to the development of international cooperation of specialists in the science of man.

В. П. Алексеев

О ПЕРВИЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА РАСЫ. ПЕРВИЧНЫЕ ОЧАГИ РАСООБРАЗОВАНИЯ

Постановка проблемы

В советской антропологической литературе широко распространена концепция о делении человечества на три основных расовых ствола — европеоидный, монголоидный и негроидный. Она нашла отражение в первом советском учебнике антропологии в разделе, написанном Я. Я. Рогинским и подводящем итог исследованиям советских специалистов в изучении антропологического состава земного шара в довоенный период¹. Та же концепция была повторена в известной статье Н. Н. Чебоксарова, посвященной расовым классификациям². Аналогичную дифференциацию находим и в учебнике Я. Я. Рогинского и М. Г. Левина³. Из обобщающих сводок и учебной литературы это представление проникло в популярную⁴, а оттуда — в этнографическую и демографическую литературу. Так, в сводной работе о численности и расселении народов земли утверждается: «Все человечество делится на три большие, или основные, расы: монголоидную, европеоидную и экваториальную (или негроавстралоидную)»⁵. Эта мысль сопровождается следующим примечанием: «Если по вопросу о делениях первого порядка среди антропологов нет каких-либо существенных расхождений, то по вопросу о выделении более мелких таксономических единиц (ветви, расы второго порядка, типы) существует много различных точек зрения». То же встречаем и в новом справочнике по населению земли: «Общепринято выделять три большие расы: монголоидную («желтую»), европеоидную («белую») и экваториальную или негроавстралоидную («черную»)»⁶. Между тем это утверждение не вполне исчерпывает существующие точки зрения.

В обширной литературе по расоведению высказываются разные мнения о числе не только второстепенных более мелких расовых делений, но и первичных, основных рас. Ряд авторов не признает исконного родства западной африканской и восточной австралийской ветвей экваториальной расы и рассматривает их как самостоятельные расовые стволы, таксономически равноценные с европеоидами и монголоидами. Другие авторы идут еще дальше и выделяют две ветви внутри африканских негроидов⁷. Среди советских исследователей также нет полного единст-

¹ В. В. Бунак, М. Ф. Нестурх, Я. Я. Рогинский, Антропология, М., 1941.

² Н. Н. Чебоксаров, Основные принципы антропологических классификаций, сб. «Происхождение человека и древнее расселение человечества», Труды Ин-та этнографии АН СССР, нов. серия, т. XVI, М., 1951.

³ Я. Я. Рогинский, М. Г. Левин, Основы антропологии, М., 1955; и х же, Антропология, М., 1963.

⁴ См. например: М. Ф. Нестурх, Человеческие расы, М., 1966; Т. Д. Гладкова, Человеческие расы, М., 1962.

⁵ «Численность и расселение народов мира» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1962, стр. 22.

⁶ «Население земного шара. Справочник по странам», М., 1965, стр. 17.

⁷ См.: С. Сооп, The origin of races, London, 1963.

за мнений по этому вопросу. В. В. Бунак в своих ранних работах выделял в составе народов земного шара большое число генетически независимых расовых стволов. Он полагал, что объединение их на основании нескольких сходных признаков противоречит генеалогическому принципу расовой классификации⁸. В более поздней работе число выделяемых им основных рас уменьшается до четырех⁹.

Наряду с этим можно назвать и противоположную тенденцию — объединение выделяемых основных рас в какие-то более крупные категории. Такая тенденция отражает попытку вдуматься в схему расового деления человечества, генетические связи между расами, учесть все существующие морфологические данные для реконструкции древнейших этапов истории человеческих рас. Совершенно естественно, однако, что сложность этой проблемы исключает пока однозначное ее решение. Иногда цвет кожи рассматривается в качестве наиболее существенного критерия родства рас, и в соответствии с этим светлокожие расы северного полушария — европеоиды и монголоиды — противопоставляются темнокожим расам южного полушария — негроидам и австралоидам¹⁰. Но если не придавать цвету кожи такого существенного значения, а это вполне оправдано ввиду значительной адаптивности данного признака и, следовательно, вероятности существования параллельных рядов изменчивости по нему, то отпадает база для такого объединения и противопоставления южных групп северным. Наоборот, другие морфологические факты позволяют противопоставлять западную область эйкумены восточной, т. е. объединять европеоидов с негроидами и отличать их в целом от монголоидов¹¹. К последней точке зрения присоединился, правда, без специальной аргументации, и Г. Ф. Дебец¹². Но дело даже не в том, как группировать выделенные варианты — монголоидов с европеоидами и противопоставлять их негроидам или, наоборот, объединять последних с европеоидами и противопоставлять монголоидам. Важно, что такая группировка отражает генезис основных расовых делений, которые при объединении выступают как вторичные ветви, и число основных, или, как у нас принято говорить и писать, больших рас уменьшается до двух.

Итак, в работах крупнейших современных авторитетов в области расоведения число основных расовых стволов колеблется от двух до пяти. Правда, схема трехчленного деления находит больше сторонников, чем другие, но во всяком случае ее нельзя считать общепринятой. Таким образом, существующее состояние разработки расовой классификации человечества на уровне основных категорий не дает оснований для приведенных выше утверждений этнографов. Разные суждения о числе рас демонстрируют в то же время бесполезность рассмотрения этого вопроса с использованием новых данных и сопоставлением разных гипотез и их теоретической основы.

Критические замечания по поводу схемы трехчленного деления человечества

На заре истории антропологии расы выделялись, в сущности, по большому числу признаков — цвету волос, глаз и кожи, форме волос, строению мягких тканей лица и другим внешним особенностям. В даль-

⁸ В. В. Бунак, Расы, «Большая медицинская энциклопедия», т. 28, М., 1934.

⁹ В. В. Бунак, Человеческие расы и пути их образования, «Сов. этнография», 1956, № 1.

¹⁰ A. Keith, A new theory of human evolution, New York, 1949; R. Biasutti, Le razze e i popoli della terra, t. I, Torino, 1953.

¹¹ Я. Я. Рогинский, Человеческие расы. В кн.: В. В. Бунак, М. Ф. Нестурх, Я. Я. Рогинский, Антропология.

¹² Г. Ф. Дебец, Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас, «Сов. этнография», 1958, № 4.

нейшем накопился огромный материал и по таким системам как группы крови, дерматоглифика, одонтология, вкусовые и двигательные реакции и многие другие физиологические показатели. Все эти признаки обнаружили географическую дифференциацию и поэтому не менее пригодны для выделения расовых вариантов, чем морфологические особенности. Их значение выявляется еще и в том, что они отражают более глубокие процессы жизнедеятельности организма, чем большинство внешних морфологических признаков. С изучением перечисленных особенностей характеристика больших рас приобрела исключительную полноту и может быть проведена по целому ряду функционально не связанных друг с другом систем. Это обстоятельство — отсутствие тесной морфо-физиологической корреляции между группами крови и пальцевыми и ладонными узорами, между вариациями строения зубов и белками крови, между двигательными и вкусовыми реакциями, с одной стороны, и морфологическими признаками, с другой, и т. д. — особенно важно. Оно позволяет проверить действительную реальность существования больших рас, выделенных на основании морфологии. Это является важным этапом в изучении вопроса о том, представляет ли собой раса только морфологическое или морфо-физиологическое понятие и в какой мере показатели по разным системам органов, совпадая, соответствуют схеме деления современного человечества на три основных расовых ствола.

Все проведенные до сих пор исследования обнаружили значительное несоответствие между вариациями различных комплексов признаков (антропометрических, изосерологических, физиологических, дерматоглифических, одонтологических) в межгрупповом масштабе в пределах всех трех больших рас. Параллелизм между вариациями разнохарактерных признаков (т. е. параллельные ряды изменчивости) практически очень редок. Суммируя данные по изосерологическим реакциям, У. Бойд подразделил все современное человечество на шесть рас по соотношению групп крови¹³. Позже он усовершенствовал свою схему, придав ей более разветвленную форму, и выделил вместо шести тринадцать рас¹⁴. Обращает внимание несовпадение классификации Бойда с морфологической классификацией. Он выделил в европейской группе четыре подгруппы (лапоноидную, северо-западную, объединенную центральную и восточную, средиземноморскую), в азиатской — две (собственно азиатскую и индо-дравидийскую), в тихоокеанской (так он назвал австралийскую группу) — четыре (собственно австралийскую, индонезийскую, меланезийскую и полинезийскую).

Однако гораздо важнее несовпадения числа рас по морфологическим и изосерологическим признакам (в конце концов, всякая группировка может отражать и субъективные установки исследователя, который ее предлагает), случаи резкого расхождения в вариациях тех и других. Так, общеизвестны резкие различия между народами Индии и Восточной Азии по морфологическим признакам. Эти народы относятся не только к разным большим расам (монголоиды и европеоиды с негроидной примесью), но и в их пределах занимают по многим признакам крайнее место, составляя весь диапазон межгрупповых вариаций по земному шару. Антропологический тип многих народов Индии отличается резкой грацильностью, и по скуловому диаметру они приближаются к мировому минимуму. Между тем восточные монголоиды, и особенно их сибирская ветвь, характеризуются очень большими размерами лица, уступая в этом отношении только отдельным индейским племенам Аргентины. На фоне этих различий неожиданным выглядит сходство по соотношению групп крови: в Индии, как и в Восточной Азии, высок процент *B* и вообще сходны частоты распределения генов систем *ABO* и *MN*.

¹³ W. B o y d. Genetics and the races of man, Boston, 1950.

¹⁴ W. B o y d, Genetics and the races of man, Boston University lecture, 1958.

Другой аналогичный пример — одонтологические признаки. Негры и европейцы, резко различающиеся по пигментации, форме волос и строению мягких частей лица и занимающие противоположные полюсы в пределах современного человечества по этим признакам, сходны в то же время по строению зубной системы и противопоставляются в этом отношении монголоидам. Негров и европейцев объединяет низкий процент индивидуумов с лопатообразными резацами, отсутствие поперечного гребня тригонида на первом нижнем моляре, большой процент индивидуумов с бугорком Карабелли и т. д. Монголоиды, наоборот, отличаются противоположным сочетанием признаков, к которым прибавляется большой процент затеков эмали на молярах¹⁵. Таким образом, по одонтологическим вариациям наблюдается явное расхождение с традиционной схемой деления человечества на три большие расы. Эта несопоставимость собственно морфологических и одонтологических данных может быть отмечена и на более низком таксономическом уровне. Полинезийцы, например, чрезвычайно своеобразны по своему антропологическому типу, и все попытки найти им в расовой классификации точное место, которое соответствовало бы их морфологическому облику, не привели к однозначному решению. До сих пор остаются открытыми вопросы об отсутствии или наличии в их составе европеоидной примеси, о причинах своеобразного сочетания в их морфологическом типе монголоидных и негроидных признаков, о сходстве их по антропологическим данным с американскими индейцами. Именно этим и объясняется использование исследователями одних и тех же антропологических материалов для доказательства прямо противоположных концепций — заселения Полинезии с запада или с востока (примером может служить острая дискуссия вокруг гипотезы Т. Хейердала, которая ведется с широким привлечением антропологических данных). Между тем по одонтологическим вариациям положение полинезийцев вполне определено — они обнаруживают значительное сходство с народами Юго-Восточной Азии¹⁶. Близкая к современности краниологическая серия из Восточной Латвии, датируемая XVIII в., характеризуется в общем европеоидным комплексом признаков лишь с небольшим тяготением в монголоидном направлении. По строению же зубов это тяготение выражено гораздо более отчетливо, и серия в целом приближается к промежуточным вариантам¹⁷.

Сходная картина выявляется и при сопоставлении физиологических (вкусная реакция на фенилтиокарбамид, двигательные реакции, ушная сера, цветная слепота) и дерматоглифических данных с морфологическими. И физиологические, и дерматоглифические особенности чрезвычайно широко варьируют в пределах всех больших рас, и географическое размещение их не обнаруживает определенного соответствия при сравнении карт распределения каждого признака по эйкумене. Другими словами, территориальные комплексы, выявляемые по каждому признаку, не совпадают по разным системам (дерматоглифика и реакция на фенилтиокарбамид, цветная слепота и двигательные реакции и т. д.) и не дают совпадений также и с морфологическими типами. Таким образом, резюмируя, можно сказать, что деление человечества на три большие расы, основанное на морфологии, не находит подтверждения ни в физиологических признаках, ни в морфологических (если рассматривать морфологию, включая в нее дополнительные системы — дерматоглифику и

¹⁵ Исследования многих одонтологов, обобщенные и продолженные в Советском Союзе А. А. Зубовым. См.: А. А. Зубов, Некоторые антропологические аспекты морфологии постоянных больших коренных зубов современного человека. Автореферат диссертации, М., 1964.

¹⁶ A. Riesenfeld, Shovel-shaped incisors and a few other dental features among the native peoples of the Pacific, «Amer. journal of physical anthropology», new series, vol. 14, 1956, № 3.

¹⁷ А. А. Зубов, Антропологическая одонтология и исторические науки, «Сов. этнография», 1965, № 1.

одонтологии). Три большие расы представляют собою, очевидно, преимущественно морфологическую конструкцию и, следовательно, не охватывают многообразия типов современного человечества по всем территориально варьирующим признакам. В этом заключается существенный недостаток традиционной схемы трехчленного деления человечества.

Кроме отсутствия параллелизма в вариациях разных систем против этой схемы может быть выдвинуто и еще одно возражение, основанное на разнохарактерности больших рас в морфологическом отношении и неоднородной структуре их географических ареалов. Под морфологической разнохарактерностью больших рас подразумевается несовпадение амплитуды колебаний многих признаков в пределах каждого ствола и

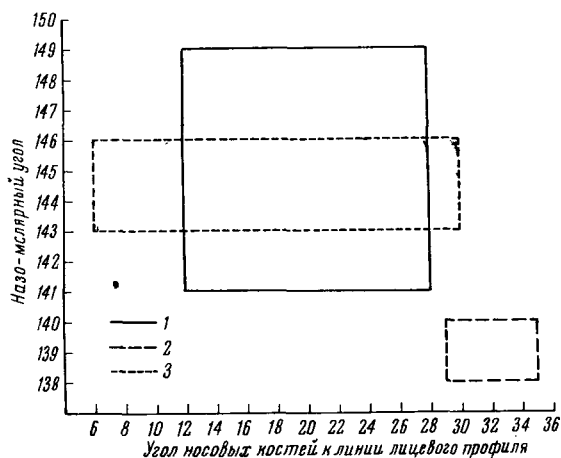


Рис. 1. Сопоставление изменчивости трех больших рас по краниологическим признакам: 1 — монголоиды (включая американоидов); 2 — европеоиды; 3 — негроиды (включая австралоидов)

разный характер их межгрупповых сочетаний. По амплитуде колебаний расы заметно различаются, даже когда речь идет о признаках высокого дифференцирующего значения, по которым и наблюдаются наибольшие расхождения между представителями разных рас. По углу выступления носовых костей к линии лицевого профиля на черепе разница между крайними вариантами европеоидной расы — приблизительно $5-6^\circ$ ($29-35^\circ$). В то же время у монголоидов размах изменчивости этого признака составляет $10-11^\circ$ ($12-23^\circ$), включая американоидов — $15-16^\circ$ ($12-28^\circ$). Еще более

значительны вариации этого признака у представителей негроидного ствола — в бушменской серии угол носовых костей равен $5-6^\circ$, близкие величины зафиксированы в других сериях африканских негров, тогда как многие группы папуасов отличаются сильно выступающим носом (рис. 1).

Другой пример — интенсивность пигментации. Для негроидных типов характерна интенсивно-темная пигментация (хотя и обнаруживающая известные вариации), и только австралийцам свойственна несколько менее темная кожа, чем у негров. Представители монголоидной расы также довольно однородны по этому признаку, и эскимосы, например, вряд ли более светлокожи, чем южные монголоиды. Зато европеоиды обнаруживают как в цвете кожи, так и в цвете волос и глаз целую гамму переходов от резкой депигментации (население Скандинавии) до очень интенсивной пигментации (население южной Италии, южной Франции, Испании). Третий пример — горизонтальная уплощенность лицевого скелета, иллюстрацией и определителем которой может служить назомалярный угол. Как известно, в европеоидных сериях он колеблется от 135 до 141° . Его колебания в пределах азиатской ветви монголоидной расы соответствуют приблизительно величине от 144 до 150° . Но американские индейцы по имеющимся, хотя и очень немногочисленным, данным не отличаются по величине этого угла от европейцев. Правда, речь идет о тех европеоидных сериях, которые характеризуются максимальными величинами, но и в этом случае диапазон изменчивости у монголоидов увеличивается на 4° . Таким образом, монголоиды в целом почти вдвое более изменчивы по этому признаку, чем европеоиды. Что же касается негроидов, то для них характерны стабильные величины,

Аналогичные примеры можно умножать до бесконечности. Но общий вывод, который из них следует, ясен и так — в пределах больших рас неодинаковы пределы колебаний дифференцирующих их признаков, а следовательно, неодинаков и объем самих рас по свойственной им изменчивости. Это находит выражение и в таксономическом отношении — каждая большая раса представляет собою пучок более мелких вариантов, число которых колеблется очень значительно и которые отличаются друг от друга разной морфологической спецификой. Здесь мы затрагиваем уже проблему разного направления межгрупповой изменчивости в пределах каждого из больших расовых стволов. Например, австралоиды отличаются от африканских типов целым комплексом признаков, в состав которого входят и строение мягких тканей лица, и пигментация, и строение зубов, и форма волос. Между тем северные европейцы отличаются от южных лишь интенсивностью пигментации. Постоянно ведущийся поиск других дифференцирующих признаков увенчался успехом лишь отчасти — были выявлены различия в строении зубной системы. Подразделение на типы внутри европеоидной расы достаточно объективно, когда дело касается южной ветви, более условно в пределах северной ветви (восточные группы отличаются от западных не каким-нибудь специфическим сочетанием признаков, а лишь наличием монголоидной примеси) и крайне затруднено в Центральной Европе, где территориальные варианты характеризуются самыми противоречивыми морфологическими комплексами. Этим в значительной мере объясняется весьма нигилистическое отношение к генетическому единству европеоидной расы со стороны некоторых исследователей¹⁸. Правда, их точка зрения подверглась критике¹⁹, но значение ее уменьшается тем обстоятельством, что в число объединяющих всех европеоидов признаков включена пигментация — признак с высокими адаптивными свойствами. В известной степени это относится и к такому признаку, как выступание носа. Адаптивные признаки составляют вообще значительный процент в комплексе дифференцирующих расовых признаков. А это всегда создавало предпосылки для параллелизмов в изменчивости — вспомним сходство койсанских народов с монголоидами. Таким образом, не только неодинаковый диапазон изменчивости, но и различный характер типологической дифференциации свидетельствуют об известной искусственности последней, если пытаться свести все имеющееся многообразие рас к схеме трехчленного деления человечества.

Неоднородность расовых ареалов четко проявляется при сравнении ареала негроидной расы с ареалами монголоидов и европеоидов. Последние занимают компактные ареалы, что соответствует роли географического распределения признаков в выделении расовых типов. Представители же негроидной расы разбиты на два ареала — в Австралии и Африке, не связанные друг с другом. Правда, сторонники генетического единства негроидной расы полагают, что раньше эти два ареала были слиты в один компактный ареал, соединяясь мостом через Переднюю Азию и Индию. В защиту этой гипотезы приводятся некоторые косвенные аргументы, основанные на рассмотрении единичных и очень фрагментарных палеоантропологических находок²⁰. Можно было бы к ним добавить в качестве еще одного аргумента следы негроидных и австралоидных типов, распространенные в Передней Азии и Индии. Их можно рассматривать как реликтовые, но убедительность гипотезы единого ареала негроидной расы в древности не становится от этого более оче-

¹⁸ См., например, В. В. Буняк, Человеческие расы и пути их образования.

¹⁹ Г. Ф. Дебец, О принципах классификации человеческих рас, «Сов. этнография», 1958, № 1.

²⁰ См., например: Г. Ф. Дебец, Заселение Южной и Передней Азии по данным антропологии, сб. «Происхождение человека и древнее расселение человечества», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. серия, т. XVI, М., 1951.

видной, так как подобный аргумент в ее пользу также является косвенным. Таким образом, с точки зрения географического распределения рас и географии расообразования, деление первоначальной эйкумены на три очага расообразования не выглядит достаточно оправданным теоретически, а главное, фактически обоснованным.

Наконец, кроме разнохарактерности расовых категорий первого порядка и неоднородной структуры их расовых ареалов, против деления человечества на три основные расы свидетельствует и наличие большого числа промежуточных и специфических вариантов рас. Эти варианты не находят себе места в существующей систематике. Примеров тому много — койсанские народы в составе негроидной расы, лопари, которых относят попеременно то к монголоидам, то к европеоидам, айны, в которых сочетаются признаки всех больших рас, полинезийцы, которые отличаются от айнов, но также сочетают в своем антропологическом типе отличительные черты всех трех рас, наконец, пигмеи африканские и азиатские, которых то объединяют в один ствол, то рассматривают как параллельно возникшие варианты в составе западной африканской и восточной австралийской ветвей тропических типов. Невозможность разнести их по рубрикам схемы трехчленного деления говорит о ее недостаточности и в то же время о недостаточности существующих критериев для точной таксономической дефиниции. Последнее, возможно, объясняется тем, что эти критерии выработаны на основе той же самой схемы трехчленного деления. С другой стороны, исключений, подобных перечисленным выше и не подходящих под эту схему, много, и их число по сравнению с приведенным перечнем может быть значительно увеличено (европеоидные и негроидные особенности в морфологическом типе американских индейцев, европеоидные особенности в морфологическом типе некоторых территориальных групп австралийцев и т. д.).

О двух первичных очагах расообразования

Говоря о первичных очагах расообразования, следует подразумевать под ними те территории, на которых расообразовательный процесс впервые приобрел определенное направление, выразившееся в конечном итоге в формировании определенного комплекса признаков — например, монголоидного или негроидного. Наиболее острая дискуссия велась и ведется до сих пор по вопросу о том, к какому времени нужно относить выделение первичных очагов расообразования. В зависимости от этого сформулированы моноцентрическая и полицентрическая гипотезы происхождения современных рас. Изложенное здесь понимание первичных очагов расообразования снимает до известной степени остроту дискуссии между сторонниками этих двух гипотез, так как речь идет при таком понимании не о сложении расовых комплексов в целом, а лишь о появлении зачатков этих комплексов — отдельных признаков и их групп, которые потом сформируются в целые комплексы. Поэтому автор видит возможность примирения двух положений — о довольно позднем сложении расовых комплексов первого порядка, в целом формирующихся не раньше верхнего палеолита, а то и мезолита, и о чрезвычайно раннем появлении первых отличительных признаков больших рас, которые в отдельных случаях могут быть прослежены начиная с нижнего палеолита (в частности, у монголоидов). Такой подход предполагает этапность расообразовательного процесса, но она не является лишней характеристикой интенсивности расообразования во времени, а отражает объективно существующие сдвиги в интенсивности и представляет собой результат разной скорости изменений расовых комплексов.

Общеизвестно, что палеоантропологические находки, иллюстрирующие первые этапы истории семейства гоминид, крайне малочисленны и фрагментарны. Поэтому большое значение для выявления локальных

группировок первобытного человечества приобретает более многочисленный археологический материал, особенно, когда речь идет об эпохе нижнего палеолита, для которой палеоантропологические находки исключительно редки. Этот материал позволяет выделить в общем две области. Первая из них характеризуется подавляющим преобладанием в каменном инвентаре ручных рубил. Рубила составляют практически единственную форму орудий, известную из местонахождений этой области, и сопровождаются лишь отщепами. Производственная традиция изготовления ручные рубила охватывала южные районы Западной, Центральной и Восточной Европы, всю Африку, Кавказ, Переднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. В мустьерское время наметилось своеобразие памятников Африки, еще не до конца понятое и объясненное²¹.

Вторая область локализуется гораздо уже — в Центральной и Восточной Азии. В ряде местонахождений этой области своеобразие каменного инвентаря объясняется необычным материалом — в Чжоукоудяне, например, орудия делались из кварцита, отличающегося от кремня и требующего специальных приемов обработки. Об этом писал еще Б. Л. Богаевский в известной книге по истории первобытной техники²². Но кроме своеобразия материала, для этой культурной области были характерны и свои традиции его обработки. Основной формой орудий здесь были грубые рубящие орудия, получившие наименование чопперов. Параллельно с ними найдены и ручные рубила, но в значительно меньшем количестве, чем чопперы²³. Таким образом, на небольшой, по сравнению с первой областью, территории, замкнутой на севере пустынями и полупустынями, на западе — огромными горными цепями Куэнь-Луня и Тибета, а на юге — сотнями километров непроходимых джунглей, осела в эпоху нижнего палеолита локальная группа, изолированная от остального мира и обладавшая специфическими технологическими приемами обработки кремня с целью изготовления орудий труда. Эта группа, хотя и малочисленная по сравнению с остальным населением, по состоявшая наверняка из десятков и даже сотен отдельных мелких популяций, противопоставилась в силу изоляции всему остальному населению эйкумены и могла послужить, надо думать, основой формирования современных монголоидов.

Для характеристики антропологического типа древнейшего населения восточного очага в нашем распоряжении имеется обширный и хорошо описанный костный материал по синантропу. Автор наиболее обстоятельных публикаций по синантропу Ф. Вейденрейх отметил ряд сходных черт в морфологии синантропа и современных монголоидов — широкое и высокое лицо, лопатообразность передних резцов, уплощенность лицевого скелета в горизонтальном плане. Однако наблюдения эти, исключая лопатообразность резцов, были сделаны на реставрированном черепе и поэтому им трудно придавать серьезное значение. Роль лопатообразности передних резцов как расового показателя демонстрируется разной частотой фиксации этого признака у представителей различных рас, и новейшие исследования доказывают это с полной определенностью²⁴. Если для монголоидных популяций процент индивидуумов с

²¹ Выделение этой области было произведено Х. Мовиусом (H. Mövius, Early man and pleistocen stratigraphy in Southern and Eastern Asia, «Papers of the Peabody Museum of American archaeology and ethnology», Harvard University, vol. XIX, № 3, Cambridge — Massachusetts, 1949). Оно затем неоднократно подтверждалось. См., например: В. С. Сорокин, О локальных различиях в культуре нижнего палеолита, «Сов. этнография», 1953, № 3.

²² Б. Л. Богаевский, Техника первобытно-коммунистического общества, М.—Л., 1936.

²³ Характеристику этого района см.: В. Е. Ларичев, К вопросу о локальных культурах нижнего палеолита в Восточной и Центральной Азии, сб. «Археология и этнография Дальнего Востока», Новосибирск, 1964.

²⁴ Сводку основных метрических данных см.: V. Carbonell, Variations in the frequency of shovel-shaped incisors in different populations, «Dental anthropology»,

лопатообразными резцами обычно приближается к 80—90, то у скандинавов этот процент колеблется ниже десяти. Отмечены и другие мелкие детали строения зубной системы, по которым синантроп сходен с современными монголоидами. А так как все они автономны от воздействий среды и наследственно детерминированы, то можно утверждать на основании этого сходства, что синантроп связан с современными монголоидами прямой генетической преемственностью. Кстати, статистический анализ, произведенный Я. Я. Рогинским, показал, что при сравнении с современными расами по сумме многих признаков синантроп в наименьшей степени отличается от монголоидных рас.

Как складывался в дальнейшем характерный для монголоидов комплекс морфологических особенностей? Единичные находки черепов неандертальцев на территории Китая ничего не дают для освещения этого вопроса из-за своей крайней фрагментарности. На черепах из верхнепалеолитических погребений монголоидный комплекс признаков еще не выражен в полной мере. Небольшая серия черепов из Верхней пещеры Чжоукоудяня отличается довольно умеренным выступанием носовых костей, но уплощенность лицевого скелета в этой серии относительно невелика, а на черепе из Люцзяна при уплощенности лицевого скелета и носовых костей очень мала высота лица и довольно низкие орбиты. Такая неполная выраженность монголоидных особенностей на верхнепалеолитических черепах согласуется с хорошо обоснованной и фактически, и теоретически гипотезой известной нейтральности протоморфного монголоидного типа, лучше всего сохранившегося в разных группах американских индейцев²⁵. В неолитических сериях из Китая и Забайкалья фиксируется четко выраженный монголоидный комплекс. Таким образом, в формировании отличительных особенностей монголоидной расы можно наметить три этапа: возникновение монголоидных особенностей в строении зубной системы, в частности лопатообразности в эпоху нижнего палеолита, появление тенденции к уплощенности лицевого скелета и носовых костей в верхнепалеолитическое время и, наконец, увеличение высоты, а может быть, и ширины лица и сложение монголоидного комплекса в его современной формации в неолите или раньше — в мезолите.

История западного очага может быть обрисована палеоантропологическими данными с гораздо меньшей определенностью, хотя в целом этих данных и больше. В той мере, в какой эта определенность может быть достигнута, она касается лишь западных областей западного очага — Африки, Европы, Передней Азии, так как только в этих областях сосредоточены находки, которые дают полноценную информацию. От яванских питекантропов не дошли кости лицевого скелета (питекантроп IV слишком примитивен и не может считаться представительным для всей группы), и многие известные нам детали их морфологии явно характерны только для этой островной группы. Однако критериев для выделения их из комплекса типологических признаков у нас нет. Ф. Вейденрейх считал яванских питекантропов предками австралондов, сближая их морфологически на основании развития сагиттального валика, — слишком шаткое соображение, если учесть, что на черепах питекантропов валик может представлять собою стадийное образование. Африканские находки неандертальцев и находки в Нгандонге на Яве сближаются по целому комплексу морфологических признаков. М. А. Гремьяцкий, вероятно, первым выделил их в особую группу в составе неан-

Oxford — London — New York — Paris, 1963; M. Suzuki, T. Sakai, Shovel-shaped incisors among the living Polynesians, «Amer. journal of physical anthropology», new series, vol. 22, 1964, № 1.

²⁵ Я. Я. Рогинский, Проблема происхождения монгольского расового типа, «Антропологический журнал», 1937, № 2.

дерталцев²⁶. Но особенности строения лицевого скелета в этой группе также известны лишь по одному черепу из Родезии. Кроме того, датировка всех имеющихся находок, входящих в группу, очень поздняя, и в морфологическом типе их сочетаются несколько прогрессивных признаков с явным архаизмом. Поэтому вся группа производит впечатление реликтовой и могла представлять собою боковое ответвление, по которому трудно судить о прямой линии эволюции в пределах западного ареала. Это тем более так, что географически африканские находки и находки в Нгандонге разобщены огромным расстоянием, и связь их в пространстве не менее спорна, чем связь африканских негров с австралийцами.

Исключив эти находки, мы располагаем палеоантропологическим материалом практически только по неандертальской группе. Из этой группы обычно выделяют поздних европейских палеоантропов, отличающихся некоторыми специализированными особенностями, по которым они отстоят от исходной формы даже дальше, чем современные люди. По мнению многих исследователей, этого достаточно для того, чтобы исключить их из человеческой родословной либо полностью, либо частично. Автор считает такую точку зрения совершенно неверной, хотя и не претендует на то, чтобы его точка зрения считалась более объективной, чем противоположная. Однако так или иначе поздние палеоантропы в силу своего геологического возраста не могут рассматриваться как исходные формы, и поэтому оставлены здесь без внимания вне зависимости от решения вопроса об их месте в системе и участии в формировании человека современного типа. На роль таких исходных форм, правда, уже проделавших длинный путь эволюции, могут претендовать ранние западноевропейские и палестинские палеоантропы (находки в Шанидаре, до появления полного описания, остаются пока морфологически недостаточно ясными). Из западноевропейских находок лицевой скелет сохранился только у черепов из Саккопасторе и Штейнгейма, а из палестинских — в достаточно полном виде у черепов из пещеры Схул (по черепам из Кафзеха не опубликовано еще никаких цифровых данных).

Лицевой скелет женского черепа из Саккопасторе очень широк и высок, чем этот череп резко отличается от европеоидных серий, но что является типичной неандертальской особенностью. Череп же из Штейнгейма характеризуется малыми размерами лицевого скелета и в этом отношении не выходит за пределы типичных современных вариаций. К сожалению, о вертикальном профиле лицевого скелета судить невозможно, но в горизонтальной плоскости он профилирован довольно резко. Грушевидное отверстие широкое, что представляет собою характерную черту неандертальского типа, но что свойственно также и современным типам тропического расового ствола. Правда, по некоторым другим признакам, в частности развитию надбровного валика, палеоантроп из Штейнгейма был примитивен, но определенный архаизм не только по отдельным признакам, но и по их сочетаниям был свойствен даже такой в целом прогрессивной группе, как черепа из пещеры Схул. Я. Я. Рогинский отметил в этой популяции проявление отличительных признаков всех трех больших современных рас: негроавстралоидных на черепе Схул V, европеоидных на черепе Схул IV и монголоидных на черепе Схул IX (остальные черепа сохранились, как известно, значительно хуже)²⁷. Для последнего, как мне представляется, нет достаточных морфологических оснований — череп Схул IX отличается значительной уплощенностью лицевого скелета на уровне назомаллярных точек, но один признак даже высокого таксономического значения на одном чере-

²⁶ М. А. Гремяцкий, Проблема промежуточных и переходных форм от неандертальского типа человека к современному, «Уч. записки МГУ», вып. 115, 1948.

²⁷ Я. Я. Рогинский, Теории моноцентризма и полицентризма в проблеме происхождения современного человека и его рас, М., 1949.

не представляет собою слишком малую фактическую базу для ответственного вывода о монголоидности этого черепа, хотя он и сделан Я. Я. Рогинским с большими оговорками. Что касается двух остальных комбинаций, то они действительно выражены вполне отчетливо. Череп Схул V прогнатен и широконос, он сохранил эти свои особенности даже после повторной реконструкции²⁸. Одна из этих особенностей — выступание лицевого скелета в вертикальной плоскости — нехарактерна для европейских неандертальцев и имеет поэтому особое значение. Череп Схул IV, наоборот, ортогнатен, отличается резкой горизонтальной профилировкой и сильно выступающими носовыми костями.

Итак, на территории западного ареала, приблизительно в его центральном районе, мы застаем в эпоху мустье два морфологических типа, один из которых может быть сближен с современными европеоидами, другой — с австралоидами. К сожалению, на этом кончается информация, извлекаемая из палеоантропологических данных. Сравнительная древность этих типов устанавливается на основании морфологии и общетеоретических соображений, которые, конечно, сами по себе не бесспорны. Перед нами для выбора несколько возможностей: а) негроавстралоидная комбинация признаков — самая древняя и от неё происходит европеоидная; б) обратное соотношение; в) в пещере Схул мы сталкиваемся с представителями недифференцированной популяции, в составе которой представлены оба типа; г) в пещере Схул обнаружена смешанная популяция, и мы застаем первое поколение после начала смешения между европеоидами и негроавстралоидами; следовательно, нужно признать их чрезвычайно раннее домустьерское оформление в самостоятельные расовые стволы. Две последние гипотезы обсуждались неоднократно. Я сразу же отмечаю последнюю, так как, во-первых, нет данных, указывающих на столь раннее домустьерское появление европеоидов и негроавстралоидов, во-вторых, нет оснований предполагать, что по счастливой случайности именно первое поколение после начала смешения захоронило своих покойников в пещере Схул. Малая вероятность такого события слишком очевидна, чтобы ее нужно было всерьез доказывать. Первая и вторая гипотезы также кажутся малопримлемыми, так как прямая трансформация морфологического типа до такой степени, чтобы сначала утратились черты одной большой расы, а затем были приобретены особенности другой, ни разу не отмечена ни в палеоантропологических, ни в соматологических исследованиях. Таким образом, остается третья гипотеза — гипотеза недифференцированности населения пещеры Схул, которая соответствует наиболее полно эмпирическим наблюдениям (оба черепа с европеоидными и негроавстралоидными чертами найдены в одной пещере, что означает проявление морфологически разнородных комбинаций признаков в одной популяции) и наиболее оправдана теоретически (существование недифференцированных популяций — весьма вероятное явление для мустьерской эпохи).

Резко выраженные европеоидные и негроавстралоидные комбинации признаков, разумеется, представляли собою уклоняющиеся варианты в такой недифференцированной популяции. В целом же (не по внутригрупповому распределению вариантов, а по средним величинам) она занимала, очевидно, по большинству признаков промежуточное положение между современными европеоидами и негроавстралоидами. Череп Схул V, на котором не очень резко выражены особенности негроидной расы и который по ширине носа и прогнатизму больше похож на череп австралийца, чем на череп негра, ближе, по-видимому, к среднему типу своей популяции, чем череп Схул IV, на котором так отчетливо фиксируются европеоидные черты. То же можно сказать и про череп из Штейн-

²⁸ Ch. Snow, The ancient Palestinian: Skhul V reconstruction, «Amer. school of prehistoric research», bulletin 17, 1953.

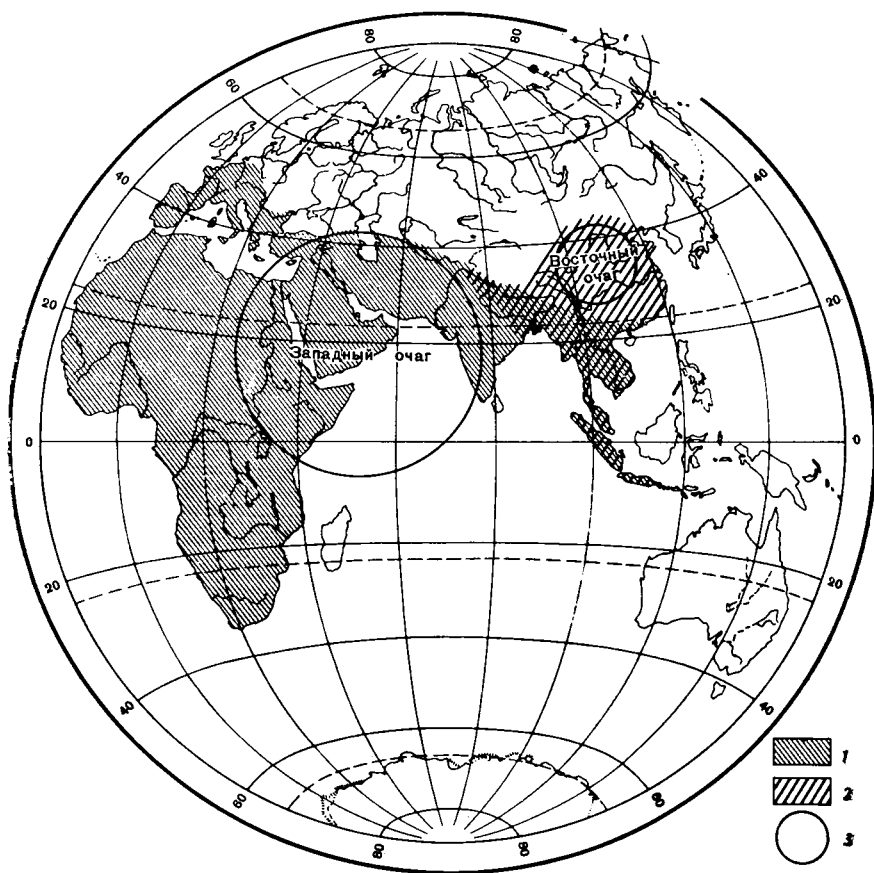


Рис. 2. Географическое распространение нижнепалеолитических культур и первичных очагов расообразования:

1 — преобладающее распространение двухсторонне обработанных орудий; 2 — преобладающее распространение чопперов; 3 — первичные очаги расообразования

гейма, европеоидность которого вряд ли представляла типичную групповую черту: скорее она была отклоняющимся вариантом. Автор склонен думать, что недифференцированные популяции, соединявшие в своем физическом облике как европеоидные, так и негроидные признаки, а по среднему типу стоявшие из современных рас ближе всего к австралоидам, составляли основное ядро населения Европы и Африки в мустьерское время. Морфологическим аргументом в пользу такого предположения служит известная нейтральность австралоидов по отношению к европейцам и африканским неграм, их промежуточное место между классическими представителями европеоидной и негроидной рас по основным признакам. Если бы мы заведомо знали, что между европеоидами и африканскими негроидами существовала генетическая связь и нужно было представить себе исходный прототип, то ему были бы приписаны волнистые волосы, темная, но более светлая, чем у негров, кожа, широконосость и прогнатность, опять-таки менее резко выраженные, чем у коренного населения Африки, умеренная массивность. Все это — характерные черты австралоидной расы. К этому следует добавить, что и негры, и европейцы сходны по возрастной динамике расовых признаков — выраженность расовых черт с возрастом усиливается²⁹. Это

²⁹ Я. Я. Рогинский, К вопросу о возрастных изменениях расовых признаков у человека (в утреннем периоде и в детстве), «Антропологический сборник», II. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. серия, т. I, М., 1960.

означает, что сходство в расовых признаках у детей негров и европейцев больше, чем у взрослых людей. Этим они резко отличаются от детей монголоидов, у которых признаки расы выражены наиболее сильно именно в детском возрасте. Этот факт свидетельствует о сравнительно позднем отделении негроидов и европеоидов друг от друга, во всяком случае более позднем, чем отделение тех и других от монголоидов. Он же косвенно говорит еще раз о том, что исходной для обоих типов была австралоидная комбинация признаков (рис. 2).

Представляется весьма вероятным, что на основе этой «австралоидности», сочетавшейся с характерными неандертальскими особенностями, сформировались при переходе к человеку современного вида и европеоидный и австралоидный комплексы уже в чистом виде. О европеоидном комплексе нечего специально говорить — его протоморфный вариант известен достаточно хорошо по многим европейским находкам. Австралоидный комплекс был также достаточно широко распространен не только в Африке (череп из Флорисбада и Кэйп-Флэтса), но и в Южной Европе (череп из гротов Ментоны, Маркиной горы, частично Комб-Капелля). Что же касается типично негроидных особенностей, то они, очевидно, сформировались позднее австралоидного комплекса. Во всяком случае даже на ископаемом черепе из Фиш-Хука, который неоднократно сближался с негроидными сериями, эти особенности выражены в комплексе менее четко, чем на негрских черепках. Таким образом, для западного очага расообразования можно констатировать, как и для восточного, этапность расообразовательного процесса. Первым этапом было формирование недифференцированных популяций палеоантропов, отличавшихся прогнатностью и широконосою и напоминавших по типу Скул V. В этих популяциях проявлялись отклоняющиеся от среднего типа комбинации с накоплением то европеоидных, то чисто негроидных признаков. Археологически этот тип может быть датирован ашельским и мустьерским временем. Второй этап — сложение на базе этих популяций при переходе к современному человеку сначала австралоидного, а затем европеоидного комплексов в их протоморфных вариантах. Это эпоха верхнего палеолита. Наконец третий этап связан с возникновением типично негроидной комбинации признаков в ее африканском варианте. Полагаю, что она сформировалась окончательно не раньше мезолита, а может быть, и позже. Во всяком случае, в пользу более ранней даты не свидетельствуют ни палеоантропологические данные (отсутствие более ранних находок с четко выраженными негроидными признаками), ни морфологические соображения (морфологическая специализация и своеобразие негроидного комплекса).

SUMMARY

The division of mankind into three great races is widely prevalent, especially in Soviet anthropological literature. This division has spread from the writings of specialists in physical anthropology into ethnographical literature. However this pattern meets ever increasing objections in new research data which shows a divergence between geographical variations in morphological and in physiological traits. The author sides with the hypothesis according to which mankind was split into two racial branches — a western or Euroafrican one and an eastern or Asiatic one. This split seems to have taken place in the lower Palaeolithic period. The initial type for the formation of the first branch were the palaeoanthropinae of the Skhul group, for the second — the sinanthropus. This bi-centric hypothesis is checked against the results of archaeological investigations and receives from them additional confirmation. Within the two branches the complex of characters of modern man emerged in two forms: forms resembling the Australoids grew up on the base of the Skhul group and those resembling the Americanoids — on the base of the sinanthropus.

Л. Б. Заседателева

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩИНЫ У ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

В XVI—XIX вв.

(ОТ «ВОЛЬНОЙ ЗАИМКИ» К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)

Одним из основных социально-экономических институтов терского казачества — своеобразной этнографической группы русского народа, впитавшей в свою среду украинские и, в меньшей степени, аборигенные кавказские элементы, — в XIX в. была сельская (станичная) община, или курень. Являясь низшей территориально-административной единицей Терского казачьего войска, она обладала рядом своеобразных черт, отличающих ее от классической русской общины.

В советской историографии вопрос о терской казачьей общине специально не разрабатывался. Между тем анализ специфических условий, определивших возникновение и функционирование общины, представляет несомненный историко-этнографический интерес. Данная статья и является попыткой дать социально-экономическую характеристику терской общины. Основным источником для написания статьи послужили полевые материалы, собранные в течение 1961—1965 годов Терской этнографической экспедицией Московского университета под руководством автора.

* * *

Юридически казачья община, как низшая территориально-административная единица, могла совершенно самостоятельно решать свои дела. Фактически же она контролировалась государственной властью — военными и гражданскими правительственными учреждениями¹. Каждый казак был одновременно и служилым, и землевладельцем, что накладывало отпечаток на положение общины в целом.

В станицах существовала стройная система управления. Исполнительную власть на местах осуществляли станичный сбор (сход, войсковой круг), станичный атаман, станичное правление и станичный суд². Заботы о содержании казачьего войска царское правительство перекладывало на самих казаков, освобождая их от обычных крестьянских повинностей. Оно прикрепляло казаков к земле, помещая их на свободных землях государства при условии несения военной службы по охране государственных границ. Это и привело к образованию особого служилого сословия.

Общинные земли

В конце XIX в. Терскому казачьему войску принадлежало немногим более одной четверти всей площади Терской области (1 949 196 десятин из 6 630 805 десятин, или 28%). Эти земли были собственностью полков,

¹ «Сборник сведений Терской области», Владикавказ, 1898, стр. 18.

² «Терский календарь 1891 г.», Владикавказ, 1891, стр. 18.

из которых в 1861 г. было образовано Терское казачье войско. При этом около одной шестой части площади вошло в состав войсковых земель в XIX в., а остальные пять шестых — еще в XVI—XVIII вв.³

На землях терских казаков сложилось три типа владения: общинные земли, которыми непосредственно распоряжалась община; земли войскового запаса, находившиеся в ведении казачьих «верхов», и частнособственнические земли, жалованные в полную собственность вышедшим на пенсию офицерам. Остановимся на первом из них.

В Терском казачьем войске община выступала верховным собственником станичных земельных владений. Общинник мог только пользоваться общинной землей. Община же имела право ее продать, заложить, разделить или сдать в аренду. Она устанавливала и правила пользования общинными землями, угодьями и сооружениями. Соблюдение всех этих правил было необходимым условием существования станичной коллективной собственности.

Земельные отношения в общине терских казаков претерпели за четыре столетия их истории (XVI—XIX вв.) значительную эволюцию. Начиная с 1560-х годов, времени появления казаков на Тереке, вплоть до 1840-х годов, а в отдельных районах и позднее, во всех станицах казачьего войска господствовало «право захвата» земли, или «вольница»⁴.

Некоторые историки казачества — И. Д. Попко, В. А. Потто⁵ — считали возможным противопоставлять социальное неравенство позднейшего периода терской общины «золотому веку» «всеобщего равенства» казачества на самых ранних этапах существования общины. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что подобное противопоставление грешит весьма односторонней, зачастую искаженной трактовкой исторических фактов.

В XVI—XVIII вв. происходили переселения в притеречные районы Северного Кавказа, где одна за другой вырастали новые станицы. В первое время свободной земли было более чем достаточно, каждый казак захватывал земли столько, сколько мог обработать сам или с помощью наемной рабочей силы. Обработанный участок закреплялся за его владельцем до получения урожая. Однако сам факт «вольной заимки» отнюдь не свидетельствует о демократичности существовавших тогда традиций. Казачья администрация, офицеры и старшины поддерживали принцип «вольной заимки», так как при таких условиях процветало право «экономически сильного» на присвоение войсковых угодий. Станичное правление шло на поводу у местных богачей и своими общественными приговорами придавало легальные формы непрекращающемуся захвату земель отдельными богатыми казаками⁶.

Отсутствие переделов в это время исключало всякое равенство в размерах земельных угодий. Лучшие земли захватывались зажиточными казаками, пользовавшимися влиянием в общине, теми, кто имел рабочую силу, тягловый скот, сельскохозяйственные орудия для обработки этих земель. В официальных же донесениях и отчетах в Петербург искажалось истинное положение дел, в них представлялась картина полного равенства в распределении войсковых земель⁷.

«Вольная заимка» бытовала у терских казаков до 1830—1840-х годов. Зажиточные казаки не только распахивали львиную долю лучшей

³ Е. Д. Максимов, Терское казачье войско, Владикавказ, 1890, стр. 61.

⁴ Полевые материалы Терской этнографической экспедиции МГУ 1961—1965 гг. Все приводимые в дальнейшем данные, за исключением оговоренных, взяты из полевых материалов экспедиции, хранящихся в архиве кафедры этнографии МГУ.

⁵ И. Д. Попко, Терские казаки с стародавних времен, СПб., 1890; В. А. Потто, Два века терского казачества, СПб., 1893.

⁶ В. А. Голобуцкий, Черноморское казачество, Киев, 1956, стр. 97.

⁷ Там же, стр. 98.

земли, но и сдавали эту землю в аренду, пользуясь ею как частные собственники.

Принцип «вольной заимки» ускорил рост имущественной дифференциации среди казачества. Происходило сосредоточение войскового земельного фонда в руках отдельных лиц. Появилась масса бедных казаков, не способных выполнять воинскую повинность. Это противоречило интересам государства, видевшего в казачестве прежде всего военную силу для охраны внешних границ государства. Расхищение земельного фонда богатыми казаками привело к сильной чересполосице, затруднявшей обработку земли. В силу изложенных причин, а также в связи с увеличением населения станиц возникла необходимость ограничить право отдельных лиц на эксплуатацию земли.

Уже в 1820—1830-е годы вводятся определенные ограничения в пользовании общинной землей. Так в отдельных станицах (Ассинская, Карабулакская, Нестеровская) каждому казаку разрешалось распахать земли столько, сколько он может обработать со своей семьей, не прибегая к помощи наемных рабочих и «складчиков», не принадлежащих к станичному обществу, т. е. «иногородних». В других местах наемных рабочих позволяли иметь, но только таких, которые наняты за деньги, а не «из части урожая».

Земельный надел каждой станицы являлся общим достоянием, собственностью населяющего ее казачества. Поэтому и порядок пользования землей устанавливался и регулировался самой общиной. Размер земельных фондов, отводимых по жребию станицам, не был точно определен. Зачастую площадь общинных станичных земель определялась на глаз. В итоге размежевания, проведенного в 1850—1860 годах, были созданы станичные юрты, представлявшие собой совокупность казачьих наделов, размеры которых нормировались, как правило, войсковой администрацией. Права казака на землю ограничивались определенной нормой в пределах станичного юрта.

Правительство, наделяя казаков землей, старалось поддержать их сословную замкнутость и сохранить принцип отбывания военной службы за пользование землей. С этой целью необходимо было упрочить экономическую базу казачества и задержать процесс обеднения казаков, часть которых уже не могла нести военную службу. Именно этими причинами можно объяснить и существование института «круговой поруки» в станичном обществе.

Земли, принадлежащие Терскому войску, были неодинаковы по качеству, что учитывалось при их распределении. Худшие по качеству земли были в Моздокско-Кизлярских степях и в Прикаспийской болотистой дельте Терека; поэтому наибольшую долю станичной войсковой земли получил Кизлярский отдел — 640 143 десятины⁸ (в ее состав входила 179 761 десятина неудобной земли). В Моздокский же отдел было отведено 449 640 десятин, в Пятигорский — 377 661, в Сунженский — 270 660 десятин⁹.

Пахотная земля общины использовалась различно. Ближайшие от станицы земли «на поду» (освоенные земли) ежегодно поступали в передел, предварительно поделенные на «пай», а земли, более отдаленные от станицы, так называемые «буруны» (песчаные степные земли) — продолжали эксплуатироваться казаками по-прежнему по праву «захвата». В «бурунах» распахиваемый участок обычно засевался один год, затем два года «отдыхал», после чего опять занимался «под пахоть».

Переход от «вольницы» к дележу земельных участков между казаками «на пай» совершался не сразу. Так, в станице Каргалинской земля была поделена на «пан», но станичное общество из-за неурожая в 1870-х

⁸ Н. А. Караулов, Терские казаки в прошлом и настоящем, Владикавказ, 1912, стр. 27.

⁹ Там же, стр. 270.

годов и незначительной величины «пая» опять разрешило вернуться к «вольнице», которая и господствовала здесь до 1876 г.

Принципы, по которым земля общины делилась «на пай», в различных станицах были разными. Наиболее распространенным было распределение земли по «отбывным душам», которыми считались все казаки с 17 лет, обязанные отбывать воинскую повинность. О подобном принципе наделения земель нам рассказывали в станицах Ассиновской, Солдатской, Приближней и других. В некоторых станицах (Дубовская, Бороздинская и др.) «пай» нарезали на каждого новорожденного мальчика, называя его с момента рождения «отбывной душой». Земля распределялась и «по плугам» (станицы Михайловская, Нестеровская), т. е. по числу имеющихся в обществе плугов, «по тяглам» (станицы Карабулакская, Змейская), «по дворам», «хозяйствам». Вдовам казаков выделяли во всех станицах половину пая. Если у них оставались дети, поступали по-разному. В станицах Калиновской, Серноводской один пай давался на трех человек (жена и двое детей). В большинстве же станиц на вдову и детей (независимо от их числа) выделялся один пай. В станице Ищерской наделяли землей даже и девушек, которые не могли выйти замуж из-за физических недостатков. Бывали случаи, что после наделения станичников земель («паями») оставалась свободная земля. Тогда ее по решению схода делили между семьями, в которых было много девочек (ибо по обычаю «пай» выделялся только мужчинам). Оставшиеся земли иногда превращали в «сиротский пай», ими наделяли сирот. Однако нам ни разу не пришлось слышать о случае деления земли в прошлом «на едока», т. е. без различия пола.

21 апреля 1869 г. было принято положение о казачьих наделах, согласно которому «всем мужского пола жителям станиц, принадлежащим к войсковому сословию и достигшим 17-летнего возраста, а также их вдовам и сиротам выделялся земельный надел»¹⁰. Иногородние земельного надела в казачьих станицах не получали.

Если казак просил выделить ему «пай», но не имел средств его обработать, на него налагался штраф. Юридически каждый казак был членом одной из станичных общин, но фактически членами их могли быть только казаки, располагавшие известным имуществом, позволявшим основать свое хозяйство. Если казак не мог своими силами обработать надел, последний сдавали в аренду. То же бывало и тогда, когда у казака не было денег для приобретения обмундирования, что считалось его обязанностью. В случае ухода казака из станицы он не лишался земельного надела. По возвращении ему давали землю. Был возможен и обмен паями между станицами. В таких случаях казак поступал служить в тот полк, к которому приписана станица, где он получал пай, так как станица была воинской единицей.

В некоторых станицах земля делилась на две части, из них одна распределялась «на наделы», а другая считалась «вольницей». Существовало такое правило: в первую очередь следовало обрабатывать «надел», затем уже другой, захваченный участок.

Весьма важной чертой общинного землевладения был установившийся с середины XIX в. обычай переделов земельных «паев». Сроки, на которые выделялась земля, были неодинаковыми. Частые переделы (через 1—2 года) практиковались в тех станицах, где земля была более плодородная (станицы, приписанные к Волгскому и Сунже-Владикавказскому полкам). В других станицах срок пользования «паями» доходил до четырех лет и даже более (станицы Кизляро-Гребенского полка). Здесь из-за малоплодородной почвы земледельцу предоставлялось право пользоваться наделом до тех пор, пока полностью не окупались за-

¹⁰ Центральный гос. архив Чечено-Ингушской АССР (далее ЦГА ЧИАССР), ф. 62, оп. 1, ед. хр. 1, стр. 51.

траты на обработку земли, особенно существенные в первые годы. В отдельных случаях право на надел сохранялось и тогда, когда он «отдыхал» от посевов, находился под паром. Бывало так, что хозяин снимал со своего поля сено в течение пяти лет подряд, не получая с него зерна.

Существовал ряд способов размежевания земельных угодий общин. Один из них, наиболее примитивный, основывался на использовании естественных топографических признаков — балок, ручьев, пригорков, дорог. Землю делили «клиньями», «углами», стараясь получить участки одинакового размера. Если земля не «делилась» естественными рубежами, тогда доверенные лица делили землю на отдельные участки, размер которых намечался заранее. Во время дележа казаки группировались или партиями по несколько человек или десятками и «записывались на общий жребий». Группировка вызывалась обычно желанием станичников иметь смежные участки или работать совместно. Условившись на сходе об участке, подлежащем размежеванию, кто-нибудь из общинников вынимал жребий (как правило, одну из бумажных трубочек, брошенных в шапку) с надписями фамилий, записавшихся к дележу. Потом все отправлялись в поле. Там, с помощью веревки, длина которой соответствовала ширине земельного пая, нарезались участки земли по числу пайщиков, входивших в каждую группу. Участки каждой партии отделялись вехами или какими-нибудь другими знаками¹¹ (так было в станицах, приписанных к Сунже-Владикавказскому полку).

Встречались и другие способы дележа (станицы Волгского полка и частично Кизляро-Гребенского). Весь участок земли, предназначенный обществу к распашке, делился между жителями пропорционально числу членов семьи (мужского пола). Дележ проводили ранней весной, до начала пахоты. В станицах с плохой почвой разметка «паев» происходила иначе. «Так, в станице Шелкозаводской (Кизляро-Гребенского полка) все желающие получить участок выезжали в поле. Тот, кто приехал первым, принимался пахать. От границы первого пая, или «запашки» начинал второй. При таком порядке хозяин каждого плуга заявлял на сходе, сколько земли он намерен поднять. Если кто-либо из казаков хотел обработать участок больший, чем ему положено, он получал его после того, как все станичники наделались землей»¹².

Казацкие станичные общины признавали за отдельными лицами право на дополнительные пахотные участки, обработанные и приведенные в годное для эксплуатации состояние упорным трудом этих лиц. Таким образом, складывались «родовые владения» (это были тоже общинные земли, но не подлежащие переделам).

Станичная община имела строгие границы. Они могли быть изменены только в случае ее раздела или перемежевания. Границами отдельных общин служили специальные знаки в виде больших камней, ручьев, деревьев. Размежевание и попытки захвата земельных владений станиц приводили к длительным распрям и тяжбам. Их обычно разрешали представители казачьей администрации. Бывали случаи, когда сами общины приходили к соглашению и устанавливали границы своих владений. Правда, в большинстве случаев для Терской общины, как и для других крестьянских общин России, было характерно строгое соблюдение межевых границ.

Размер наделов, выделявшихся из земель всех разрядов, был, как мы уже говорили, неодинаков в разных станицах. На Тереке была принята расценка войсковых земель по степени их пригодности для сельского хозяйства. Вся земля была разделена на пять категорий, из которых каждая делилась на три разряда. За норму был взят низший третий разряд четвертой категории: 30 десятин — казакам, 200 десятин —

¹¹ Е. Д. Максимов, Указ. раб., стр. 89.

¹² Там же.

офицерам, 400 десятин — офицерам, вышедшим в отставку, 1500 десятин — генералам¹³. В остальных разрядах выделялся участок земли большего или меньшего размера. Фактически же эти нормы не соблюдались. Как правило, при плодородных почвах размер пая уменьшался.

Наименьший надел — 11—15 десятин — приходился на станицы Сунженского полка. В некоторых станицах (Архонская, Терская, Котляревская, Карабулакская, Троицкая, Михайловская и другие) он доходил даже до 7—8 десятин. Небольшие наделы были и в станицах Алхан-Юртовской и Закан-Юртовской Кизлярского отдела, а также в нескольких станицах Пятигорского отдела: Лысогорской, Незлобной и Георгиевской¹⁴. Вторую группу образовывали станицы, земельный надел которых был от 15 до 27 десятин. В эту группу входили 11 станиц Сунженского и 6 станиц Кизлярского отделов. Третью группу, с высшим земельным наделом — свыше 27 десятин — составляли 11 станиц Кизлярского и 2 станицы Пятигорского отделов. Здесь в некоторых станицах надел достигал 48,5 десятин земли.

Размер казачьего надела, впрочем, отнюдь не был показателем благосостояния их хозяев. Так, хотя в Кизлярском войске размер пая был велик, доходы с него были очень незначительны. Большую часть площади этих станичных юртов занимали песчаные буруны. Из-за длительного распахивания и вытаптывания скотом они превращались в сухие, бесплодные, не пригодные для сельского хозяйства пространства. Эти сухие, разрыхленные пески приближались к Тереку (станицы Червленая, Щедринская, Новогладковская, Курдюковская и другие) и представляли угрозу хозяйству низовых станиц Терека. Другим бедствием для земель Кизлярского отдела, главным образом низовых станиц, были частые разливы Терека и его притоков: Прорвы, Таловки.

В станицах же Сунженского отдела, имевших плодородные земли, были свои неудобства: наделы зачастую были расположены чересполосно и в местностях, удаленных от станицы на значительное расстояние, иногда до 150 верст. Так, станицы Терская и Сунженская владели участками за Курю и к северу от юртов станиц Галюгаевской и Стодереvской Пятигорского отдела¹⁵. Выезды на эти участки были очень обременительными, поэтому практически использование их становилось невозможным, особенно в безводных районах.

Вот почему многие казаки вынуждены были сдавать свои наделы в арендное содержание. В 1892 г. сдавалось в аренду: по Пятигорскому отделу — 12,8%, по Кизлярскому — 22,2%, по Сунженскому — 14% всей станичной земли¹⁶. В Кизлярском отделе арендаторами были преимущественно скотопромышленники, прибывающие из Кубанской области и Ставропольской губернии (использовали земли под пастбища), в Сунженском отделе — горское население Кавказа, не имевшее в горах достаточного количества земельных угодий.

Помимо пахотных земель коллективную собственность казачьей общины составляли: станичные пастбища, участки леса в границах общины, станичные дороги, мельницы, каменоломни (если община занималась добычей камня), водные источники — колодцы, родники, реки и ручьи в границах общины, станичные комнаты для приезжих, станичные магазины-склады с запасами хлеба, здание станичного суда, место для проведения общественных праздников и сходов, станичное кладбище.

Пастбища, в отличие от пахотной земли, не подлежали разделу. На них выпасали весь скот, принадлежащий общинникам. В систему общест-

¹³ По принятому в 1869 г. положению о землеустройстве Терского войска.

¹⁴ Е. Д. Максимов, Указ. раб., стр. 79.

¹⁵ «Терский календарь 1892 г.», Владикавказ, 1892, стр. 17.

¹⁶ Там же, стр. 19.

венных пастбищ входили и дороги, по которым гнали скот. Наличие водопоя на пастбищах представляло большую ценность, так как пользование водопоем на пастбищах соседних общин вызывало дополнительные расходы. В использовании водопоя была установлена определенная система и очередность. Община строго следила за состоянием дорог и водопоев. На пастбищах находились жилища пастухов и загоны для скота.

Сенокосные угодья, расположенные вблизи станиц, служили базой для заготовок сена на зиму и прокорма того скота, который не угоняли на отдаленные пастбища. Эти угодья делились обществом на пай по такому же принципу, как и пахотная земля (станицы Карабулакская, Сунженская).

В прибрежных станицах (Новогладковская, Червленая) существовал интересный порядок пользования сенокосными угодьями. Расположенные на берегу Терека, они представляли сплошные заросли ошников (сорная трава). Освободить такие участки от сорняка можно было только после многолетней работы. Казаки пользовались ими из поколения в поколение, поэтому участки получили название «родных». «Родные» участки не поступали в передел, а передавались по наследству¹⁷. С приходом новых переселенцев в эти станицы свободные сенокосные угодья по Тереку были поделены обществом на пай, которые также не поступали в передел, а передавались по наследству.

Во многих станицах вплоть до начала XX в. имелись общие луга. Они обычно располагались далеко от станицы. На них каждый желающий косил травы «сколько может и сколько хочет», т. е. существовал обычай «вольницы». Однако при этом действовал ряд ограничений. Так, общество назначало срок, раньше которого никто не мог приступать к покосу. На «вольницу» запрещалось нанимать посторонних рабочих (в действительности этот запрет обходился казачьей верхушкой). Ни один казак не мог начать косить на «вольнице», если им не был скошен принадлежащий ему «луговой надел» вблизи станицы.

Огороды также принадлежали к числу «родных» участков и составляли достояние тех, кто их обрабатывал, предварительно огородив. Это были общественные земли, не подлежащие переделу и переходившие из поколения в поколение в казачьих семьях. Община требовала, чтобы вновь отведенное под огород место было огорожено и использовано. Если же огороженное место несколько лет не эксплуатировалось, его мог занять любой из общинников. К 1880-м годам огороды стали отводить только с разрешения станичного схода.

Виноградные сады, как и прочие земельные угодья, составляли общественное достояние. На них распространялись те же права пользования, что и на огороды и усадьбы. Виноградники не подлежали переделу и передавались от отца к сыну. Если же они забрасывались хозяином, то передавались в пользование общины, а за хозяином оставалось лишь право взять корни виноградной лозы¹⁸.

Леса. В середине XIX в. лесом было занято 99 557 десятин земли, из них 69 714 десятин собственно лесом, а остальные 29 843 десятины — мелкой порослью и кустарником¹⁹.

Весь лес делился станичным обществом на участки по числу душ, отбывающих воинскую повинность. Каждый казак пользовался своим паем по личному усмотрению. В большинстве случаев леса хищнически истреблялись. К 1860—1870 годам в ряде станичных обществ были установлены ограничения в пользовании лесом.

¹⁷ Е. Д. Максимов, Указ. раб., стр. 92.

¹⁸ Там же, стр. 61.

¹⁹ «Статистический ежегодник», Владикавказ, 1842, стр. 97.

Общинные порядки на Тереке были узаконены в 1879 г. Вместе с тем правительственная политика по-прежнему была направлена на поддержку богатого казачества. Ежегодно ко двору отправлялись делегации представителей казачьей верхушки, так называемых «станиц», в которых, как правило, участвовали богатые казаки. По прибытии ко двору станичники получали большое вознаграждение²⁰.

В конце XIX в. у терских казаков узаконилась частная собственность на землю в виде наделов, выдававшихся вышедшим в отставку офицерам вместо пенсии. Таким образом, в станицах появилась группа казаков-офицеров, которые, будучи членами станичной общины совсем вытекающими отсюда правами и обязанностями, становились одновременно частными собственниками пожалованных земель.

Начиная с середины XIX в., правительство стало постепенно закреплять законодательным путем социальное неравенство среди казаков. Так, положением 1845 г. о Кавказском линейном войске устанавливалась резкая дифференциация между офицерами и остальными казаками в отношении величины земельного надела. Казачьим офицерам разрешалось иметь в личном услужении «драбантов», преимущественно из числа бедных казаков²¹.

В 1862 г. был издан закон, пробивший брешь в сословном землевладении. Купцам, фабрикантам и прочим предпринимателям в целях развития промышленности в крае разрешалось приобретать в станицах, с согласия войскового правления, участки земли под торговые и промышленные заведения²². Это постановление способствовало образованию в казачьей станице богатых предпринимателей, широко эксплуатировавших в своем хозяйстве бедняков из среды казаков и иногородних.

Закон 1868 г. несколько развил эти положения. Он устанавливал, что войсковые земли, оставшиеся после наделения станиц и удовлетворения общественных надобностей, назначаются для продажи в частную собственность или продажи в оброчное содержание преимущественно лицам казачьего сословия²³. Приобретать эти земли могли лишь богатые казаки и иногородние. Следовательно, и этот закон способствовал усилению имущественной дифференциации в казачьих станицах. Законы 1869—1870 гг. расширяли права невойсковых сословий на приобретение недвижимой собственности.

В печати того времени можно было видеть такие сообщения: «В каждой станице есть казаки, которые не имеют никакого хозяйства, не имеют своих изб и живут исключительно по найму у других... Встречались и такие, которые, хотя и имели свои избы для семейства, но безо всякого хозяйства, вследствие чего все взрослые члены семьи принимались на работы у своих же одностаничников»²⁴.

В конце XIX и начале XX в. процесс обнищания части казачества ускорился. Для иллюстрации можно привести следующие данные: в станице Сунженской в 1875 г. значительная часть жителей (84 хозяйства из 518) жила только наемным трудом²⁵. В этой станице половина всего станичного надела запахивалась 35 хозяевами, пользующимися трудом станичников. Эти богатые казаки вывозили хлеб на продажу. Другая половина земли была разделена на крошечные участки в 0,5—2 десятины, тогда как для прокормления семьи, по словам старожил, необхо-

²⁰ «Материалы для географии и статистики России», СПб., 1862, ч. 2, стр. 28.

²¹ В. А. Голобуцкий, Указ. раб., стр. 161 и др.

²² Там же, стр. 232.

²³ Там же, стр. 233.

²⁴ «Сборник сведений Терской области», Владикавказ, 1876, стр. 191.

²⁵ «Статистические материалы для изучения станичного быта Терского казачьего войска», Тифлис, 1876, стр. 39—41.

димо было минимум 3 десятины. В станице Николаевской²⁶ в 1875 г. 34 двора не имели земли и скота. В станице Галашевской у 18% казаков не было никакого скота; 300 человек ежегодно уходили из станицы на заработки²⁷. В станице Фельдмаршальской 47% населения не могли вести хозяйство самостоятельно, 39% работали в батраках. В станице Новогладковской были так называемые нежилые хозяйства, когда все члены семьи работали по найму. Более трети населения этой станицы в 1875 г. работало на зажиточных казаков²⁸.

Важным показателем процесса обнищания казачества был рост безлошадных хозяйств. Так, в 1889 г., в 17 станицах Кизлярского и Сунженского отделов было уже от 20 до 30% безлошадных хозяйств²⁹.

Таким образом, несмотря на господство сословно-казачьего землепользования и стремление самодержавия поддержать установленный в казачьих районах «порядок», товарное производство втягивало казачество в капиталистические отношения.

Использование наемных рабочих в хозяйствах богатых казаков и кулаков-иногородних было повсеместным явлением. Основной наемной силой «фабрикантов пшеницы и вина» была казачья гольтыба. Небольшое число бедных казаков уходило на заработки в город. Важным источником дешевой рабочей силы были массы крестьян-переселенцев из центральных губерний России, согнанных с земли неурожаем и непосильными податями.

Газеты 1880—1890 гг. пестрили сообщениями об изобилии нищих на плодородных берегах Сунжи и в Грозном; причем отмечалось, что среди них встречаются и обнищавшие казаки, которых общество не может содержать³⁰.

У зажиточных казаков и в богатых хозяйствах «иногородних» работали ногойцы, калмыки, горцы. Так, в 1880-х годах в Кизлярском отделе использовалось в помещичьих и казачьих хозяйствах до 15 тыс. одних ногойцев³¹. На заработки в Кизлярский отдел ежегодно приходило до 18 тыс. горцев³². Особенно жестоко эксплуатировался труд ногойцев и калмыков.

Показателем распада станичной общины явилась сдача земли беднейших казаков в аренду и образование многочисленных хуторов³³.

Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что в пореформенный период расслоение казачьей общины шло быстрыми шагами.

Военная служба и другие повинности казаков

Одной из главных обязанностей казаков была военная служба. В первые годы поселения на Тереке все мужское население станицы считалось служилым. Вопросы службы были урегулированы в 1711 г.

Весь служилый состав терских казаков делился на три разряда: приготовительный, строевой и запасной. В приготовительный входили казаки в возрасте от 18 лет до 21 года. Их готовили к службе и обучали военному делу. С 21 года казаки переходили в строевой разряд, в состав

²⁶ «Статистические монографии по исследованию станичного быта Терского казачьего войска», Владикавказ, 1881, стр. 19.

²⁷ Там же, стр. 20.

²⁸ Там же, стр. 20—21.

²⁹ «Статистические таблицы населенных мест Терской области», тт. I—II, Владикавказ, 1890, стр. 97.

³⁰ «Терские ведомости», 1887, № 17.

³¹ «Акты Кавказской археографической комиссии» (далее АКАК), Тифлис, 1904, стр. 476.

³² АКАК, т. XII, стр. 476.

³³ «Терский календарь 1894 г.», Владикавказ, 1894, стр. 15.

ве которого несли службу до 33 лет. Первые четыре года казак числился в «первом полку» на действительной службе. В остальное время, если не было военных действий, он находился дома, но обязан был ежегодно являться на лагерные сборы³⁴. Лошадь и амуницию продавать в этот период не разрешалось. В запасном разряде находились казаки в возрасте от 33 до 38 лет. Казак этого разряда мог продать амуницию. Он призывался на службу только в случае войны. На сборы он не призывался и нес лишь станичные повинности. Когда казаку исполнялось 39 лет, его вычеркивали из военных списков, однако он продолжал нести станичные повинности. Освобождали его от них только после 45 лет, хотя казак по-прежнему получал земельный надел.

В станице Ассиновской в 1872 г. в первый разряд входило 22,5, во второй — 64, в третий 13,5% всего служилого населения станицы³⁵. В станице Шелковской было в 1854 г. 133, в 1856 г. — 137, в 1865 г. — 142 служилых казака³⁶.

Военная служба занимала у казаков много времени³⁷, что сказывалось на состоянии хозяйства, особенно в бедных семьях, где не могли нанять работников. Зажиточные казаки нередко уклонялись от воинской службы, выставляя вместо себя наемников или внося деньги, т. е., попросту говоря, откупались³⁸. До 1830 г. богатые казаки могли посылать вместо себя на службу бедняков. Так называемые «товарищи» (т. е. богатеи) снабжали бедных казаков обмундированием, оружием и лошадьми, а за это пользовались долгосрочной льготой, получая соответствующее свидетельство об освобождении от службы³⁹. Бывали случаи, когда казак вносил в пользу своей общины известную сумму денег и получал льготу на год или два в зависимости от размера внесенной суммы⁴⁰. В 1830-х годах институт замены личной воинской службы и откупа от нее был официально отменен и к прохождению воинской службы стали привлекаться все казаки, независимо от имущественного положения⁴¹.

Расходы на приобретение и содержание строевого коня и формы были очень обременительны для значительной части казачества, особенно для бедняков⁴². Об этом свидетельствует выделение общиной в долг денежных средств на снаряжение беднейших казаков Терской области: в 1900 г. было выдано 34 492 руб., в 1901 г. — 40 371, в 1902 г. — 57 580, в 1903 г. — 67 870, в 1904 г. — 122 722 руб.⁴³.

Нередко у казака за долги отнимали последний кусок земли и сдавали его в аренду на их погашение. Зачастую положение казака было хуже, чем иногороднего.

Лицам казачьего сословия предоставлялось право поступления на службу вне своего полка и выход из казачьего сословия. Оба эти разрешения разрешались станичным сходом и верховным начальством лишь при соблюдении определенных условий. Разрешения давались в том случае, если выходящему было не менее 17 лет и он отказывался от участия в пользовании станичными землями. При выходе необходимо было

³⁴ Н. А. Караулов, Указ. раб., стр. 327.

³⁵ Е. Д. Максимов, Указ. раб., стр. 152.

³⁶ ЦГА ЧИАССР, ф. 94, оп. 3, лл. 32—37.

³⁷ Казаки участвовали почти во всех войнах, которые вела Россия в XIX — начале XX в.

³⁸ И. Дебу, Описание кавказской линии, СПб., 1829, стр. 80.

³⁹ В. А. Голубуцкий, Указ. раб., стр. 169.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Газ. «Кубанские областные ведомости», Екатеринодар, 1897, № 12, 20/II, стр. 3.

⁴² Так, в 1902 г. стоимость всего снаряжения равнялась 157 руб. Из них 100 руб. затрачивалось на строевую лошадь, 25 руб. — на седла и амуницию, 7 руб. — на узды и недоузки, 25 руб. — на черкеску и бешмет. (См.: «Терский календарь 1903 г.», Владикавказ, 1903, стр. 84).

⁴³ «Терский календарь 1905 г.», Владикавказ, 1905, стр. 24.

уплатить обществу все недоимки и выполнить все повинности. Если у выходящего из сословия или переходящего в другой полк были дети, живущие с ним и достигшие 17 лет, он обязан был обеспечить их всем снаряжением. Если же, наоборот, это был молодой казак, живущий вместе с родителями, надо было получить их согласие. Кроме того, выходящий не должен был состоять под судом или следствием⁴⁴. Если с уволенными отцами были малолетние дети, то они по достижении возраста от 17 до 25 лет имели право возвратиться в войсковое сословие в те же станичные общества, к которым принадлежали ранее, не спрашивая предварительного разрешения этих обществ⁴⁵. Выход из войскового сословия разрешался незамужним казачкам и вдовам. Если казачка выходила замуж за иногороднего, она также переставала числиться в казачьем сословии. Для окончательного решения всех этих вопросов была необходима санкция наказного атамана отдела.

Выполняя воинскую повинность, терские казаки освобождались от поземельного налога и подушной подати. Денежные сборы взимались с казаков только на некоторые общественные и станичные нужды. Однако терские казаки несли квартирную, дорожную и другие повинности. На них лежали обязанности по доставке леса и строительного материала, по возведению и укреплению зданий, содержанию почтовых станций, строительству за свой счет паромов и мостов, вырубке в лесах просек⁴⁶. Особенно обременительна была подводная повинность (предоставление подвод и возчиков). Для ее отбывания не хватало мужчин, поэтому привлекались даже женщины. Тяжела была и квартирная повинность (размещение войск). До 1845 г. существовала почтовая повинность⁴⁷.

Каждый казак должен был участвовать в общественных работах: починке и укреплении плотин, рытье водосточных канав, посадке лесов, осушении прибрежных болот, но богатые казаки нередко нанимали вместо себя бедняков. Иногда за небольшое жалование общество нанимало (чаще всего на год) постоянных лиц для выполнения тех или иных работ. Казачья верхушка, пользуясь своей властью, стремилась переложить побольше натуральных повинностей на плечи бедноты.

Таким образом, характерной чертой общины терских казаков была все более обострявшаяся социально-экономическая дифференциация.

* * *

Как показывает приведенный выше материал, за четыре столетия община у терских казаков претерпела значительные изменения. В XVI в. для общины была характерна «вольная заимка» пашенных, лесных и прочих угодий, не подвергавшихся переделам благодаря обилию незанятых земель. Впоследствии в связи с постоянным ростом населения образовалась переходная форма вольного землепользования, осуществлявшегося под контролем станичного схода. При этом для терской общины в ее позднейшей форме было характерно уравнительное распределение земли, с периодическими переделами и принудительным севооборотом. В отдельных станицах встречалось сочетание обеих этих норм землевладения.

Казачья община в конце XIX в. не была социально однородным целым. Разложение ее зашло очень далеко. Между ее членами не было ни имущественного, ни социального равенства. Богатые казаки, узурпировав различные права и привилегии в общине, подвергали бедную часть казачества самой беспощадной эксплуатации, в одних случаях исполь-

⁴⁴ Н. А. Караулов, Указ. раб., стр. 345—349.

⁴⁵ Там же, стр. 349.

⁴⁶ Центральный гос. архив Дагестанской АССР, ф. 115, ед. хр. 7, стр. 41—42.

⁴⁷ Н. А. Караулов, Указ. раб., стр. 299.

зую нормы общинных традиций, в других — открыто их нарушая. Все это постепенно разрушало организацию общины.

Сохраняя видимость самоуправления общины, государство контролировало всю ее внутреннюю жизнь. Община играла большую роль в экономической жизни казачества. Она привязывала казака к земле, тем самым усиливая его зависимость от богачей, чему способствовали также замкнутость общинного быта, застойность экономического и общественного развития, наличие круговой поруки членов общины. Все это вместе с обременительными воинскими обязанностями делало положение казака весьма тяжелым. Разложение терской общины к концу XIX в. стало историческим фактом.

S U M M A R Y

The author describes the village community of the Terek Cossacks — one of their main social-economic institutions. The Terek Cossacks are a distinctive ethnographic group of the Russian people; it has grown up in the North Caucasian territory absorbing Ukrainian and aboriginal Caucasian elements.

The village (*stanitsa*) community or *kureń* was the lowest territorial-administrative unit of the Terek Cossack military organization (*voysko*). It was legally independent in internal decisions but in actual fact all aspects of its life were controlled by military and civilian government authorities.

The history of the Cossack village community is traced from the mid-sixteenth to the beginning of the twentieth century. The main emphasis is laid on the analysis of forms of land ownership: from unlimited free occupation of arable and other lands not subject to re-allotment since land was plentiful, to equal distribution and the rise of private ownership. By the end of the XIX century, under the influence of capitalist evolution in Russia, the Cossack community begins to disintegrate; it comes to be characterized by a clear-cut social stratification.

The article also characterizes the military defence functions of the village community as a peculiar feature of the Terek Cossacks.

П. Г. Ширяева

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА РУССКИХ РАБОЧИХ

(ДООКТАБРЬСКИЙ ПЕРИОД)

I

Общественные и экономические условия, в которых зарождалось, развивалось и жило песенное творчество рабочих, серьезно изменялись на протяжении XVIII—XX вв., поэтому совершенно естественным является раздельное рассмотрение поэтических особенностей и жанров песенного творчества в период формирования русского рабочего класса и в период организованной борьбы русского пролетариата.

Процесс создания рабочих песен был длительным и трудным и отражал процесс формирования русского рабочего класса. То обстоятельство, что значительное число крестьян влилось в состав рабочих, сказалось на их раннем песенном творчестве. Положение феодальнозависимого крестьянина, поставило рабочую поэзию в один ряд с антикрепостнической народной поэзией.

В поэтическом творчестве рабочих XVIII—первой половины XIX в. специфические рабочие мотивы (изображение условий труда, жизни и быта) проявляются весьма скупо. Чаще всего в этих песнях называется место работы (город, фамилия или имя владельца фабрики). Таковы песни «Как во городе во Ярославле Затрапезнова на заводе, заводился там двор фабричный»², «Как у нашего хозяина у Логанова, у прикащика было у Строганова»³, «Вы кудри ль мои кудри»⁴, «Завела девка шинок»⁵.

Истоки этих песен лежат в самых разнообразных жанрах традиционного песенного творчества. Так, песни о фабрике Затрапезнова в Ярославле и фабрике Милютина в Петербурге построены на основе лирической свадебной: «Возле тын хожу, я копер (укроп. — П. Ш.) сажу»⁶. Содержание ее классического варианта таково: невеста пугается свекра (в петербургском варианте девушка пугается отца) и теряет узор, который она вышивает. Ярославская и петербургская версии песни меняют место действия (в первой — оно переносится в Ярославль на фабрику Затрапезнова, во второй — в Петербург на фабрику Милютина), состав действующих лиц (вместо свекра выступает отец или добрый молодец), но сохраняют колорит лирической свадебной песни.

Новая песня еще тесно связана со старой, с привычными образами традиционных крестьянских песен, даже с их композицией, но в ней уже

¹ «Собрание разных песен М. Д. Чулкова», ч. 1, СПб., 1913, № 183.

² Отдел письменных источников Государственного исторического музея, рукопись П. И. Шукина, связка 601, № 86.

³ А. И. Соболевский, Великорусские народные песни (далее А. И. Соболевский), т. VII, СПб., 1902, № 423.

⁴ «Русская старина», 1886, февраль, стр. 491.

⁵ П. И. Якушкин, Соч., СПб., 1884, стр. 540, № 14.

⁶ А. И. Соболевский, т. II, СПб., 1896, № 531; см. также №№ 582—584.

создается и рабочая сюжетная ткань. Наиболее характерна в этом отношении песня «Ярославль наш батюшка, река Волга-матушка»⁷, сложенная по типу путевых бурлацких песен. Бурлацкие песни обычно рассказывают о прибрежных городах и пригородах, поселках, мимо которых идут бурлаки, о жителях приволжских, приневских станций. В песне «Ярославль наш батюшка...» основное внимание уделено сатирической характеристике окраин Ярославля, названы и отдельные фабричные слободы; в отличие от бурлацких песен изображены еще и мастерство рабочих — ярославских ткачей-умельцев, и некоторые черты их быта.

Подчас в крестьянских и в рабочих песнях мы находим одни и те же образы, что является ярким проявлением органической связи этих песен и популярности крестьянского фольклора в рабочей среде. Образ отлетающей птицы в солдатских песнях близок образу отлетающих гусей в песне об отправке крестьян и беглых людей на строительство Ладожского канала⁸. Образ бесконечной пути-дороги встречается и в рекрутской песне, и в песне об отправке крестьян на уральские и сибирские заводы⁹. Одни и те же образы характерны также для песен о тяжелой солдатской службе и песен о тяжелом труде питерских каменотесов¹⁰. Заломанные кусты как символ горя встречаются в песне о Разине и в песне текстильщиков Иваново-Вознесенска¹¹.

Иногда через старую лирическую песню лишь едва проступает новое содержание. Так, близка традиционной плясовой песне «Я вечер молодая во пиру была» лирическая песня о корабельных мастерах Охтенской судовой верфи. В ней молодец, идя из кабака, ухватывается за веревку, которую ставили «добрые молодцы, охтенские плотники... мастера корабельные, корабельные и галерные»¹² (в традиционной — молодичка идет домой, шатаясь «от пива», и прислоняется к веревке свекра).

В песнях о проводах к месту работы и о самой работе на предприятии очень скупо говорится о труде. Это по существу еще не рабочие песни, а песни посадских людей и крестьян, критикующие фабричную жизнь. Однако постепенно в песнях появляются отдельные штрихи, характеризующие условия труда на заводе и фабрике. В различных производственных коллективах России начинают складываться песни нового типа, каждой из которых присущи новые, социальные черты. Это песни: «Вы леса ль мои лесочки» (Иваново-Вознесенск), «Во селе было Крашинском, на дворе фабричном» (Симбирская губерния)¹³, «Как у славного заводчика у Титова на дворе, собиралися набойчики на Яузу погулять» (Московская губерния)¹⁴, «Всяк де спляшет да не как скоморох» (уральская)¹⁵, «О, се горные работы, они всем дают заботы» (сибирская)¹⁶, «Как во Устюжской округе, во Двинской было трете» (Вологод-

⁷ Рукописный отдел Ин-та русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее ИРЛИ), ф. 265, оп. 2, № 1458.

⁸ «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 8, М., 1870, стр. 261—264 (песня «Ладожский канал»); ср. А. И. Соболевский, т. VI, СПб., 1901, №№ 96, 130, 139 и др.

⁹ Песня «Из Москвы мы выступали» (Рукописное отделение Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, архив Н. Ф. Щербины, тетр. 1, лл. 30, 31, № 5); ср. с песнями о рекрутах: «Ты дорога моя, дорога широкая» (А. И. Соболевский, т. VI, №№ 121, 129 и др.), «Ах, ты душечка, красная девица» (там же, №№ 807, 808).

¹⁰ «Уж как весело жить нам, путиловцам молодым» (Рукописное отделение Гос. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, шифр F XVII, 69, л. 65); ср. с казачьей песней «Ой, нам весело жить, теперь не о чем тужить» (А. И. Соболевский, т. VI, №№ 162, 163).

¹¹ Ср. песню «Вы леса ль мои, лесочки» («Песни, собранные П. В. Киреевским», нов. серия, вып. II, ч. 1, М., 1929, № 1584) с песней о Разине (А. И. Соболевский, т. VI, № 402).

¹² См. А. И. Соболевский, т. II, № 171.

¹³ «Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского», «Литературное наследство», т. 79, М., 1968, стр. 635, № 57.

¹⁴ Там же, стр. 322—324, № 36.

¹⁵ Рукописный отдел ИРЛИ, разр. 39, оп. 7, № 99, стр. 33.

¹⁶ «Томские губернские ведомости», 1865, 7 мая (№ 17) и 14 мая (№ 18), часть неофициальная.

ская губерния) ¹⁷, «Уж как весело жить нам, путиловцам молодым» (с. Путилово Петербургской губернии) ¹⁸ и др.

Главной темой песен постепенно становится положение рабочих, условия их труда. В большинстве песен первой половины XIX в., как и в песнях XVIII в., изображение условий труда дается кратко, но штрихами яркими, реалистическими. В некоторых песнях имеется уже известное обобщение. Так, совершенно противоположно содержанию своего прототипа — городской песни «Во селе, селе Покровском, середь улицы большой, разыгралась, расплясалась красна девица душа» — строится песня «Во селе было Крашинском, на дворе фабричном, молодец красна собирает, тяжело вздыхает». В этой песне рабочих жалуется и на тяжесть труда, и на заводчика, видя в нем своего социального антагониста.

Нет прочной связи с традиционной основой и у лирической песни, записанной А. Кольцовым в 1830-х гг. на текстильной фабрике московского купца Титова («Как у славного заводчика у Титова на дворе»). Впервые в песнях звучит стихийный протест против заводчика: «Пропaday ты, Матюшин, со заводом со своим, со товаром со гнилым и с приказчиком лихим». Среди песен, содержащих стихийный протест против тяжелого положения, только уральская «Из-за лесу, из-за гор» ¹⁹ (о воставших рабочих, встретивших войска камнями) имеет общий зачин с традиционными песнями — с северной крестьянской песней, но и она далека от своего прототипа по содержанию.

Обстановку на промышленном предприятии, условия труда рабочего, его правовое положение наиболее ярко изображают две сатирические песни: уральская «Всяк де спляшет да не как скоморох» ²⁰ и сибирская «О, се горные работы» ²¹. Возникли они в начале XIX в. Эти песни сильно отличаются по своему поэтическому стилю: уральская песня использует для характеристики условий труда образы-символы, сибирская же, не прибегая к символам, реально изображает труд и быт рабочих алтайского сереброплавильного завода.

Образ рабочего в лирических и сатирических песнях первой половины XIX в. — это преимущественно образ умельца. В песнях рабочих второй половины XIX в. этот образ не удержался, как не удержались и те песни, в которых говорилось о возникновении новых фабрик и заводов. Их вытеснили песни, центральным образ которых — рабочий, недовольный своим тяжелым положением. Эта последняя тема получила дальнейшее развитие в песенном творчестве 1870—1917 гг. В большинстве песен 1870-х гг. раскрывалось действительное положение рабочих (тяжелый труд, нищенская плата, штрафы и т. д.), но были и песни слезливо-сентиментальные, так называемые «фабричные», бытовавшие среди отсталых рабочих. С 1880-х гг. создается ряд песен, в которых условия труда и быта характеризуются с позиций кадровых рабочих. В них отчетливо выражены классовые отношения, непримиримость рабочих и предпринимателей (песни «Мы по собственной охоте были в каторжной работе — в северной тайге» ²², «С утра до ночи в заботе мы на фабрике в работе, чисто как в аду» ²³).

¹⁷ «Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России», вып. II, под ред. Н. Харузина, М., 1890, стр. 21.

¹⁸ Репродукционное отделение Гос. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, шифр F XVII, 69, л. 65.

¹⁹ Архив Географического общества СССР, разр. 29, оп. 1, № 33, песня № 42.

²⁰ Песня обнаружена в рукописи уральского инженера А. Ярцева, относящейся к 1820-м гг. Рукописный отдел ИРЛИ, разр. 39, оп. 7, № 99, стр. 33.

²¹ Сереброплавильный завод на Алтае построен в 1804 г. Песня опубликована в 1865 г. См. «Томские губернские ведомости», 1865, 7 мая (№ 17) и 14 мая (№ 18), часть неофициальная.

²² «Страна изгнания и исчезнувшие люди. Сибирские очерки С. Турбина и старожил», СПб., 1872, стр. 169.

²³ «Воспоминания П. А. Моисеенко. 1873—1923», М., 1924, стр. 34.

Жанровая специфика и характер образов в рабочих песнях второй половины XIX в. значительно изменились; изменились также и их источники. В этот период продолжают создаваться лирические и особенно сатирические песни; новыми жанрами явились песни-баллады и первые гимнические песни, воспринятые авангардом рабочего класса.

Вторая половина XIX в. — период, характеризующийся быстрым развитием капитализма, активным процессом «раскрестьянивания», расчленения деревни и выделения кулачества; но в то же время это и период начала активного рабочего движения, проникновения в Россию первых марксистских произведений, организации первых рабочих союзов, движения крупных организаторов из среды рабочих. Для второй половины XIX в. характерно возникновение песен рабочих ведущих промышленных предприятий. Вырабатывается и новый поэтический стиль рабочей песни — литературный. Поэтические произведения рабочих этой поры связаны и с традиционным народным творчеством²⁴, преимущественно с солдатскими песнями, и особенно с литературными песнями.

В начале 1860-х гг. распространились песни из нелегально изданных песенных сборников²⁵. Написанные на «голоса» известных народных напевов, эти песни быстро завоевали популярность; они исполнялись либо в том виде, в котором были опубликованы, либо, в переделанном и приспособленном к местным условиям. Это песни: «Ах, ты сукин сын, проклятый становой», «Братцы, дружно песню грянем», «Долго нас помещики душили», «Из-за матушки за Волги», «Русскому солдату тяжело служить», «Эх, солдатское житье, горемычное вытье», «Песня крымских солдат», «Ослушная песня. На голос „Марсельезы“». В 1870-е гг. в нелегальной печати²⁶ был опубликован также ряд песен, предназначавшихся для городских рабочих: «Дума ткача», «Доля», «Дума кузнеца», «Барка», «Эй, ребята, собирайтесь поскорей», «Новая песнь»²⁷, «Последнее прости»²⁸. Революционными песнями будущего пролетарского освободительного движения²⁹ называл Г. В. Плеханов новые песни, имея в виду не только песни гимнические или об исторических событиях, но и песни сатирические. О рождении сатирических песен писал и В. В. Берви-Флеровский³⁰.

Во второй половине XIX в. в рабочей среде, как мы уже говорили, родился жанр баллады. Возникновение балладных рабочих песен связывается с Сибирью и в первую очередь с золотодобывающей промышленностью. Наиболее ранняя (1860-е гг.) балладная песня «Как в недавних годах на Карийских промыслах»³¹ рассказывает о трагедии на Карийских золотых приисках, где погибло около пяти тысяч человек. К типу баллад относится и песня о сибирском взяточнике Зыбине³².

²⁴ Так, в стиле плясовой сложена одна из песен Пермской губернии — «Сяду я на буро го быка» (молодая едет на Мурому гору, чтобы поискать «руды серебряной», см. А. И. Соболевский, т. VII, № 102). В стиле хороводной создана песня «Уж как на фабрике у нас есть про всякого запас», записанная писателем И. Ф. Омудевским от ельцинских рабочих. И. Ф. Омудевский указывал, что на ельцинской текстильной фабрике новый самородок-поэт приделал «...еще один куплет к известной лихой песне. Теперь она заканчивалась так: „Нам директор нипочем — согнем его калачом“» (И. Ф. Омудевский, «Шаг за шагом», М., 1957, стр. 287 и 424).

²⁵ «Солдатские песни», Лондон, 1862; «Свободные русские песни», Берн, 1863.
²⁶ «Вольный песенник», вып. I—II, Женева, 1870; «Песенник», Женева, 1873; «Сборник новых песен и стихов», Женева, 1873.

²⁷ Газ. «Вперед. Двухнедельное обозрение», Лондон, 1875, № 12, 19 июня (1 июля), стр. 361—362.

²⁸ Там же, 1876, № 33, 3 (15) мая, стр. 284.

²⁹ О песнях будущего Г. В. Плеханов упоминал в известном предисловии к сборнику «Песни труда» (Женева, 1885); о сатирических песнях он писал в работе «Русский рабочий в революционном движении» (см. Г. В. Плеханов, Соч., Пг., 1923, т. III, стр. 139 и др.).

³⁰ См. В. В. Берви-Флеровский, Положение рабочего класса в России, СПб., 1869, стр. 323—324.

³¹ Газ. «Владивосток», 1893, № № 37, 40, 43, 44.

³² Записана в 1890-х гг. А. А. Александровым. Архив Географического общества СССР, разр. XIII, № 148.

В песенной поэзии второй половины XIX в. рабочий изображается уже как член коллектива промышленного предприятия. Это кадровый рабочий. Он прекрасно понимает и справедливо оценивает свое положение подневольного, зависимого от предпринимателя человека (песни «Только начало зариться, а будилка уже стучится», «Много денег нам сулили, только мало получили — вычет одолел», «Кто на Охте не бывал, тот горя не знает», «Лето красное проходит, зима морозна настает... у фабричных сердце мрет», «Я хочу вам рассказать, как нас стали обирать» и т. д.). В сатирических песнях рабочие прибегают, как в старинных песнях о камаринском мужике, то к иронии и насмешке над собой и своим положением³³, то к резкой обличительной характеристике предпринимателей-хозяев, как в «Барыне» (не случайно напевы «Камаринской» и «Барыни» широко использовались в песнях второй половины XIX в.).

II

В канун и годы Первой русской революции рабочий класс России вышел на арену политической борьбы с самодержавием и буржуазией. Следствием пробуждения пролетариата явились песни освободительной борьбы. Это были исторические песни нового стиля и новых жанров, совсем непохожие ни на песни периода формирования русского рабочего класса, ни тем более на песни стихийных крестьянских восстаний прошлых столетий. Рабочая песня стала активным организатором масс. Она своевременно откликалась на происходившие в России события. Характернейшая черта новой песни — ее современность. В руках опытного агитатора политическая песня становится незаменимым помощником. Эта новая функция освободительной песни в русском революционном рабочем движении и определила в предоктябрьское двадцатилетие специфику песенных жанров и поэтических образов. В период с 1890-х по 1917 г. бытуют следующие жанры, отвечающие функции политических песен в русском революционном рабочем движении: песни обличительные, гимнические, песни об исторических событиях в стране, песни политической каторги и ссылки, сатирические песни и стоящие несколько особо, хотя и связанные по содержанию со всеми другими жанрами, — балладные песни.

Лучшие песни этого периода выражали идеи революционной освободительной борьбы. В них рабочие выступают как коллектив, как самый передовой класс общества. Чаще всего эти песни написаны от 1-го или 3-го лица множественного числа — «мы», «они». Особенно ярко неприимность к угнетателям, вера в победу проявились в гимнических песнях «Смело, товарищи, в ногу», «Вихри враждебные веют над нами» («Варшавянка»), «Нас давит, товарищи, власть капитала» (сибирская песня «Красное знамя»), «Вся наша жизнь — тяжелый труд» («Красное знамя»; «Слезам залит мир безбрежный»), «Мы не чтим золотого кумира» («Марсельеза»). Эта идея выражена и в песнях об исторических событиях: «Мы мирно стояли пред Зимним дворцом», «Низко мы шею сгибали, каторжный труд нас томил», «С наивной верою, с открытою душою мы

³³ С песней «Мы на промыслах живем, ничего не знаем», иронически оценивающей положение рабочих («Бери чаю, бери мыла, хоть не это нужно было... Набирай себе обнов, хоть бросай потом все в ров») перекликается свидетельство о жизни рабочих, опубликованное В. И. Семевским: «Одежда ссыльно-каторжных известна; иногда ее нельзя назвать даже лохмотьями, потому что они довольствуются всем тем браком, который остается вследствие совершенной негодности для какого бы то ни было сбыта, да и на такую одежду полагается срок, который не может выдержать товар самого лучшего качества; из своего же, так называемого жалованья... ни один рабочий ничего купить для себя не в состоянии» (В. И. Семевский, Рабочие на сибирских золотых промыслах, т. 1, СПб., 1898, стр. 313).

шли к тебе, палач самодержавный», «Кто они, безвестные герои, там за крепкою стеной?». Местоимение «они» относилось обычно к борцам за свободу, заключенным в тюрьму, но иногда и к врагам всего трудового народа — самодержавию и буржуазии: «Голодай, чтоб они пировали» («Марсельеза»). Кроме местоимений 1-го и 3-го лица использовались и обращения во 2-м лице единственного и множественного числа. Они встречаются уже в самых ранних гимнических песнях: «Замученный тяжелой неволей, ты раннюю смертью почил» (1876 г.), «Вы жертвою пали в борьбе роковой» (1880-е гг.), в первом партийном гимне русского рабочего класса: «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами» (1898 г.), а также в других революционных песнях об исторических событиях («Погибшие, братья, вам вечный покой», «Вынул ты жребий недалний», «Стреляй солдат, в кого велют») ³⁴. Особый характер обращения содержат сатирические песни: иронически-дружеский — к рабочим («Эх, и прост же ты, рабочий человек») ³⁵, злой и насмешливый — к служителям церкви («Нужка, отче толстопузый, Расскажи, что в церкви врал?»; «Сказка о попе и черте») ³⁶, гневный — к представителям самодержавия («Нагайка, ты нагайка, тобою лишь одной, романовская шайка сильна в стране родной») ³⁷.

Обычно при анализе рабочих песен предоктябрьского периода говорят только о новых образах — образах Свободы, Революции, Красного Знамени, как символа борьбы пролетариата, не раскрывая связи этих новых образов с традиционной крестьянской поэзией. Связь эта — в преемственности демократических и социалистических тенденций в песенном творчестве крестьян и рабочих, в ином восприятии представлений о Родине, как Отечестве трудящихся. Новые представления, выраженные в песнях русского пролетариата, складывались в годы ожесточенной классовой борьбы, когда один день был равен 20 годам ³⁸. Отчизна, защищаемая русской армией от внешнего врага, и отчизна трудящихся, отвоевываемая рабочими, солдатами, матросами от своего внутреннего врага — самодержавия, — таково понимание одного и того же явления в народном песенном творчестве XVIII—XX вв. В крестьянской песне о походах Разина рассказывалось о том, как «Буйну голову срубили с губернатора» за то, что «губернатор... строгонек был» («Ты ведь бил нас, ты губил нас, в ссылку ссылавал» ³⁹). В рабочей песне угроза неминуемой расправы адресовалась уже всему «романовскому роду», царю (хотя его имя и не называлось в песне): «Мы разрушим в конец твой роскошный дворец..., а порфиру твою мы отыдем в бою...». О конечной цели борьбы в крестьянской песне не говорится, в рабочей же она сформулирована предельно ясно: «Свергнем могучей рукою гнет вековой навсегда и водрузим над землею красное знамя труда», «Владыкой мира будет труд», «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право...» и т. д. Новая песня рабочих касается и таких исконных, столь типичных для старой песенной традиции понятий, как сущность морального и этического в поведении человека. Так, если в старинной крестьянской песне солдат рисуется защитником отечества, героем, то в рабочих песнях отразилось и иное отношение к солдату — как к защитнику самодержавия. Песни рассказывают о «храбрых» «лихих семеновцах», расстреливающих своих братьев — рабочих и крестьян, которые выступили против произвола царской власти:

³⁴ Тексты их см. в Рукописном архиве сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77.

³⁵ Газ. «Рабочая мысль», 1900, № 8, приложение.

³⁶ Там же, 1899, № 7.

³⁷ Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77.

³⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 78.

³⁹ «Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Вступительная статья, редакция и примечания А. Н. Лозановой», М.—Л., 1935, стр. 36; см. также другие песни на эту тему, стр. 22, 34 и т. д.

А вы, семеновцы лихие,
Хватило дела палачам,

Они на кладбище возили
Вагоны мертвых по ночам ⁴⁰.

Сурово, но справедливо бросает рабочая песня гневные слова в адрес защитников самодержавия:

Стреляй, солдат, в кого велят...
Забудь отца, родного брата,

Забудь жену свою и мать,
Лишь помни памятку солдата.

В других песнях рабочий предупреждает солдата («Постой-ка, товарищ, опомнися, брат, скорей брось винтовку на землю» или «Зачем ты, товарищ, винтовку свою зарядил?»), усовещивает солдат («Мы работали с вами когда-то, и работать придется опять»). Не случайно немало песен было сложено с одним и тем же постоянно варьирующим образом: «Мы (рабочий и крестьянин, рабочий и солдат. — *П. Ш.*) — братья». Образ этот в сочетании с постоянно сопутствующим ему образом знамени, чаще всего — Красного Знамени или Знамени Труда, как символа «Свободы святой», были типичными для революционных песен предоктябрьского двадцатилетия, когда объединились в борьбе тысячи рабочих, крестьян, солдат, матросов. Рабочая песня сохранила и пронесла через годы суровых испытаний типичные для традиционной народной песни обобщенность и стиль параллелизма, то с прямыми и непосредственным противопоставлением, то с развитием положительного образа: «Волга-мать, река моя родная... несешь плоты, несешь ты пароходы, но не несешь одной, одной свободы», «Погибшие, братья, вам вечный покой, убийцам — навеки проклятье», «Братцы, дружно песню грянем... мы рабочих бить не станем, не враги они для нас», «То не соколы сизокрылые улетели в небо прочь, то ребята, сердцу милые, убежали в эту ночь» (о массовом побеге из тюрьмы), «Очаков-борец за свободу, он честно кровью залит» ⁴¹. Рабочая политическая песня по своему содержанию, характеру образов, языку проста и доходчива. Она как бы продолжает в новых условиях повествовательные, разговорные интонации традиционной песни. Проследим это на двух примерах:

Песня о тяжести царской службы
(публикация 1885 г.)

Ты, служба, ты, служба нужная,
Надоела служба, надокучила...
Всех добрых коней позамучила
Теми-то было походами частыми... ⁴²

Песня об отправке молодца в солдаты
(публикация 1833—1834 гг.)

Уж как вяжут мне, добру молодцу, белы
руки,
Что куют-куют добру молодцу скоры ноги,
Что везут-везут добра молодца в царскую
службу,
Что во ту ль, во ту службу царскую —
во солдаты ⁴³.

*Песня о восстании матросов крейсера
«Очаков» 15/XI — 1905 г.*

Товарищи, трудно нам было
В бою за свободу стоять.
Смотрите, солдатские пули
Уж стали над нами свистать ⁴³.

*Песня-клятва рабочих, сложенная
после 9 января 1905 г.*

Над вашей могилой мы клятву даем,
Святой вашей кровью клянемся,
Что будем бороться с убийцей царем,
Свободы и счастья добьемся ⁴⁵.

В рабочих песнях 1900—1917 гг. наиболее ярко проявились те же черты русского народа, которые своеобразно запечатлелись в крестьянском традиционном песенном искусстве: настойчивость в достижении поставленной цели, высокая оценка трудовой доблести человека, высмеивание тунеядцев, врагов и добродушно-ироническая насмешка над своим бесправным положением, неугасимая вера в победу, острая ненависть к порабителю. Более того, система распространения и фор-

⁴⁰ Из песни петербургских рабочих Путиловского завода о 9 января 1905 г.: «Вот Петербург забастовался, по всем заводам тишина» (Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77).

⁴¹ Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77.

⁴² А. И. Соколовский, т. VI, № 196.

⁴³ Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77.

⁴⁴ А. И. Соколовский, т. VI, № 71.

⁴⁵ Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77.

мы бытования революционных песен рабочих и песен крестьян имеют много общего.

Политические песни русских рабочих тесно связаны с рабочей и крестьянской песенной поэзией других народов России, а также и с поэзией рабочих разных стран. Украинская песня «Шалийте, шалийте, скажени кати» стала первым русским партийным гимном: «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами», и уже в июле 1898 г. в переводе Г. М. Кржижановского попала на петербургский Путиловский завод; польские песни «Варшавянка» и «Красное знамя» заняли ведущее место в песенном творчестве русских рабочих, а французский гимн «Интернационал» (в переводе А. Я. Коца) стал гимном русского пролетариата.

Процесс формирования песенных жанров в период массового рабочего революционного движения стимулировался задачами освободительной борьбы, потребностями рабочего класса в песнях в то время, когда партия развернула в широких масштабах агитационно-пропагандистскую работу по воспитанию масс. Впервые как самостоятельный жанр сложилась обличительная песня. Созданные во второй половине XIX в. песни о заводчиках, шахтовладельцах, владельцах золотых промыслов приобрели новое звучание в предоктябрьское двадцатилетие и были взяты на вооружение рабочего класса. Они стали (и в этом их существенное отличие от песен XIX в.) песнями уже оформившегося для борьбы русского рабочего класса и раскрывали значительно шире, реалистичнее, чем песни XIX в., положение рабочих. В этот период в среде передовой части рабочего класса зазвучали обличительные песни, заключительная часть которых содержала угрозу самодержавию: «Но страшись грозный царь... Только пепел оставим от трона». Песни клеймили самодержавие в целом, буржуазию, будили сознание рабочих. Броскости обличения способствовали повествовательности изложения, удачно подобранные напевы. Так, песню «Сказка о попе и черте», имевшую очень широкое распространение с конца 1890-х гг., пели на мотивы «Мой костер в тумане светит», «Из-за острова на стрежень», «Мимо сада городского», а иногда «на голос» новой песни о Разине «Точно море в час прибоя». Многие обличительные песни, как и песни второй половины XIX в., использовали такие популярные напевы, как «Барыня» и «Камаринская».

Основным же песенным жанром периода массового рабочего революционного движения были песни-гимны. Широчайшее распространение в канун и годы Первой русской революции приобрели двенадцать гимнических песен, сложенных на протяжении сорока лет (1861—1905 гг.). Примечательно, что само место создания гимнов было необычным: нередко гимны, как и другие революционные песни, сложились в тюрьме, на каторге, в ссылке, на этапе, некоторые — в эмиграции. Пять гимнов возникли в период, предшествовавший массовому рабочему революционному движению: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою» (1861 г.⁴⁶, Петропавловская крепость), «Дубинушка» (1865 г.), «Отречемся от старого мира» (1876 г., Лондон), «Последнее прости» (1876 г.), «Похоронный марш» (1880-е гг.). Семь гимнов непосредственно связаны с периодом массового рабочего движения: «Варшавянка» (1897 г., московская Бутырская тюрьма), «Смело, товарищи, в ногу» (1897 г., одиночная камера московской Таганской тюрьмы), «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами» (1897—1898 гг., московская Бутырская тюрьма и Минусинская ссылка), «Слезам залит мир без-

⁴⁶ К сожалению, прямых данных о принадлежности стихотворения «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою» перу М. Л. Михайлова не сохранилось. Из «Записок» самого Михайлова известно, что в ответ на кровавое столкновение студентов с полицией 12 октября 1861 г. он 14 октября 1861 г. написал стихотворение с припевом (см. Н. В. Шелгунова, М. Л. Михайлов, Воспоминания, т. II, М., 1967, стр. 311).

«Брежний» (1900 г., Женева), «Нас давит, товарищи, власть капитала» (1901 г., Сибирь), «Интернационал» (1902 г., Женева), «На баррикады» (1905 г., Польша).

Известно, что мелодика ряда русских гимнических песен повторяет в значительной степени мелодику своих первоисточников — европейских революционных песен. Тексты же некоторых песен являются переводами европейских революционных песен. Эти песни, интернациональные по своему содержанию, выражавшие идею грядущей революции, были настолько созвучны настроениям русских рабочих, что воспринимались ими как свои, русские песни. Соединение интернационального и национального звучит в тексте «песни песней» — «Интернационале», в огненных словах «Варшавянки», в призыве, завершающем гимн «Красное знамя». Особенно ярко задачи многонационального рабочего движения в России раскрывались в «Марсельезе»: «Не довольно ли вечного горя? Встанем, братья, повсюду зараз, от Днепра и до Белого моря, и Поволжье, и дальний Кавказ», что и определило ее широчайшее распространение в России. В гимнических песнях, как и в песнях об исторических событиях, проявилось мировоззрение русского рабочего класса, которое свидетельствовало о «всемирно-исторической роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества»⁴⁷. Гимнические песни русских рабочих говорили вместе с тем о непокоримой силе освободительного движения, они являлись высшим проявлением интернационализма. Это были песни периода «суровой борьбы общественных классов»⁴⁸, борьбы жестокой, но справедливой, которую рабочие разных наций вели против богачей и эксплуататоров.

Более многочисленны, по сравнению с гимническими песнями, песни об исторических событиях 1905—1917 гг., особенно о Первой русской революции. Если гимнические песни как бы канонизировались в процессе распространения и не изменяли своего содержания на протяжении многих лет (несмотря на наличие вариантов), то популярность каждой песни об исторических событиях определялась обычно актуальностью изображаемого в ней выступления рабочих, солдат, матросов. Появление новой песни в какой-то мере притупляло интерес к прежней, делало ее менее значимой. События 9 января 1905 г., вызвавшие широчайший поэтический отклик, были несколько оттеснены майскими песнями и песнями о восстании матросов броненосца «Потемкин» (15 июня 1905 г.). В эти годы возникали одна за другой и сатирические песни, обличающие самодержавие, генерал-губернаторов Трепова и Дубасова, незадачливых командиров русско-японской войны. Рождались песни о героизме восставших матросов крейсера «Очаков» (15 ноября 1905 года), о казни П. П. Шмидта, о московском вооруженном восстании, о восстаниях матросов Ревеля и Кронштадта, о ленском расстреле и т. д. Новые события вызывали и новые песни, слагавшиеся то «на голоса» гимнических или иных, популярных в народе песен (если речь шла о героизме выступавших), то на напевы мещанских песен (сатирические песни). Некоторые песни об исторических событиях той поры не успевали получить широкого распространения, оставаясь чаще всего в кругу промышленных предприятий, с которыми было связано изображаемое событие.

Песни каторги и ссылки в годы массового рабочего революционного движения распространялись, как и гимнические, вместе с частью песенного репертуара XIX в. Лейтмотивом песен XIX в., как и песен более поздней поры, была негасимая вера в свободу. Именно этим объясняется тот факт, что в годы массового рабочего революционного движения в рабочей среде распространялись и пушкинский «Узник», и огаревский «Арестант», и «Колодники» А. Толстого, и «В дороге» А. Ар-

⁴⁷ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 48.

⁴⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 1, стр. 408.

хангельского. Большую популярность среди рабочих завоевала песня «Прощай веселая Мурзинка, прощай Рыбачье село» (о первом вооруженном столкновении рабочих Обуховского завода с войсками в 1901 г.), «Солнце всходит и заходит», песня выслаемых за политическую деятельность («По Курско-Московской железной дороге»), песня узников Литовского замка в Петербурге («На углу на Офицерской стоит большой, огромный дом») ⁴⁹. Характерно, что репертуар песен политической каторги и ссылки никогда не смешивался с песенным творчеством уголовного мира. Нельзя сказать, чтобы рабочие не знали тюремных песен уголовников, но не эти песни были нужны пролетариату в трудной борьбе с самодержавием.

Сатирические песни, созданные в годы массового рабочего революционного движения, выполняли ту же функцию, что и гимнические песни. Это были два наиболее популярных жанра. Сатирические и гимнические песни звучали во время любого массового выступления рабочих.

В сатирической песенной поэзии наметились четыре основных группы песен: песни о самодержавии; о буржуазии; о полиции и жандармах; о духовенстве (наиболее многочислен репертуар песен о самодержавии и духовенстве).

Впервые в народном творчестве появились резко обличительные песни по адресу самодержавия. Предметом осмеяния были самодержавие в целом, император Николай II, приближенные царя, военачальники. Имя царя Николая II в песнях как бы символизировало феодально-крепостническую Россию, бесправие и угнетение народа. Рабочая сатира имела гораздо более далекий прицел, чем робкая «сатира» либеральной буржуазии, звучавшая в журналах тех лет. Цикл рабочих песен о самодержавии обширен и разносторонен. Обличение достигается использованием насмешливых оценок, афористической народной речи, уменьшительных имен. Почти в каждой песне говорится и о той силе, которая подавляет, уничтожает всякую свободомыслящую личность. В поле зрения оказывается находящийся в привилегированном положении «славный семеновский полк», Куропаткин, который, «удирая от японки, растерял свои иконки», «прославивший» себя приказом «патронов не жалеть» генерал Трепов, подавлявший московское вооруженное восстание Дубасов и многие другие. Лица, которых осмеивает песня, реальные, типичны. Их деятельность изображается зло-иронически.

Сатирические песни о буржуазии появились еще в XIX в. Но всеобщее распространение и исключительное звучание получила только одна — песня о Савве Морозове. Этот собирательный образ капиталиста оказался наиболее устойчивым. Из сатирических песен очень популярным стал антирелигиозный цикл: церковный причт, называвшийся в народе «жеребьячей породой», издавна был предметом самого жестокого осмеяния. Годы массового рабочего революционного движения внесли существенные изменения как в восприятие «антипоповской» песенной поэзии, так и в существо антирелигиозного творчества. Фигура священника-сластолюбца, жадного обманщика сохранилась в народной поэзии 1890—1917 гг., новым же явилось представление о священнике, как защитнике интересов правящих классов. Обличение священника — слуги самодержавия стало существенной чертой каждой антирелигиозной песни этого периода. Распространенные с 1890-х гг. семинарские антипоповские песни, создававшиеся в стиле церковных песнопений, в начале 1900-х гг. сменились новыми антирелигиозными песнями. Деятельность священнослужителей изображается и во многих исторических песнях 1905—1907 гг. Так, в популярной песне о 9 января («Мы мирно стояли пред Зимним дворцом») дается образ Гапова, под руководством которого рабочие шли ко дворцу. Тот же образ священника, но уже в сатирическом изображении, есть в песне пу-

⁴⁹ Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 77.

тиловских рабочих «9 января» («Вот Петербург забастовался»). Картина расстрела рабочих Нарвской заставы предваряется гневной характеристикой Гапона:

Священник — первый друг народа,
Он, удирая, прокричал:

«Вперед, друзья, вас ждет свобода»,
Сказал «Прощайте» и удрал.

В цикле «Молитв»-пародий служители церкви изображены как ярые сторонники самодержавия.

Из балладных песен предреволюционной поры нам известно пять: три из них связаны с событиями 9 января («Мы мирно стояли перед Зимним дворцом», «Отец был набожный старик», «На десятой версте от столицы невысокий насыпан курган»), одна — с волнениями среди солдат, вынужденных подавлять рабочее движение в стране («Вынул ты жребий недальный, смеряли, крикнули „Гож“») и одна — антирелигиозная баллада о служителях церкви («В церкви золотом залитой»). Судьба этих баллад различна: песня «Мы мирно стояли перед Зимним дворцом» бытовала в очень сокращенном певческом варианте; баллада «Отец был набожный старик» почти забыта; остальные три широко распространялись в певческой практике.

Какова же судьба песенной поэзии русского рабочего класса? Собиравшиеся на протяжении XVIII—XX вв. фольклористами и просто любителями поэзии, песни сохранились в большом количестве в рукописях исследователей и собирателей. Следует отметить, что обильные материалы были обнаружены в архиве жандармского управления царской России, так как рукописи песен и нелегально изданные тексты их отбирались во время арестов у участников освободительного движения. Немало записей, полученных уже в наше время от революционеров-профессионалов, опубликовано. Лучшая часть песенного творчества рабочих распространилась и после Октября. Песни-гимны, песни об исторических событиях, некоторые песни каторги и ссылки, сатирические песни часто исполнялись во время демонстраций, на вечерах воспоминаний старых большевиков, вошли в репертуар хоровых коллективов страны. В настоящее время лучшие образцы революционных песен продолжают жить в народе, они распространяются через печатные издания, их популяризируют хоровые коллективы.

Песни русского рабочего класса вошли в золотой фонд народной песенной классики трудящихся Советского Союза. На песнях революции воспиталось не одно поколение наших поэтов-песенников. Из всех жанров песенного творчества наибольшее воздействие на советских поэтов и композиторов оказали гимнические песни и песни об исторических событиях, послужив образцом в создании новых песен советской эпохи.

SUMMARY

The paper traces the history of song composition by Russian factory workers in the XVIII—XX centuries. The author comes to the conclusion that the early songs of this period were still closely linked with their primary source — peasant lyrical and satirical songs. In the second half of the XIX century workers' songs as such became more distinctly crystallized. Working men's compositions were supplemented by the literary work of revolutionaries.

New historical songs of the Russian working class were born in the course of the mass revolutionary movement of the end of the XIX and beginning of the XX century. Political songs served as active organizers of the masses. Correspondingly, a few genres were dominant: historical, hymnic, accusatory and satirical songs; songs of political penal servitude and exile; ballads (these last were less prevalent). Workers' songs of the 1890—1917 period created new images (those of Revolution, of the Red Banner, of Liberty) but did not break with the traditional century-old peasant poetry. A characteristic feature of this period's songs is their international character: Russian workers having taken up many songs of the West-European proletariat retained them during years of struggle and returned them in a new Russian version to the international working class movement.

Г. В. Жирнова

РУССКИЙ ГОРОДСКОЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

С 1964 г. сектор восточнославянской этнографии Института этнографии АН СССР начал проводить систематическое исследование культуры и быта городского населения в прошлом (середина XIX — начало XX в.) и в настоящем. В программу этих исследований входит вся область духовной культуры и социальных отношений и, в частности, изучение городского свадебного обряда как одной из интереснейших сторон народного быта.

К сожалению, свадебный обряд русского городского населения до сих пор почти не привлекал к себе внимания этнографов. В научной литературе нет не только ни одного специального исследования о городской свадьбе, но отсутствует даже сколько-нибудь полное описание ее, если не считать отдельных кратких упоминаний, встречающихся в различного рода дореволюционных изданиях. Между тем тщательное и всестороннее изучение свадебных обычаев и обрядов городского населения представляется необходимым как для выявления специфических черт городского бытового уклада, так и для правильного и более полного представления о национальных особенностях культуры и быта народа в целом.

Городская свадьба так же, как и крестьянская, представляет большой интерес с точки зрения общетеоретических вопросов этнографической науки. Эти обряды и обычаи образуют сложный комплекс, многогранно отразивший социально-экономические отношения и религиозные представления народа в различные исторические эпохи, а также быт и семейные отношения.

Уже первые шаги в исследовании городского свадебного цикла, выявление в нем отдельных элементов традиционной свадебной обрядности, определение степени бытования их в различной социальной среде, а также выделение общегородских и локальных особенностей поможет яснее представить этническую принадлежность городского населения, проследить источники его пополнения, а также правильно понять процесс социально-бытовой дифференциации и интеграции в городе в прошлом и настоящем¹. Изучение городского свадебного обряда, начиная с конца XIX — начала XX в., дает возможность правильно понять его современное состояние и пути дальнейшего развития обряда в нашем обществе, что важно с практической стороны в связи с работой, проводимой советскими государственными и общественными организациями по созданию новой свадебной обрядности.

За время стационарного изучения культуры и быта в городах Калуге, Ельце (Липецкой области), Ефремове (Тульской области) и рекогносцировочных работ в г. Новомосковске (Тульской области) собран

¹ Попытка такого рода исследования была сделана В. Ю. Крупянской (см. раздел «Семья и семейный быт» в кн. «Народы Европейской части СССР», т. 1, М., 1964, стр. 473—478).

интересный материал как по дореволюционному городскому свадебному обряду (конца XIX — начала XX в.) с различными локальными и социально-сословными особенностями, так и по современному состоянию свадебного обряда и тем изменениям, которые произошли в нем за годы Советской власти.

Настоящая статья посвящена дореволюционному городскому свадебному обряду конца XIX — начала XX в. К сожалению, нам придется ограничиться в ней лишь обрядовой стороной, не касаясь свадебного фольклора, который значительно слабее представлен в имеющихся экспедиционных материалах. Основные задачи нашей работы сводятся к следующему: 1) сделать общее описание дореволюционного городского свадебного обряда конца XIX — начала XX в.; 2) выделить различные варианты в свадебном обряде, обусловленные классовой и сословной неоднородностью населения капиталистического города; 3) выявить традиционные крестьянские черты в городском свадебном обряде; 4) проследить локальные особенности в свадебном обряде изучаемых городов; 5) попытаться выявить городские традиции и их место в свадебном обряде различных слоев городского населения в изучаемый период.

Городской свадебный цикл конца XIX — начала XX в., так же как и традиционный крестьянский, состоял из трех основных этапов: предсвадебного, свадебного и послесвадебного. Каждый из этих этапов сопровождался определенными обычаями и обрядами, которые бытовали в городах в различных вариантах, что было обусловлено не только локальными особенностями этнической среды отдельных городов, но и сложной социальной структурой населения дореволюционного города.

Материалы, которыми мы располагаем, свидетельствуют о том, что в конце XIX — начале XX в. в Ельце, Ефремове и Калуге браки, как правило, заключались по воле родителей и по сватовству. Можно выделить следующие варианты обряда: 1) сватовство, совершавшееся особыми лицами — свахами-профессионалками; 2) сватовство, производившееся ближайшими родственниками со стороны жениха; 3) сватовство, при котором роль свата играл сам отец жениха. В проведении сватовства, как и всего свадебного обряда, нашла яркое отражение социальная топография дореволюционного города. Так, для центральной части всех перечисленных городов, где в основном расселялись крупные чиновники, купцы, богатые промышленники и зажиточные мещане, наиболее типичным было сватовство с помощью свах-профессионалок. Интересный материал о свахах-профессионалках нам удалось собрать по Калуге и Ельцу, где свахи были известны под различными кличками («Топориха», «Детярный помазок», «Ильинишна», «Гапшина») и составляли как бы целую группу. Внутри этой группы свахи различались по имущественному положению, что определяло и тот сословно-социальный круг, в котором сваха могла показать свое «искусство». Так, в Калуге самой ловкой свахой была Топориха, она сватала исключительно в купеческом сословии. Сваха хорошо знала всех женихов и невест «своего» круга, их брачный возраст, брачные условия, которые ставила та или другая сторона, а также помнила росписи приданого, которое давали за невестой. В росписи приданого перечислялось все, что давали за девушкой, включая движимое и недвижимое имущество². Сваха обычно передавала эту роспись отцу жениха в момент сватовства. Как видно из наших материалов, роспись приданого широко применялась в купеческих и зажиточных чиновничьих семьях. В среде ремесленников, рабочих, мелких торговцев, поденщиков о приданом договаривались чаще всего устно. Это объяснялось в основном преобладающей малограмотностью населения, а также тем, что приданое здесь обычно было гораздо меньших размеров.

² Это нашло отражение и в сюжетах русских лубочных картинок. См. Д. А. Ровинский, Русские народные картинки, СПб., 1900, т. 1, стр. 101—108, рис. 124.

Большие надежды на свах-профессионалок возлагали в подыскании женихов для невест, засидевшихся «в девках», а также в тех случаях, когда семьи особо преследовали меркантильные цели.

В случае, если дело «связывалось», сваха получала вознаграждение. Размеры его зависели от зажиточности семьи, в которой происходило сватовство, но, как правило, оно было не меньше 10 рублей, а в купеческих семьях доходило до 25 рублей. Кроме того, заинтересованная в сватовстве сторона дарила свахе кашемировую шаль, которая со временем приобрела своеобразное символическое знание. Так, об упомянутой «Топорихе» говорили: «К ней пойдешь, не пропадешь, у нее сундук шалей высватан». Чем больше было у свах «высватанных шалей», тем популярнее она была в городе и большим уважением пользовалась среди свах.

На окраине Калуги среди поденщиков, ремесленников, мелких торговцев функция сватовства принадлежала исключительно родственникам жениха по мужской линии. Иногда сватом был отец жениха, реже в этой роли выступал его крестный отец. В Ельце и Ефремове в тех же социальных кругах роль свахи («сватуньки») исполняла старшая женщина из родни жениха. В елецких слободах (Аргамач, Черная, Ламская), население которых хоть и было приписано к мещанскому сословию, но главным образом занималось сельским хозяйством, свата-ла также старшая женщина из родни жениха.

В этих же слободах существовал обычай, широко бытовавший среди крестьян, — во время сватовства садиться непременно под «матку» — матицу, чтобы дело прочнее связалось. Наши материалы свидетельствуют, что независимо от того, в какой социально-сословной группе происходит сватовство, традиционная формула сватовства оставалась одинаковой: «У вас есть товар, а у нас купец, давайте торговаться, у вас есть куничка, а у нас охотник» или «Я к вам пришла не пировать, не столовать, а с добрым делом — со сватаньем. У вас есть невеста, а у меня — жених, станем родство заводить».

В первый день сватовства в случае согласия «начать дело» договаривались о дне «смотрин», которые, как правило, устраивали через неделю после сватовства в доме невесты. Смотрины в различной социально-сословной среде не были одинаковыми — они различались прежде всего по значению, которое придавалось этому событию, затем — по составу участников и, наконец, по процедурной стороне.

Так, в купеческой и зажиточной мещанской среде смотрины распались как бы на две части: знакомство жениха и невесты и торг свахи с отцом невесты.

На смотринах присутствовали обязательно невеста со своими родителями, жених и сваха. Начинались смотрины с чаепития, во время которого как бы происходило знакомство жениха и невесты (нередко случалось, что это было их первое знакомство). После окончания «чаепития» отец невесты и сваха переходили в другую комнату, где совершался «торг». На «торгу» сваха договаривалась с отцом невесты о приданом и особенно о той денежной сумме, которую давали за невестой. В купеческих семьях это была значительная сумма, доходившая до 1000 рублей. Недаром на этот счет существовала поговорка: «Невесту замуж отдать, надо дом продать».

Обо всем, что должна была выторговать сваха, она заранее сговаривалась с отцом жениха. Случалось, что дело расстраивалось, если «респись приданого» и денежная сумма не соответствовала желаниям отца жениха.

На городских окраинах, а также в слободах смотрины проходили несколько иначе, в них сохранялась более традиционная форма, характерная для деревень и сел изучаемого района. Так, в Калуге независимо от того, кто выполняет функции сватовства, на «смотринах» обязательно присутствовали родители обеих сторон. В Ельце и Ефремове на

смотреинах («глядешках»), кроме родителей жениха и невесты, обязательно присутствовали старшая сестра жениха или близкая родственница. Невеста в течение всего вечера была главным действующим лицом, сохраняя, однако, по традиционному обычаю молчание и переодеваясь в лучшие свои платья до трех раз. Соблюдался и обряд испытания невесты. Иногда мать жениха спрашивала: «А ловка ли девка?» — тогда невеста брала веник и делала вид, что метет пол. Если невеста была кружевницей, то, чтобы показать ловкость, перекидывала из руки в руку коклюшки, а затем выносила кружева, сплетенные для венчального полотенца. Вышивальщицы Калуги показывали гостям вышитое венчальное полотенце.

Появление на смотреинах обряда «испытания невесты» можно было бы расценивать как результат перемещения и некоторой трансформации обрядовых действий, вызванных общей тенденцией разрушения свадебного обряда³. Нам же представляется, что существование этого обряда именно на смотреинах во многом определялось специфическими условиями жизни и быта кустарей. Очевидно, проверять профессиональные навыки девушки, ее способности к ремеслу было бесполезным, так как женщина в среде городского пролетариата вынуждена была зарабатывать деньги своим трудом, чтобы подчас кормить не только себя, но и всю семью. С другой стороны, «испытания невесты» как часть обряда знакомства с будущими родственниками в условиях города были важны из-за большей чем в деревне замкнутости и разобщенности населения.

На смотреинах сохранялся традиционный обычай, по которому жених и его родители обязательно выходили в сени или на крыльцо, где «обменивались мнениями о невесте», даже если они хорошо знали ее.

Торг в этом варианте «смотреин» отсутствовал. Зато соблюдались традиционные «невестины дары» для жениха и его ближайших родственников. Для жениха невеста должна была приготовить определенное количество рубашек, две пары белья, брюки, для матери жениха — ткань на платье, для отца жениха — рубашку, остальных родственников одаривала платками. Как правило, все эти вещи невеста покупала в магазинах, а не шила сама, как это было в крестьянской среде⁴.

Договорившись о невестиных дарах, обычно переходили к выпивке, в которой принимали участие все присутствующие на смотреинах, кроме жениха и невесты, — им «не положено было в этот момент и глаз взрослым казать». Интересно также, что вино для выпивки приносил обязательно отец жениха. Последнее встречалось в деревнях и селах изучаемого района.

Обязательными в свадебном цикле был также «сговор», который иногда называли «благословением» или «образованием».

В купеческой и зажиточной мещанской среде в этот день происходило официальное знакомство родителей жениха и невесты, после чего совершался обряд благословения. В купеческих семьях жениха и невесту благословлял, как правило, священник. Он же присутствовал и при отдаче выговоренных за невестой денег, которые передавал отец невесты отцу жениха сразу же после совершения обряда благословения.

У жителей окраины города на «образовании» обязательно присутствовали близкие родственники. Благословляли жениха и невесту родители, после чего происходил традиционный обмен хлебом и солью. В Калуге «образование» обязательно заканчивалось «пропоем» невесты. Иногда «пропой» продолжался и на следующий день, тогда при-

³ В крестьянском свадебном цикле, как известно, существовал обряд «испытания молодой», который фигурировал обычно в послесвадебном этапе.

⁴ Н. И. Гаген-Торн, Свадьба в Салтыковской волости Моршанского уезда Тамбовской губернии, в сб. «Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю». М., 1926, стр. 174—175.

глашали и дальнюю родню. Надо сказать, что «запойны», или «пропой» широко бытовали среди сельского населения Калужской губернии, и в зависимости от зажиточности крестьянской семьи они могли продолжаться в течение двух недель. В елецких же слободах и на окраине Ельца в этот день сразу же после родительского благословения невеста выходила на крыльцо и объявляла парням и девушкам, собравшимся возле ее дома, о своей помолвке⁵. Вечером вся молодежь слободы собиралась у выгона, где парни и девушки играли в «горелки» или в догонялки, а жених угощал всю молодежь пряниками (обязательно медовыми), которые в особых формах пекла мать жениха. Заканчивалось веселье катанием нареченных на лошадях, украшенных бубенцами.

Таким образом, помолвка получала общественную огласку. В то же время жених и невеста помимо родительского благословения получали как бы общественную санкцию на брак, после чего отказаться от брака не могла ни одна из сторон.

Большое значение в городе имело «церковное оглашение»⁶. Совершалось оно обычно недели за две до свадьбы. В церкви по окончании литургии священник объявлял имена желающих вступить в брак. Делалось это для того, чтобы выявить, не существует ли каких-либо помех для брака.

В отличие от крестьянского свадебного цикла девичник для города не был характерен, хотя в некоторых профессиональных группах, очевидно в силу большей связи их с деревней (кружевницы Ельца, вышивальщицы Калуги), традиционный девичник устраивали накануне свадьбы. Для этого подруги невесты нанимали отдельный дом, пекли там сладкие «клубцы» (печенье в виде перевитых одно с другим колец) и угощали парней, а те приносили им баранки и орехи⁷. На девичниках в Калуге была обязательной наряженная елочка, как символ невестиной «красоты». После девичника елочка становилась собственностью жениха, и он уносил ее домой. У елецких же кружевниц «красота» выступает в виде белого полотенца с кружевной прошивкой, которую плела сама невеста. На протяжении всего девичника невеста сидит, покрытая этим полотенцем. После окончания девичника самая близкая подруга невесты дарит это полотенце жениху, говоря при этом: «Была „красота“ наша веселая да игривая, теперь будет ваша, любите ее так же, как мы ее любили, живите с нею так же дружно, как мы жили». Жених брал полотенце, прятал его за пазуху, кланялся и уходил в сопровождении друзей. Таким образом, в этой среде сохранялся обряд с традиционной символической «красотой», широко бытовавший среди крестьянского населения.

В городском свадебном цикле, так же как в крестьянском, важным моментом был перевоз приданого и постели невесты в дом молодых. В социально неоднородной среде дореволюционного города эта часть свадебного обряда сопровождалась у различных групп населения своими обычаями и обрядами, а также отличалась по составу действующих лиц.

Так, в купеческой среде приданое перевозили женщины, которых возглавляла сваха-профессионалка или тетка невесты, предпочтительно старшая сестра матери. Из мужчин к этому делу допускались только

⁵ Такой же обычай существовал в г. Перемышле Калужской губ. и в некоторых городах Орловской губ. Объявление о помолвке встречалось подругами хлопаньем в ладоши и ударами в медный таз. См. Д. К. Зеленин, Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества, Пг., 1915, вып. 2, стр. 585, 956.

⁶ «Оглашение» окончательно было введено указом от 5 августа 1778 г. «О мерах к отвращению незаконных браков». См. А. Савельев, Юридические отношения между супругами по законам и обычаям великорусского народа, Нижний Новгород, 1881, стр. 28—29.

⁷ Такой же обычай существовал в г. Перемышле Калужской губ. См. Д. К. Зеленин, Указ. раб., стр. 585.

«мужики-ломовики», нанятые для переноски тяжелых вещей. Перевозили приданое обязательно на пяти крытых подводах. Этот поезд назывался «постельным». На первой подводе везли икону и самовар, около которого сидел мальчик-«блюдник»⁸ и держал в руках поднос с огромной «головкой» сахара, украшенной лентой, и пачкой чая, завернутой в шелк; на второй подводе везли серебряную солонку, которую держала в руках крестная мать, и фарфоровую посуду; третья подвода предназначалась только для перевозки постели невесты, например: пуховая перина, два атласных одеяла, четыре подушки больших, четыре маленьких, шесть простыней, шесть пододеяльников и т. д. На четвертую укладывали плюшевый ковер и мебель, и, наконец, на пятой повозке ехала тетка невесты, а иногда мать, которая везла «роспись приданого». Там же сидела сваха, державшая в руках живую индюшку, украшенную ленточками и чепчиком.

Встречала приданое мать жениха или его старшая сестра (обязательно замужняя). Той, которая встречала «постельный» поезд, полагалось дарить материю на платье, а сваха вручала и ряженую индюшку. Случалось, что мать жениха принимала приданое строго по росписи, проверяя каждую вещь. Постель, как правило, стелила для молодых тетка или сваха, пряча под перину яйцо (вареное, а иногда деревянное расписное), «чтобы у молодых детки родились».

У населения окраин города, как уже указывалось выше, приданое не достигало больших размеров; часто его без особой торжественности перевозили на одной подводе, а иногда просто переносили на руках. Зато перевоз или перенос постели в дом жениха сопровождался здесь обилием игровых моментов: выкуп постели, пляска свахи с ряженой курицей, пение эротических частушек и другие игры, характерные, кстати сказать, для традиционного крестьянского свадебного цикла. Сохранялись в городском цикле и традиционные названия участников этой церемонии. Так, на окраине Калуги среди лотошников, кузнецов, вышивальщиц постель отвозили женщины — «пировые», на окраине Ельца и Ефремова их называли «приданками», а сваха, возглавлявшая поезд с приданым, называлась «постельной» свахой.

Таковы в основном обычаи и обряды, совершавшиеся на предсвадебном этапе городского свадебного цикла. Что касается дня свадьбы, то, пожалуй, самым важным обрядом, из всех происходящих в этот день, горожане считали венчание, которое, между прочим, в деревенской свадьбе просто терялось среди обилия обрядов, совершавшихся как до, так и после него.

По городскому обычаю, в день венчания жених присылал невесте через сваху или свою тетку шкатулку, в которой лежала фата, восковые цветы, венчальные свечи, белые перчатки, гарнитур гребенок, иголки, булавки и т. п. Очевидно, в купеческой среде, где нормы «домостроя» выполнялись особенно строго, этот обычай бытовал очень давно: еще в XVI в. даже в высших сословиях жених обязательно присылал невесте ларчик, в котором, кроме всего прочего, как символ будущей власти лежала плетка⁹. С этим же, вероятно, связана и важность обряда венчания, второстепенного в деревнях, где прочнее держались древние, быть может еще дохристианские свадебные обряды.

Купцы, крупные чиновники покупали для невесты дорогие резные музыкальные шкатулки, те, кто победнее, — простые деревянные, а в Ельце, на окраинах, шкатулку обычно делал из бересты сам жених. После того как приносили шкатулку, тетка невесты — «снарядиха» начинала одевать невесту к венцу, она же причесывала ее, делая так на-

⁸ Мальчиком-«блюдником» мог быть и младший брат невесты, или ближайший родственник.

⁹ Д. Языков, О старинных свадебных обрядах у русских, «Библиотека для чтения», СПб., 1834, т. 6, стр. 3.

зываемую греческую прическу¹⁰. Сохранялся традиционный обычай, согласно которому невесту обувал обязательно мальчик (брат или ее близкий родственник). В купеческих семьях в туфлю невесты вкладывали золотой. Нами записан интересный обычай, который бытовал в среде елецких кружевниц и вышивальщиц Калуги. Невеста, одеваясь к венцу, в качестве оберега от порчи прикалывала к нижней юбке кусочек своей первой вышивки или обвязывалась вокруг талии тонким поясом первого плетения. Существовал этот обычай и в некоторых городах Орловской губернии, где невесту, собирающуюся к венцу, опоясывали «учебною упряжью», т. е. тем, что она напряла в первый раз. По поверью, считалось, что эта пряжа обладает магической силой охранить, сберечь невесту от порчи (между прочим, этой же пряжью лечились и от головной боли)¹¹.

Во всех социально-сословных городских группах сохранялась традиционная роль дяди при одевании к венцу жениха; дядя вкладывал в правый ботинок или в сапог жениха монету, в купеческих семьях в этот момент он также вручал жениху плетку — знак власти над будущей женой.

Известно, что в крестьянском свадебном цикле большую роль играли обычаи и обряды, связанные с приездом свадебного поезда жениха в дом невесты: преграждение дороги женихову поезду, запираание ворот отцом невесты, продажа ворот, откуп места для жениха около невесты; интересными обычаями сопровождалось и отправление свадебного поезда к венцу: плач подруг невесты, объезд дружкой свадебного поезда и т. д. Невеста и жених ехали к венцу обычно одним свадебным поездом, но на разных подводах. Обычно «дружка» со своими «полудружками» или «поддружками» украшал свадебный поезд цветами и обязательно «колокольцами», чтобы их звон отпугивал «нечистую силу».

По городской же традиции, жених и невеста ехали разными поездами и порознь. Невеста ехала в пролетке в сопровождении свахи или тетки, за ними в коляске ехали девушки «проводятки», вслед за ними шаферы невесты (их могло быть двое и трое). Жених со своими шаферами и друзьями приезжал раньше и ждал невесту около церкви. Шаферами обычно были холостые парни; они держали в церкви венцы над четой. Такой свадебный чин существовал у всех групп городского населения. Наши материалы свидетельствуют, что иногда роль шафероз исполняли девушки, которых называли шаферицами. Некоторые дореволюционные авторы указывают, что в древнерусских свадьбах шаферами даже чаще были девушки¹².

В деревнях и селах шаферов называли «полудружьями», «поддружьями» или «прислужниками», «помощниками» — они были в непосредственном подчинении у дружки, без которого не обходилась ни одна деревенская свадьба. В городе этот свадебный чин встречался лишь на окраинах, чаще всего в свадьбах вышивальщиц и кружевниц (по-видимому, сохранявших более тесную связь с деревней), но он почти не играл своей традиционной роли.

Обряд венчания был пышен и торжествен. Горожане сходились смотреть на него, как на красивое зрелище. Поэтому нередко на венчальную церемонию богатых горожан гости приглашались по специальным пригласительным билетам, что до какой-то степени ограничивало наплыв посторонних в церковь. По городской традиции, если свадьба совершалась весной или осенью, путь молодым от церкви до свадебного поезда устилали цветами, их покупали тут же у цветочниц или у маль-

¹⁰ Волосы поднимались вверх, стягивались на затылке и укладывались жгутом, вокруг которого вкалывали многочисленные гребенки и к которому прикрепляли фату.

¹¹ Д. К. Зеленин, Указ. раб., стр. 956.

¹² Н. И. Остроумов, Свадебные обычаи и обряды в древней Руси, Историко-этнографический очерк, Тула, 1905, стр. 26.

чишек, которые притаскивали к церкви вороха полевых цветов. В купеческих свадьбах для жениха и невесты стелили ковровую дорожку от поезда до церкви.

После венчания все возвращались к свадебному поезду, который к этому времени уже был украшен цветами. Мы не можем пока твердо сказать, существовало ли в городской свадьбе определенное лицо, в обязанности которого входило украшать свадебный поезд¹³. Очевидно, существовало, так как имеющиеся в наших экспедиционных материалах сведения указывают на то, что в конце XIX в. на купеческих свадьбах сохранялся обычай, по которому поезд непременно должна была украшать дальняя родственница со стороны жениха, в то время как у крупных чиновников и других богатых горожан это делал кучер за дополнительную плату. У городской же бедноты поезд украшал дружка (если он фигурировал на свадьбе), но чаще это делали мальчишки той улицы, где жили жених или невеста, за что они могли прийти посмотреть «бал».

Для крестьянского свадебного поезда, согласно обычаю, обязательно брали чужих лошадей, число которых могло быть разным, но непременно нечетным. В городе существовала та же традиция. Даже богачи, имевшие свои конюшни, для свадебного поезда всегда нанимали чужих лошадей.

Свадебный поезд, возвращаясь из церкви, сначала проезжал по центральным улицам, затем объезжал город по кругу и только после этого направлялся в дом, где устраивался «бал» (такое название свадебного веселья бытовало во всех социально-сословных группах городского населения; встречалось также традиционное название «пир», «свадьба»).

Наиболее богатые купцы, мещане и крупные чиновники обычно устраивали «бал» в ресторане. Те же самые социальные группы, но с меньшим достатком, праздновали «бал» дома, а для обслуживания приглашали из ресторана официантов.

На окраине города и в елецких слободах «бал» («пир», «свадьба») происходил обычно в доме жениха, но иногда нанимали отдельную избу. Возвращавшихся из церкви молодых встречали всегда музыкой. В богатых семьях для этого нанимали оркестр, на окраине же города около дома ставили граммофон и заводили пластинки.

Из наших материалов видно, что в городе, как правило, отсутствовали обычаи и обряды, характерные для этого момента крестьянской свадьбы,—встречать молодых в вывернутой шубе (шубу обычно надевала мать жениха, реже сваха), осыпать молодых хмелем или зерном, расстелить у входа в дом «потник» или белый холст и т. д.

В елецкой слободе Аргамач в конце XIX в. существовал обычай, по которому после встречи новобрачных свекровь подводила молодую к печке, та дотрагивалась до устья, затем свекровь показывала ей, где лежат ухваты и стоят горшки, а в это время родня обращалась к свекрови с вопросом: «Что своей невестке откажешь?», та отвечала: «За водой ходи, избу мети, а сор из избы наружу не выметай».

Игровым характером этого обычая прикрыт, вероятно, более древний и вполне серьезный обычай — приобщения невестки к домашнему очагу мужа, а также наставления, как надо вести себя в доме свекрови.

На окраине города широко бытовал обычай, по которому молодые во время поздравлений угощали родственников вином и кусочком медового пряника, за что родственники одаривали молодых, складывая на специальный поднос подарки (этот обычай напоминает традиционные крестьянские «дары» или «сыр-дары», характерные для южнорусского сва-

¹³ В крестьянской свадьбе, как известно, поезд украшал дружка или его помощник.

дебного обряда¹⁴. Пряник, от которого молодые отрезали кусочки для родственников, был довольно больших размеров, часто на нем изображалось дерево, птица, сирена, иногда двуглавые животные или солнце.

В елецких слободах во время поздравлений молодые угощали родственников куском каравая, что является специфическим элементом южнорусского свадебного обряда¹⁵.

Во всех городских свадьбах веселье открывалось вальсом молодых, если же молодые не умели танцевать, то они просто под музыку обходили гостей по кругу, после чего начиналось угощение чаем и сладостями.

В богатых домах, как мы говорили выше, гостей обслуживали официанты, в среде же разного рода ремесленников, мелких торговцев, рабочих-поденщиков чаем обносила мать того из молодых, у кого происходил «бал». Столы с закусками и вина обычно стояли в одной комнате, которую в этот день называли «буфетной», а танцевали в другой. Естественно, что на городских окраинах танцы и угощение происходили в одной комнате, просто столы расставляли около стен, освобождая таким образом центр комнаты для танцев.

Если чай с различным вареньем, сдобным печеньем и конфетами был обязательным угощением на свадебном «балу» у всех горожан, то десерт (как правило, он состоял из жареного миндаля, фисташек и фруктов) — элемент свадебного меню купцов, крупных чиновников, зажиточных мещан. Подавали десерт обычно в 12 часов ночи. После чая и десерта подавался ужин. Обычно он начинался около трех часов ночи, и к ужину оставались лишь немногие.

Из традиционных блюд надо отметить жареную птицу (куры, утки, гуси), которая обязательно фигурировала на свадебном ужине у всех горожан, а также ветчину с зеленым горошком, холодец, заливную рыбу. В купеческих семьях на стол всегда подавали жареную индейку, украшенную лентами. Никаких традиционных свадебных хлебов в городе не пекли.

У жителей окраин сохранялся традиционный обычай «битья горшков», которое происходило на второй день свадьбы, а также бытовали некоторые традиционные действия, связанные с публичным оглашением невинности невесты. Так, на окраине Калуги дружка, разбудив молодых, выходил к родственникам с бутылкой вина, к которой был привязан красный цветок¹⁶, если невеста девиственница, или белый, если она таковой не была. В этом случае иногда обмазывали ворота дома невесты дегтем.

У всех социальных групп города существовал в модифицированной форме традиционный обычай ходить на второй день свадьбы в гости к матери молодой с «именным тортом молодых». Торт с именами молодых и их родителей заранее заказывали в кондитерском магазине.

У жителей окраины города ни одна свадьба не обходилась без ряженых. Ряжеными обычно бывали родственники дальнего колена. Они-

¹⁴ Обряд «сыр-дары» в крестьянском свадебном цикле совершался в конце «большого пира», а иногда повторялся и на второй день свадьбы. Например, в д. Сельверстово Малоярославского района Калужской области на стол ставили разрезанный каравай, кувшин браги, большое блюдо и стакан. За столом рассаживались молодые, родители молодого, его крестные отец и мать и вся остальная родня. Дружка подносил молодой стакан браги, та передавала его мужу, он — своему отцу, который говорил: «Как вы, детки, жить будете? Мы со своей старушкой вот как жили», — целовал свою жену, выпивал брагу, закусывал ломтем каравая и клал на блюдо деньги или подарок. Затем молодых одаривала вся остальная родня.

¹⁵ Н. И. Никольский, Происхождение и история белорусской свадебной обрядности, М., 1959, стр. 196—204.

¹⁶ Надо сказать, что в традиционной крестьянской свадьбе красный цвет был признаком свадебного торжества, если невеста оказывалась целомудренной. Иногда ветвь калины, воткнутая у новобрачной за намитку служила призывом ко всеобщему веселью. См., например, В. П. Гайдебуров, Брачные подарки, «Юридический вестник», М., 1891, июль — август, стр. 301.

то и исполняли сценки из семейной и общественной жизни, часто носившие эротический характер. Иногда ряженые отправлялись «потехи ради» на центральные улицы, где их окружали толпы зевак и ребятишек.

Наряжались обычно в одежду противоположного пола или одевались горбунами, медведями; на окраине Ельца и в слободах Аргамач, Ламская, Черная рядились еще и «цыганами». Как правило, свадебное веселье в городе заканчивалось на второй день. Правда, в купеческих и богатых мещанских семьях на следующий день после торжества начиналась так называемая визитная неделя, когда в течение семи дней (а иногда и дольше) родственники молодого приходили с визитами к новобрачным, где их угощали чаем с вареньем нескольких сортов и дорогим печеньем. В купеческих семьях в центре стола обычно лежала головка сахара, украшенная лентами, та самая, которую везли в постельном поезде. Визит длился обычно 2—3 часа; происходило как бы более близкое знакомство с молодой. Открывали «визитную неделю» всегда крестная мать и крестный отец жениха (если оба были живы), которые приходили к молодым в первый день и обязательно приносили дорогие подарки. Остальные родственники приходили в последующие дни, строго соблюдая очередность в зависимости от степени родства.

Из всего сказанного видно, что послесвадебный период в зажиточной городской среде длился гораздо больше, чем среди ремесленного населения. Нам кажется, что в значительной мере это можно объяснить материальным уровнем, позволявшим делать дополнительные затраты как средств, так и времени. Что же касается непосредственно визитной недели, то возникает предположение, что этот обычай был в какой-то мере заимствован купечеством и богатыми мещанами из иной среды, стоявшей на более высокой ступени социальной лестницы старого города. Стремление во всем подражать дворянству, быть «благородными» проявилось, вероятно, и здесь.

* * *

В данной работе мы постарались дать, насколько могли, полную картину свадебного цикла, бытовавшего в конце XIX — начале XX в. в изучаемых нами городах. Собранные материалы позволяют сделать вывод, что свадебные обряды в городе были так же разнообразны и неоднородны, как и среда, в которой они бытовали. Но тем не менее в них довольно четко можно выделить те обычаи и обряды, которые бытовали у всех социально-сословных групп города; их можно рассматривать как общегородские. К ним относятся обычаи дарить «жеңихову шка тулку», устраивать дорогу из цветов от церкви до свадебного поезда, украшать свадебный поезд цветами лишь после венчания, объезжать свадебным поездом город по кругу, встречать молодых музыкой и некоторые другие.

Прослеживается и общая терминология свадебных образов и действий. Так, свадебное веселье называлось не иначе, как «балом», который открывался обязательно «вальсом молодых». Интересно, что и в современном городском свадебном обряде «бал», как традиционное название свадебного веселья, продолжает сохраняться. Торт, который приносили матери молодой, у всех социально-сословных групп назывался «именным тортом молодых». Общим для всех жителей города был и порядок угощения на «балу»; сначала чай и сладкое, затем десерт (правда, на окраине города часто обходились без него) и лишь после этого ужин. Разумеется, в зависимости от социальной среды и достатка эти традиционные угощения устраивались более или менее пышно.

Наряду с общегородскими традициями выделяются также и такие, которые наблюдались лишь на свадьбах определенных групп населения. Вспомним хотя бы «визитные недели» или купеческий «постельный поезд» со строгой регламентацией действующих лиц, определенным

порядком в распределении приданого по подводам и обязательной его описью.

Некоторые обычаи встречаются только в определенных профессиональных группах. Так, обычай проверять во время смотрин способность невесты к ремеслу бытовал лишь в среде вышивальщиц и кружевниц и, как мы уже говорили, объяснялся специфическими условиями быта этих групп населения.

Даже при беглом сопоставлении городского свадебного цикла с сельским циклом этого же района видно, что одни моменты традиционной свадьбы (сватовство, смотрины, сговор) сохранялись в городе независимо от социально-сословной среды, другие (девичник, пропон, битье горшков, хождение ряжеными) встречались лишь у жителей окраины города, особенно в тех группах, которые имели наиболее прочные связи с селом.

Некоторые традиционные моменты, характерные для крестьянской свадьбы,—расплетение косы, заставы, раскрытие невесты, малый стол, баня, отводины, обсыпание хмелем не встречались в городском свадебном цикле. Кроме того, в нем отсутствовали обычаи и обряды, связанные с приготовлением и выпечкой свадебных хлебов («каравая», «курника»), которые занимали важное место в крестьянском свадебном цикле.

Можно выделить и некоторые локальные особенности традиционной свадебной обрядности в изучаемых городах. Например, обычай публичного оглашения девственности невесты и все связанные с этим обряды, бытовавшие на окраине Калуги, отсутствуют в Ельце и Ефремове. В то же время «красную красоту» в Калуге символизирует елочка, а в Ельце — белое полотенце с прошвой.

Если сохранение таких традиционных моментов, как битье горшков и хождение ряжеными, было общим для окраин всех изучаемых городов, то в обычае рядиться «цыганами» мы усматриваем специфику, характерную только для окраин Ельца и заимствованную, видимо, из южных великорусских губерний — Орловской, Курской и Тамбовской, где это было широко распространено¹⁷. Продолжали сохраняться, правда, в незначительной степени, традиционные названия отдельных свадебных чиннов, возникших в различные исторические эпохи и связанных с различными их функциями — «дружко», «сватунка», «свах», «блюдник», «повозник», «приданки», «пировые», «постельная свеха» и т. д.

Незначительно также представлены в городском свадебном цикле обычаи ритуально-магического характера, столь характерные для деревенской свадьбы. Это, очевидно, объясняется тем, что христианские напластования в городском цикле выражены значительно сильнее, чем в традиционном крестьянском, что, в свою очередь, объясняется специфическими условиями жизни городского населения.

Таким образом, как видно из всего сказанного, разрушение традиционной свадебной обрядности, которое ускорялось в городе с его ярко выраженным социально-сословным делением, в то же время сопровождалось возникновением и развитием характерных только для города традиций.

SUMMARY

Urban wedding rituals in the end of XIX and of the XX beginning of centuries are examined. The article is based on the author's field work in 1964—65 in the towns and cities of Central Russia. This is the first attempt to describe the urban wedding, to differentiate ritual variants due to social heterogeneity of the population of capitalist cities, to show its local specific traits and also to trace the presence of elements of the traditional peasant wedding ritual. Urban traditions are also examined with their role in the wedding rituals of various strata of urban population.

¹⁷ Это подтверждается и полевыми материалами Н. И. Лебедевой, собранными ею по этим районам в 1925—1926 гг. и любезно предоставленными нам.

Ю. В. Бромлей, М. С. Кашуба

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЮГОСЛАВИИ

Социалистическая Федеративная Республика Югославия — самое многонациональное государство из всех зарубежных стран Европы. И это, несомненно, придает особый интерес, особую значимость изучению этнических, национальных процессов, происходящих в настоящее время в Югославии. Между тем многие аспекты этих процессов до сих пор фактически не получили достаточного освещения не только в нашей, но и в югославской научной литературе. Таковы в двух словах обстоятельства, которые предопределили выбор темы настоящей статьи. Она основывается на самых различных материалах: данных официальной статистики страны, некоторых анкетных обследованиях, проводившихся югославскими этнографами и демографами, свидетельствах прессы, устных беседах с югославскими гражданами. Значительная часть этих материалов собрана авторами во время научных командировок в Югославию в сентябре и декабре 1967 г.

Совершенно очевидно, что рассмотрение этнических процессов в многонациональной стране невозможно без предварительного ознакомления с ее национальной структурой. Постараемся при этом ограничиться лишь самыми необходимыми сведениями.

В данной связи прежде всего следует иметь в виду, что югославская статистика выделяет две группы народов: одна — югославянские народы, другая — национальные меньшинства, именуемые народностями. К первой группе относятся сербы — 7806 тыс. (42,1%), хорваты — 4294 тыс. (23,2%), словенцы — 1589 тыс. (8,6%), македонцы — 1045 тыс. (5,6%), черногорцы — 514 тыс. (2,8%), так называемые мусульмане — 973 тыс. (5,2%) и югославы, национально не определившиеся, — 317 тыс. (1,7%). Вторую группу составляют албанцы — 914 тыс. (4,9%), венгры — 504 тыс. (2,7%), турки — 182 тыс. (1%), словаки — 86 тыс. (0,5%), болгары — 62 тыс., румыны — 61 тыс., русины — 38 тыс., чехи — 30 тыс., итальянцы — 25 тыс. и др.¹

Как видно из приведенных данных, весьма разнороден не только национальный состав страны, но и численность отдельных народов. Из всех народов, населяющих Югославию, только три (сербы, хорваты и словенцы) насчитывают свыше 1,5 млн. человек, пять народов (македонцы, черногорцы, мусульмане, албанцы, венгры) — от 500 тыс. до 1 млн. чел., югославы, национально не определившиеся, и турки — от 100 тыс. до 500 тыс., остальные — менее 100 тыс.

Федерация югославских народов, созданная в 1945 г., получила чрезвычайно тяжелое наследие в области национальных отношений. Такое наследие прежде всего было связано с тем, что до образования Федерации политическое и экономическое положение отдельных народов страны и их культурный уровень были далеко не одинаковыми. Это

¹ Данные о численности населения приводятся по переписи 1961 г.: «Stanovništvo i domaćinstva. Osnovne strukture prema popisu 1961 god», «Statistički bilten», N 250, Beograd, 1962.

было обусловлено различными историческими судьбами народов Югославии. В течение многих веков, входя в состав Австро-Венгрии и Османской империи, лишённые государственности, они были разделены не только в политическом, но и в религиозном отношении (православие, католицизм, мусульманство). А все это вызывало, в свою очередь, различия в уровне экономики и культуры. Объединение в 1918 г. большинства югославянских народов в рамках единого государства (Королевства сербов, хорватов и словенцев) отнюдь не устранило эти различия, а в некоторых случаях даже углубило их. На протяжении всего периода существования этого государства, именуемого с 1929 г. Югославией, национальный вопрос ни в политическом, ни в экономическом, ни в культурном аспектах решен не был. Равноправными народами этого государства были признаны три народа — сербы, хорваты и словенцы (македонцы и черногорцы были автоматически включены в состав сербов). К тому же правительство вело шовинистическую политику великосербской гегемонии, ущемляя права даже формально признанных равноправными хорватов и словенцев, не говоря уже о национальных меньшинствах. Национальные противоречия в стране еще более усилились в период ее оккупации немецкими и итальянскими фашистами, которые, как и их местные пособники, сознательно разжигали вражду между народами.

Возникшая после освобождения от оккупантов Федеративная Народная Республика Югославия (в 1963 г. она была переименована в Социалистическую Федеративную Республику) состоит, как известно, из шести равноправных социалистических республик: Сербии (в ее составе выделяются два автономных края — Воеводина, Косово и Метохия); Хорватии; Словении; Македонии; Черногории; Боснии и Герцеговины.

Основным критерием при выделении республик служил национальный состав, а также исторические традиции, сложившиеся у населения тех или иных крупных регионов. Во всех республиках Югославии, за исключением Боснии и Герцеговины, преобладающее большинство населения (не менее 70%) составляет один народ, по имени которого и названа республика: в Словении — словенцы, в Черногории — черногорцы и т. д. И только в Боснии и Герцеговине наблюдается иная картина: 42,9% ее населения составляют сербы, 21,7% — хорваты и 25,7% — так называемые мусульмане².

Вопрос о национальном составе и этнических процессах в Боснии и Герцеговине представляет большой интерес. Однако в краткой статье мы не имеем возможности подробно остановиться на характеристике этой чрезвычайно сложной проблемы. Коснемся лишь вопроса о национальной принадлежности проживающих в Боснии славян-мусульман. Прежде в Югославии они именовались босанцами или бошняками, а в нашей литературе были известны под названием «боснийцы» или «босняки». Однако в Федеративной республике наименование «босанац» официально не употребляется, причем его заменяли в разное время различными названиями. Так, во всех трех переписях, которые имели место в послевоенной Югославии, эта группа населения даже называлась по-разному: перепись 1948 г. — «мусульмане неопределенные», 1953 г. — «югославы неопределенные», 1961 г. — «мусульмане» (этническая принадлежность) и югославы, национально не определившиеся (следует отметить, что, хотя к последней группе себя может отнести любой гражданин Югославии, большинство ее представителей — 87% — составляют лица, живущие в Боснии и Герцеговине). Термин «мусульманин» как понятие этнической принадлежности фигурирует не только в переписях, но и в Конституции Социалистической республики Боснии и Герцеговины, где в качестве трех ее основных на-

² «Demografski razvitak nacionalnosti u SR Srbiji», Beograd, 1967, s. 79.

циональностей указаны сербы, мусульмане и хорваты³. Впрочем, как показывают наши беседы и с жителями Боснии, и с жителями других республик, до сих пор в повседневной практике широко бытует старое наименование мусульманского населения Боснии — «босанцы».

Весьма неоднороден национальный состав отдельных республик СФРЮ. Наибольшую пестроту в этническом отношении представляет Сербия, где живет около 3/4 общей численности всех национальных меньшинств. Не случайно именно в этой республике были выделены Автономная область (позднее Автономный край) Косово и Метохия и Автономный край Воеводина.

Одним словом, Социалистическая Федеративная Республика Югославия представляет в этническом отношении сложный конгломерат, своеобразие которого уходит своими корнями в далекое прошлое.

При создании Федеративной республики было провозглашено равенство всех народов Югославии. За два с лишним десятилетия, отделяющие нас от момента образования Федерации, было сделано немало на пути к фактическому равенству народов Югославии как в области экономики, так и культуры. В общей форме эти достижения хорошо известны, а специфика настоящей статьи не позволяет сколько-нибудь подробно остановиться на их характеристике в целом. Поэтому в данной связи ограничимся рассмотрением лишь вопроса о выравнивании экономического уровня народов Югославии. Дело в том, что без рассмотрения этого вопроса трудно уяснить отдельные важные аспекты развития национальных отношений в стране.

С самых первых дней создания Федерации здесь пристальное внимание было обращено на развитие экономики в ранее отсталых областях страны, таких, как Косово и Метохия, Черногория, Босния и Герцеговина. С этой целью была разработана целая система мероприятий. Слаборазвитые области стали получать особые средства из специального инвестиционного фонда для ускоренного развития экономики; кроме того, стала проводиться дифференцированная налоговая политика (например, слаборазвитые области получили льготы по налогу с оборота и т. п.). В результате многие ранее отсталые области страны из аграрных превратились в аграрно-индустриальные. Соответственно изменилась и их социальная структура: увеличился удельный вес несельскохозяйственного населения. Одним словом, несомненно, налицо тенденция выравнивания экономического и социального облика отдельных республик.

Но одновременно наблюдаются и тенденции к усилению дифференциации республик по отдельным экономическим показателям. Как уже указывалось, большую роль в выравнивании экономического, социального и культурного уровня народов Югославии играет инвестиционная политика. Именно благодаря этой политике стал возможен бурный рост экономики и национального дохода в слаборазвитых областях. Например, темпы роста национального дохода в Республике Македонии были почти на 1/3 больше, чем по Югославии в целом⁴. Однако проделанный нами специальный анализ официальных статистических материалов показал, что при этом нельзя ограничиваться лишь сравнением темпов роста национального дохода в отдельных республиках со средними данными по Югославии в целом. Гораздо важнее сопоставить показатели динамики национального дохода в диаметрально противоположных по уровню своего экономического развития республиках. Результаты такого сопоставления представляют несомненный интерес. Выяснилось, что на протяжении многих лет разрыв между подобными показателями не только не сокращался, но даже возрастал.

³ «Устав СР Босне и Херцеговине», Сарајево, 1963.

⁴ М. Младеновић, *Posleratni razvoj privredno nedovoljno razvijenih republika i krajeva*, «Jugoslavenski pregled», god IX, № 2—3, Београд, 1965, с. 11.

Особенно характерны в этом отношении подсчеты, касающиеся Боснии и Герцеговины, с одной стороны, Словении — с другой. В 1947 г. в Боснии и Герцеговине национальный доход на душу населения был в 2,1 раза меньше, чем в Словении, а в 1962 г. — уже в 2,7 раза. Подобная тенденция за те же годы обнаруживается и при сопоставлении данных об изменении размеров национального дохода на душу населения в Черногории и Македонии с соответствующими показателями по Словении⁵.

Естественно, возникает вопрос: почему, несмотря на преимущества в отношении капиталовложений, слаборазвитые республики отставали в темпах роста национального дохода на душу населения от наиболее развитых республик?

В общей форме причины этого, на наш взгляд, могут быть сведены к различиям между экстенсивным и интенсивным способами приложения капиталов. Попросту же говоря, в слаборазвитых в индустриальном отношении регионах капиталовложения, как правило, расходуются на строительство новых предприятий и, следовательно, приносят доход лишь через несколько лет. В промышленно-развитых регионах капиталовложения направляются преимущественно на переоборудование или расширение уже существующих предприятий и, стало быть, сравнительно скоро дают прибыль. К этому следует добавить различия в обеспеченности квалифицированными кадрами, а соответственно и в производительности труда.

Как известно, различие в уровне национального дохода на душу населения влечет за собой и разницу в личных доходах. В Югославии эта разница тем более ощутима и значительна, что здесь в каждой республике существуют свои размеры заработной платы. Характерно, например, что в Словении, где наиболее высокий уровень национального дохода, зарплата имеет наибольшие размеры. Так, в 1966 г. в Словении в сфере обслуживания среднемесячная плата в 1,5 раза превышала соответствующую плату в Черногории⁶.

Указанные тенденции, усиленные в последние годы свертыванием экономических функций государства, не могли, на наш взгляд, не сказаться на развитии национальных отношений в стране. В этом, очевидно, следует искать одну из причин возросшего здесь внимания к национальному вопросу. В данной связи весьма показательными материалы опроса общественного мнения о национальных отношениях в Югославии, проведенного в 1964 г. Белградским институтом общественных наук. Согласно этим материалам, из 2,5 тыс. опрошенных в разных республиках 8% признали межнациональные отношения в стране всего лишь удовлетворительными, а 5,3% — даже плохими⁷. Еще более интересны данные материалов опроса, проведенного в 1965 г. тем же институтом с целью выяснения общественного мнения о причинах оживления шовинизма и национализма. Характерно, что 17,5% опрошенных причину этого видят в неравномерности экономического развития отдельных республик⁸.

В свете всего сказанного, естественно, возникает вопрос: в каком направлении дальнейшее экономическое развитие будет оказывать влияние на национальные отношения в стране? В этой связи нельзя не отметить, что в самые последние годы наметились тенденции к прекращению процесса углубления различий между республиками в уровне национального дохода. Судя по всему, начали сказываться результаты дифференцированной инвестиционной политики прежних лет. Но, вместе с тем, нельзя не учитывать и противоположной тенденции, особенно

⁵ См. «Jugoslavija 1945—1964. Statistički pregled», Beograd, 1965, s. 89.

⁶ «Statistički godišnjak SFRJ», god. XIV. 1967, Beograd, s. 464.

⁷ «Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima», Beograd, 1964, s. 99.

⁸ «Jugoslovensko javno mnenje o aktuelnim političkim i društvenim pitanjima», Beograd, 1965, s. 103.

усилившейся в последнее время в связи с экономической реформой и децентрализацией управления народным хозяйством. В частности, существенно сократились централизованные капиталовложения в менее развитые районы. Более того, как известно, в условиях усиления роли стихийных рыночных отношений, в этих районах стали закрываться отдельные не выдерживающие конкуренции предприятия, увеличилась безработица.

Таким образом, обнаруживается двойственное воздействие экономического развития на национальные отношения в стране. Хотя в экономике и наблюдается интегрирующая тенденция (усиление экономических связей и выравнивание социально-экономической структуры республик), однако на национальные отношения, судя по всему, немалое влияние оказывает та тенденция, которая связана с некоторой, пока что растущей дифференциацией республик по отдельным экономическим показателям.

Определенную двойственность в воздействии экономических факторов на национальные отношения обнаруживают и этнодемографические процессы. Особенно показательны в этом отношении миграционные процессы.

Миграции — не новое явление для югославянского населения. Значительные миграции внутри страны (а также за ее пределы) наблюдались еще в XIX — начале XX в., но после второй мировой войны внутренние миграции заметно усилились, что было обусловлено всем комплексом социально-экономических, политических и культурных преобразований в стране. Так, если в 1931 г. каждый пятый житель Югославии проживал вне места своего рождения, то в 1961 г. это был уже каждый третий житель⁹. В послевоенный период отчетливо прослеживаются два типа внутренних миграций. Один из них — аграрная миграция, другой — миграция, связанная с переходом от сельского хозяйства к несельскохозяйственным занятиям; этот тип условно может быть назван индустриальной миграцией.

К первому типу относится имевшее место в конце 1940 — начале 1950-х годов плановое поселение в Воеводине колонистов на земли, освободившиеся после ухода с них немцев. Сюда переселялись жители из самых разных областей Югославии — Черногории, Боснии, Герцеговины, Сербии, Македонии и т. д. — отовсюду, где ощущался земельный голод. Хотя при расселении колонистов и был принят принцип размещения их компактными группами, но он соблюдался далеко не всегда и пришельцы входили в контакт не только друг с другом, но и с местным населением этого края — сербами, венграми, румынами, словаками и др. Все это не могло не способствовать взаимопроникновению различных культурных традиций и навыков. Как свидетельствуют исследования югославских ученых, пришлое население довольно быстро заимствовало у местного отдельные элементы из сферы материальной культуры и хозяйственной деятельности, так как эти области культуры местного населения нередко были более развитыми и, главное, более приспособленными к местным условиям.

В миграциях же, вызванных переходом к несельскохозяйственным занятиям, в свою очередь, можно выделить два вида. Один из них связан с окончательным разрывом с крестьянским хозяйством; иногда это сопровождается переменой места жительства, причем нередко выезжают даже за пределы республики. Иногда же переход к несельскохозяйственной деятельности не влечет за собой перемены места жительства.

⁹ M. Sentić, Značaj Cvijićevog rada za savremena istraživanja migracije, «Stanovništvo», № 4, Beograd, 1965, с. 243. Следует также иметь в виду, что в современной Югославии значительный процент работоспособного населения выезжает на заработки в капиталистические страны Европы. Однако эта проблема выходит за рамки данной статьи.

В таком случае, как правило, сохраняется земельный участок, обрабатываемый членами семьи, не занятыми в несельскохозяйственных отраслях. В Югославии, особенно в тех ее областях, где высок уровень промышленного развития, более трети рабочих и служащих работают за пределами своего постоянного места жительства. Обычно это не очень далеко и добираются они на работу на велосипедах, автобусах или пригородных поездах. Это так называемые ежедневные маятниковые миграции. Имеют место и еженедельные миграции, когда домой приезжают на выходные дни, а всю неделю живут в городе. Такого рода миграции помогают установлению тесного контакта между городским и сельским населением. В быту таких семей ощущается большее, чем у их односельчан-крестьян, влияние городской культуры.

Второй вид индустриальных миграций — это временная, чаще всего сезонная миграция на производство, транспорт и т. д. людей, основным источником существования которых остается сельское хозяйство. Они обычно используются в качестве неквалифицированных рабочих как на территории своей республики, так и за ее пределами¹⁰. Например, из Западной Боснии, где промышленность еще развита слабо, население нередко уходит на заработки в Словению.

Миграционным движением в большей или меньшей степени охвачены все республики Югославии, причем это движение имеет место как внутри, так и между республиками. В этом отношении достаточно показателен проведенный сербскими демографами анализ национального состава лиц, переселившихся в Сербию. Этот анализ свидетельствует, что более 2/3 таких переселенцев составляют сербы, пришедшие главным образом из Хорватии, Боснии и Герцеговины, хорватов же всего 10%, черногорцев 8% и т. д. Таким образом, в целом в Сербии миграции привели к увеличению удельного веса основного населения республики, что свидетельствует о тенденции к дальнейшей национальной консолидации сербов¹¹.

Судя по данным переписи 1961 г., увеличился удельный вес основной национальности в результате миграций также в Хорватии. Напротив, в Черногории, Македонии и Словении миграционный баланс для лиц основной национальности был отрицательным. При этом в Македонии и Словении одновременно увеличивалась численность неосновных национальностей и тем самым усиливалась пестрота национального состава. В Черногории же миграционный баланс был отрицательным для всех сколько-нибудь многочисленных этнических групп, поэтому миграции не привели к сколько-нибудь существенному изменению национальной структуры республики¹².

Наряду с другими факторами, немаловажное место в современных этнических процессах Югославии занимают смешанные в национальном отношении браки. Вопрос о смешанных браках в Югославии представляет особый интерес. Для исследования таких браков имеются очень ценные статистические материалы, относящиеся как ко всей стране, так и к отдельным ее республикам, начиная с 1951 г.¹³.

Прежде всего следует подчеркнуть, что в этот период число смешанных браков в целом по стране возросло. Так, если в 1956 г. смешанные браки составляли 9% всех браков, то уже в 1963 г. их удельный вес

¹⁰ М. Лутовац, Миграције и колонизације у Југославији у прошлости и садашњости, «Гласник Етнографског Института САНУ», VII, Београд, 1958; М. Барјактаровић, Неке етнолошке законитости код наших најновијих миграција, «Гласник Етнографског музеја на Цетињу», IV, Цетиње, 1964; S. L i v a d a, Prostorna i socijalna pokretljivost seoskog stanovništva, «Ekonomika poijoprivrede», god. XIII, № 12, Beograd, 1966, и др. работы.

¹¹ «Demografski razvitak nacionalnosti u SR Srbiji», s. 229.

¹² Там же.

¹³ Эти данные опубликованы в официальных статистических справочниках «Vitalna statistika» (1951—1955); «Demografska statistika» (с 1956 г. и по настоящее время).

увеличился до 12%¹⁴. Однако эти изменения не одинаково протекали у отдельных национальностей. Например, процент сербов, вступивших в браки с представителями других национальностей, за период с 1951 по 1963 гг. вырос на 3,5%, хорваток — на 4,5%, македонок — на 5,5%, черногорок — на 7,5%. Исключение из этого правила — словенцы, число смешанных браков у которых даже несколько сократилось.

Имеются определенные различия в удельном весе смешанных браков в отдельных республиках. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в большинстве случаев смешанные браки более часто заключаются в тех регионах, где представители неосновной национальности живут дисперсно. Например, в собственно Сербии смешанные браки, заключенные в 1963 г. сербами-мужчинами, составили всего 3,73% от общего числа браков, заключенных сербами; в других же республиках, где сербы составляют меньшинство, наблюдается иная картина; в Хорватии мы имеем соответственно 33,39%, в Македонии — 56%, в Черногории — 57,51% и в Словении — 76,26%. Однако при этом наблюдаются и другие явления. Так, албанцы редко заключают смешанные браки, даже находясь в инонациональной среде, что обусловлено главным образом языковыми и культурно-религиозными различиями. В то же время имеются народы, у которых процент смешанных браков высок и в областях с компактным однонациональным населением. Это характерно, например, для венгров (в 1963 г. из всех их браков в Воеводине, где они живут концентрированными группами, 14% составили смешанные). Таким образом, и в сфере национально-смешанных браков наблюдаются различные тенденции.

Рассматривая современные этнические процессы в Югославии, необходимо хотя бы вскользь затронуть их этнолингвистический аспект. Как известно, многонациональный состав народов Югославии обусловил бытование в стране разных языков. Основная масса населения говорит на различных южнославянских языках: на сербскохорватском, словенском, македонском, причем около 70% населения страны, главным образом сербы, хорваты, черногорцы, жители Боснии и Герцеговины, говорят на сербскохорватском языке. Что касается национальных меньшинств, то они нередко двуязычны, зная, помимо своего родного языка, и язык окружающего их населения.

В буржуазной Югославии угнетенное положение национальных меньшинств сказывалось и на положении их языков. Так, албанцы, турки, болгары не имели ни одной школы с преподаванием на родном языке, не говоря уже об издании газет или книг. Отдельные народы, например венгры, итальянцы, могли учиться в школах на родном языке, но этих школ было недостаточно и, что самое главное, официально эти языки также не были признаны в королевской Югославии.

В социалистической Югославии провозглашено равноправие всех языков, закрепленное как в Конституции Федерации (ст. 42, 43), так и в конституциях республик. И только в югославской народной армии обязательно для всех служебное употребление сербскохорватского языка.

Сразу же после образования Федерации стали открываться различные учебные заведения или отделения в них на языках так называемых национальных меньшинств, издаваться литература, вестись радиопередачи и т. д.

В то же время бывает, что сами представители национальных меньшинств хотят, чтобы в школах преподавание велось на сербскохорватском языке. Так, в с. Беркасово (Срем), где русины составляют около 47% населения, еще недавно в сельской школе велось преподава-

¹⁴ Приведенные здесь и далее цифровые данные, относящиеся к смешанным бракам, вычислены авторами на основе материалов, опубликованных Статистическим управлением Югославии («Vitalna statistika» и «Demografska statistika»).

ние не только на сербскохорватском, но и на русинском языке; однако по желанию родителей преподавание на русинском языке было прекращено; более того, они даже возражали против факультативного преподавания русинского языка¹⁵.

В последнее время усилилось внимание и к вопросу равноправного употребления основных югославянских языков. Например, в 1967 г. в Народной Скупщине Югославии введен обязательный синхронный перевод выступлений на языки основных народов Югославии, так что каждый может выступать на родном языке.

Следует также отметить, что в последние годы (примерно с 1966 г.) отдельные лица пытались искусственно усложнить некоторые лингвистические проблемы. Особую известность в этом отношении получила так называемая «Декларация о названии и положении хорватского литературного языка», опубликованная в одной из загребских газет в начале 1966 г. от имени группы хорватских интеллигентов. В этом документе особо подчеркивалось отличие хорватского литературного языка от сербского. Однако различия между сербами и хорватами в области литературного языка как раз сравнительно невелики. Эти различия значительно меньше, чем скажем, те, что отличают друг от друга отдельные диалекты разговорного сербскохорватского языка на территории Хорватии. «Декларация» отнюдь не была направлена на дальнейшее сближение сербов и хорватов. Не случайно Декларация встретила широкое осуждение в стране.

Вообще в Югославии, особенно в последнее время, к национальным проблемам проявляется большой интерес не только со стороны различных государственных органов, но и широких слоев населения. Эти вопросы часто комментируются в печати, по радио и телевидению. Особенно широко обсуждаются вопросы определения национальной принадлежности. И это не случайно. До недавнего времени национальность фиксировалась во всех личных документах граждан и при заключении различных актов гражданского состояния. Однако в 1963 г. новой Конституцией Югославии было установлено, что граждане Республики не обязаны определять свою национальную принадлежность; они вправе определять ее, исходя только из своего личного желания. В новых паспортах, которые сейчас введены в стране, вообще не указывается национальность. Не фиксируется она и при регистрации большинства актов гражданского состояния. При переписях же каждый гражданин Югославии сам определяет свою национальность, если он того пожелает, а может и вообще этого не делать.

Отсутствие в стране достаточно четких критериев для определения национальной принадлежности подчас приводит к разному в этом отношении. Нередки даже случаи, особенно в Боснии, когда члены одной семьи относят себя к разным национальностям. Так, один житель в Сараеве сообщил нам, что, считая себя в настоящее время по национальной принадлежности мусульманином, он при переписи 1948 г. назвался сербом, хотя и не ощущал себя таковым; его брат, живущий в Пуле (Хорватия), назвался хорватом, а отец — мусульманином неопределенным. Другой информатор, также житель Сараева, рассказал, что во время переписи 1961 г. он назвал себя мусульманином, жена — югославкой, национально не определившейся, а сын — черногорцем (только потому, что он симпатизирует черногорцам).

Известный разнобой можно встретить и при определении национальной принадлежности лиц, рожденных в смешанных браках. Но все же при этом прослеживается определенная тенденция. Как свидетельствуют собранные нами материалы, совершеннолетние югославские гражд-

¹⁵ Материалы Д. Дрлячи, собранные в ходе полевых исследований, проведенных в 1967 г. Этнографическим институтом Сербской Академии наук и искусств (САНУ).

дане, рожденные в смешанных браках, как правило, имеют национальность того из родителей, который принадлежит к основной национальной группе в данной местности. Еще более показательно, что и в настоящее время национальная принадлежность детей, рожденных в смешанных браках, определяется чаще всего на основе тех же критериев. Как свидетельствуют материалы сербских этнографов, исследовавших в 1967 году поселение Остойчев в Воеводине, при регистрации детей, рожденных в смешанных браках, наблюдается следующая картина: если отец поляк, а мать венгерка, то детей считают поляками; если отец поляк, а мать сербка, или отец серб, а мать поляка — дети всегда сербы¹⁶.

Одним словом, перед нами свидетельство того, что в отдельных республиках продолжает существовать тенденция растворения в населении основной национальности представителей проживающих здесь инонациональных групп. Правда, отдельные национальности, особенно неславянские, в этом отношении проявляют значительную стойкость.

Вместе с тем в последнее время в Югославии отчетливо проявляется тенденция к своеобразной интеграции в сфере национального самосознания. Все чаще поднимается вопрос о том, что термин «югославен» (югослав) может обозначать не только гражданство, но и национальную принадлежность жителей Югославии. Такой постановке вопроса немало способствует отмена обязательной фиксации национальности. Гражданство, правда, указывается лишь в заграничных паспортах, но при отсутствии каких-либо документов, фиксирующих национальность, югославское гражданство нередко воспринимается как национальность. За использование термина «югославен» для определения национальной принадлежности наиболее активно выступает молодежь. Например, проведенный в 1967 году в Загребском университете специальный опрос показал, что 70% студентов положительно относится к этому предложению¹⁷. Однако в Югославии довольно много и его противников, ссылающихся на то, что введение этого термина искусственно прервало бы нормальный ход развития наций и народностей Югославии.

Таковы вкратце те некоторые аспекты современных национальных процессов в Югославии, которые нам представлялось целесообразным затронуть, чтобы показать сложность и противоречивость этих процессов.

SUMMARY

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia is the most multi-national of all foreign European countries. This lends a particular interest to the study of current ethnic processes in this country. Some aspects of these processes are discussed, among them — the influence over them of changes occurring in the social-economic life of the various republics. A tendency is noted towards a growing differentiation of the republics according to their national income. This also influences the difference between them as to wage levels.

The article also analyzes the influence over ethno-demographic processes of various other factors such as: a) migrations of population both planned and spontaneous, into different regions of the country; b) mixed marriages (different ratio of mixed marriages among the various nationalities and in the various republics).

The authors also touch upon the problem of bilingualism and upon the principles of determining the national affiliation of the citizens of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the reflection of these principles in official documents (the constitution of the SFRY and those of the various republics, the registration of nationality in population censuses, in passports and other personal documents, birth certificates, etc.).

¹⁶ Материалы Д. Дрлячи.

¹⁷ Boluža, Odgovor bez predrasuda, «Vjesnik u srijedu», № 801, 6 juna 1967, s. 5.

Т. А. Колева

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ОБЫЧАЕВ

(НА БОЛГАРСКОМ МАТЕРИАЛЕ)

Настоящая работа — лишь скромный опыт рассмотрения в самом общем плане обычаев и обрядов как составной части болгарской народной культуры.

Мы, разумеется, не ставим перед собой цели дать развернутую теорию развития обычаев и обрядов, а рассматриваем лишь некоторые вопросы, относящиеся к происхождению, историческому развитию, психологическому и эмоционально-эстетическому содержанию и месту обычаев и обрядов в народной традиции и культурном наследии.

В работе сделана попытка применения структурного метода и теории систем, а также попытка представить обычаи как систему, подчиняющуюся не только общим тенденциям их развития в определенный исторический период, но и внутренним закономерностям самой структуры обычаев и обрядов¹.

Народная культура, одно из сложных и многообразных явлений в культурно-исторической жизни болгар, непрерывно развивается, обогащается и изменяется, сохраняя при этом лучшие образцы народного творческого гения. Она включает в себя разнообразные обычаи, многие из которых сыграли и продолжают играть положительную роль в быту человека. Народные обычаи и обряды — это зеркало, неповторимым образом отражающее духовную сущность болгарского народа, его мироощущение и мировоззрение в разные периоды общественного и культурного развития. Обычаи и обряды своеобразно раскрывают те сложные и глубокие процессы адаптации, интеграции, взаимосвязей и взаимовлияний, происходивших между славянами, фракийцами и протоболгарами, в результате которых формировалась болгарская народная культура; истории ее изучения посвящена большая литература².

¹ Ф. Энгельс, Дialeктика природы, К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20; Б. Дянков, Дифференциация и интеграция на научного познание, «Ново време», София, 1967, кн. 3, стр. 25—35; К. Квасневский, Структурально-статистический метод в исследовании современной народной культуры, «Сов. этнография», 1964, № 3, стр. 110—114; 36. Ясевич, Исследование социальной и культурной интеграции на западных и северных польских землях, «Сов. этнография», 1967, № 6, стр. 67—68; K. Kwaśniewski, Adaptacja i integracja kulturowa ludności Śląska po II wojnie światowej, Opole, 1966, s. 324; J. Burszta, Przegląd i perspektywy badań etnograficznych na Pomorzu Zachodnim, «Lud», 1965, t. XLIX, s. 517—540.

² Н. Мизов, Празниците като обществено явление, София, 1966, стр. 197; В. Бешевлиев, Няколко бележки към българската история, София, 1936, стр. 19—27; Хр. Вакарелски, Старинните елементи в българските народни обичаи, сб. «През вековете», София, 1938, стр. 246—281; П. Чилев, Антични следи в празника Еньовден у балканските народи, «Известия на народния Етнографски музей» (далее ИНЕМ), София, 1921, 1, кн. 3/4, стр. 181—196; М. Арнаудов, Произход и смисъл на българските народни обичаи, «Прелом», София, 1923, 11, стр. 509—517; его же, Буянец. Из историята на пролетните обичаи и песни в България, «Slavia», 1, 1922/1923, стр. 99—119; его же, Тракийският Герман. (Из историята на българските народни обичаи), сб. «Векове», София, 1931, 1, кн. 3, стр. 40—41; Т. Д. Златковская, О происхождении некоторых элементов кукуерского обряда у болгар, «Сов. этнография», 1967, № 3,

История культуры свидетельствует о том, что народные обычаи, обряды и праздники сопутствуют истории всякого народа еще с глубокой древности, что они — плод всей его жизни и творчества.

Обычаи и обряды возникали в первобытности как целенаправленная деятельность человека при низком уровне развития производительных сил и соответствующих им примитивных общественных отношениях, на основе примитивного общественного сознания и примитивной конкретной формы мышления. Эта деятельность была чрезвычайно упрощенной, с самым конкретным предназначением, была направлена исключительно на продолжение рода, обеспечение существования и сохранение жизни. Но с развитием производительных сил, с изменением общественных отношений, с развитием человеческого мышления до уровня способности к абстрагированию и оперированию абстракциями, с обогащением и расширением человеческого знания, с восприятием окружающего мира через призму нового мироощущения, с изменением социально-бытовой и культурно-исторической среды эта каждодневная деятельность становится все более сложной и на ее основе складываются навыки и привычки, позднее превращающиеся в обычаи и обряды. Обычаи становятся обязательными для определенного трудового и общественного коллектива вследствие их объединяющей роли, которую они играют в жизни человека как члена общества. Постепенно они превращаются в систему духовных проявлений народа. Это — закономерный продукт общественного развития, возникновение и историческая неизбежность которого коренится прежде всего в нуждах человека как общественного существа.

Народные обычаи всегда проявляли себя в конкретной среде их носителей и исполнителей и всегда были не абстрактными, а конкретными бытовыми явлениями. Именно поэтому в любую эпоху они имели конкретные функции, связанные со всем народным бытом.

История обычаев показывает постоянное их развитие от простого к сложному, обусловленное множеством факторов, прежде всего определенной ролью обычаев в отдельных сферах жизни человека. В этнической истории болгарского народа взаимная адаптация обычаев и обрядов различных этнических групп была первым этапом продолжительной культурной интеграции этих групп. Интеграция, сопутствовавшая этническому сложению болгарской народности, приводила к тому, что из различных элементов складывались собственно болгарские обряды и обычаи³. Такие процессы могут, однако, совершаться лишь при определенных условиях. Необходимо, чтобы те обычаи или их отдельные элементы, которые интегрируются, были бы аналогичными по своей функции, содержанию и до известной степени по форме, чтобы они соответствовали социально-бытовой и естественно-географической среде и, что самое важное, — мировоззренческому уровню их носителей и исполнителей.

Однако и этого недостаточно. Всякая социально-экономическая эпоха изменяет жизнь народа, но не уничтожает созданных им культурных ценностей, в том числе и духовных. Жизнь всякого поколения протекает в определенных бытовых рамках, в пределах которых возникают новые,

стр. 31—46; Р. Богданов, Джамалски, празник в с. Чаушкьой, «Известия на Варненското археологическо дружество», Варна, 1909, II, стр. 75—76; Г. Кацаров, Народни поверия от древно и ново време, «Сб. в чест на Анастас Иширков», «Известия на географското дружество», София, 1935, I, стр. 191—196; В. Бешевлиев, Гръцки и латински извори за вярата на прабългарите, ИНЕМ, София, 1929, кв. VIII—IX, стр. 149—176; Ив. Дуйчев, Славяно-болгарские древности IX века, «Byzantinoslavica», XI, I, 1950, стр. 6—31; его же, Еще о славяно-болгарских древностях IX века, «Byzantinoslavica», XII, 1951, стр. 75—93.

³ Например, весенний болгарский обычай «Кукеры» связан с фракийским культом Дионисий, а «Коледование» — обычай, в котором интегрированы элементы античного мира.

непосредственно соответствующие им формы, новое поведение, новые навыки и привычки. Вновь возникающие в каждом конкретном случае обычаи и обряды входят в уже сформировавшуюся систему обычаев и также становятся обязательными для членов коллектива. Эти процессы могут быть прослежены во всех обычаях: семейных, трудовых и более всего в праздничной обрядовой системе⁴.

Историческое развитие обычаев сопровождается их селекцией. Она проявляется в отмирании отдельных элементов, вступающих в противоречие с мировоззрением коллектива людей, которые их исполняют. Поэтому было бы неправильно считать, что можно восстановить самую древнюю форму обычая. Правда, отдельные элементы, чаще всего те, которые связаны с магическими представлениями, могут сохраниться как реликты, но никогда не сохраняются обычай или система обычаев в целом, так как они подвержены непрерывному движению и изменению, будучи непосредственно связаны с развитием общества.

В истории обычаев и обрядов наблюдается интересный процесс, выражающийся в свободном, на первый взгляд, наложении нового содержания на старое. Однако этот процесс подчиняется внутренней закономерности, обусловленной динамической связью между отдельными элементами обычаев в их развитии и сменой поколений — носителей этих обычаев.

Пока обычай выполнял свою функцию в хозяйственной, общественной и религиозной жизни людей, пока от его исполнения зависели, по распространенному тогда убеждению, будущее человека, его успехи, урожай, пока он исполнялся большим коллективом людей — он был подвержен изменениям относительно слабо. Когда обычай переставал выполнять свою роль в быту людей, он подвергался более сильным изменениям и постепенно выпадал из системы обычаев⁵.

Одна из характернейших функций обычаев на протяжении их истории заключалась в том, чтобы поставить человека в определенную взаимосвязь с семейным и сельским коллективом, закрепить определенные нормы и правила поведения, представить коллектив как единое целое, дать руководство в трудовой деятельности⁶. Нередко сосуществуют одинаковые по функции, но разные по форме обычаи⁷.

С течением времени обычаи переосмыслиются, что особенно заметно в календарных обычаях и обрядах. Этот процесс можно объяснить тем, что каждое поколение, как носитель нового мировоззрения и вооруженное большими знаниями о природных и общественных явлениях, старается дать обычаям новое объяснение. Первоначальный смысл начинает забываться, и обряды связываются с другими причинами или праздниками, имеющими близкое содержание. Этот процесс затрагивает и все магические действия, благодаря чему они сохраняются и в христианское время⁸.

⁴ М. Арнаудов, Кукери и русалии, «Сб. за народни умотворения и народопис» (далее СБНУ), кн. XXXIV, София, 1920, стр. 345; его же, Очерки по българския фолклор, София, 1934, стр. 695; его же, Студии върху българските обреди и легенди, София, 1924, ч. 1—11, стр. 548; Chr. Wakarelski, Etnografia Bułgarii, Wrocław, 1965, s. 260—308; J. Klimaszewska, Zakazy magiczne związane z rokiem obrzędowym w Polsce, «Etnografia Polska», 1961, kn. IV, s. 109—140.

⁵ J. Klimaszewska, Указ. раб., стр. 110.

⁶ В. И. Чичеров, Зимний период русского земледельческого календаря XVI—XIX веков, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. серия, 1967, т. XI, стр. 10; D. Markowska, Rodzina w środowisku wiejskim, Wrocław, 1964, s. 143—178.

⁷ K. Zawistowiec-Adamska, La région dans la recherche ethnographique, sb. «La Pologne au VII^e congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques», Wrocław, 1964, s. 194—198.

⁸ С. А. Токарев, Сущность и происхождение магии, «Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. серия, 1959, LI, стр. 7—9; K. Moszyński, O źródłach magii i religii, «Przegląd Filozoficzny», 1925, t. 28, s. 239—251.

Один из ярких примеров этого — адаптация христианством языческой обрядности у болгар, что проявляется как в календарных праздниках, так и в семейных обычаях⁹.

Обычно элементы христианского культа исполнялись до известной степени вместе с обычаями дохристианского происхождения. Это наблюдается как в календарных праздниках (Игнатов день, Рождество, Богоявление, Пасха, Георгиев день и др.), так и в семейных — свадебной и погребальной обрядности¹⁰. Христианские элементы не затмили аграрной магической обрядности ни в народном календаре, ни в семейных обычаях.

Важным вопросом исторического развития обычаев и обрядов является их классовое значение. Было бы неправильно искать классовую специфику во всех обычаях. Это приводит в известной степени к односторонности при исследовании обычаев, к неправильному пониманию их общественной роли. Многие из них, возникшие еще в бесклассовом обществе, были обязательными нормами поведения для всех членов общества, хотя впоследствии часть их была поставлена на службу господствующему классу. В классовом обществе в разные исторические эпохи создаются обычаи и обряды с ясно выраженными классовыми чертами¹¹. В ходе исторического развития разные по своему происхождению обычаи смешиваются и образуют единую систему, которая в общих чертах продолжает быть обязательной для всех членов общества.

К этому следует добавить, что в отдельные исторические эпохи, особенно в период турецкого ига, классовые различия и противоречия в болгарском обществе нередко отступали на задний план в интересах общенародного сопротивления иностранным поработителям, и это вело к затуханию классовой сущности ряда обычаев и обрядов. Тысячелетняя история болгар хорошо показывает эту объединяющую функцию обычаев в духовной жизни народа.

Обычаи были одним из важнейших факторов сохранения болгарской народности, национального самосознания болгар. Они своеобразно раскрывают бытовые и духовные особенности народа. Эту особенность народных обычаев и праздников уловил еще в XIX в. Христо Ботев¹².

Положительная роль обычаев и связанных с ними праздников в охране народного быта и народной культуры, в свою очередь, объясняет сохранение их самих, развитие и передачу их от поколения к поколению.

Другой важной стороной обычаев в их историческом развитии является особое значение, которое они имеют в сплочении человеческих коллективов, общественных групп со специфической социально-бытовой окраской. Они ставят человека в определенные взаимоотношения с теми или иными коллективами — родственными, соседскими, сельскими. Это способствует устойчивости самих обычаев, их массовости и обязательности для коллектива. Особенно сильно это проявляется в свадебных и погребальных обычаях, а также и в календарных праздни-

⁹ М. Арnaudов. Българско народно творчество, София, 1962, т. V, стр. 5—14; его же, Очерки по българския фолклор, стр. 486—528; W. Klinger, *Doroczne święta a tradycje grecko-rzymskie*, Kraków, 1931, s. 107—135; S. Poniański, *Mahawrta, Metoda badania genezy wytworów kulturowych w etnologii*, «Lud», Wrocław, 1946, t. XXXVI, s. 119; C. Zibrt, *Staročeske, vyuoční obyčeje*, Praha, 1889, s. 67—89.

¹⁰ М. Я. Грынблат, Некоторая питанні развіццяў духоўнай культуры беларускай народнасці у яе адносінах да хрысціянства, Минск, 1967, стр. 56—57; J. Klimaszewski, Указ. раб., стр. 115—124.

¹¹ Примером в этом отношении может послужить один из свадебных обычаев, заключавшийся в том, что невеста готовила «приданое» (ченз), которое во время свадьбы отвозили в дом к мужу. Еще один обычай, «зестра», возник в капиталистическую эпоху. Суть его состоит в том, что отец невесты дарил своей дочери поле, корову, виноградник.

¹² Хр. Ботев, Стбрани съчинения, София, 1958, т. I, стр. 327—328

ках — Рождество, Новый год, Атанасов день, Трифон Зарезан, Кукеров день, Лазарование, Энев день и др.¹³

Обычаи и обряды отличаются большой устойчивостью во времени, что связано прежде всего с возникновением некоего механизма, или стереотипа, характерного для определенной естественно-географической, социально-бытовой и культурно-исторической среды. Их развитие в пространстве определяется теми же причинами, но рассматриваемыми в другом аспекте, особенно если к этому прибавить характерную взаимосвязь и взаимовлияние с соседними народами.

Важное значение в сохранении обычаев и обрядов как специфических, социально-бытовых и психологических явлений имела и имеет этническая традиция, т. е. длительное сохранение определенных навыков и представлений, созданных в жизни народа в предшествующие периоды его истории¹⁴. Во всех областях быта и культуры данного народа еще с глубокой древности создавалась и создается традиция, массовое повторение обязательных для данного коллектива форм поведения, навыков и понятий, которые могут в определенных границах просуществовать столетия или тысячелетия и которые превратились в психические стереотипы. Из-за длительного повторения и воспитания этих форм поведения, навыков и пр. человеческое мышление и деятельность свыкаются с ними до такой степени, что при малейшей затрате умственной и нервной энергии они быстро и легко воспроизводятся. В этом сложном процессе особое значение имеют две основные стороны общественного сознания — идеологическая и психологическая, благодаря которым данный человеческий коллектив вырабатывает и накапливает специфическую идеологическую и психическую защиту созданных стереотипов.

Люди вырабатывают определенные рациональные и иррациональные убеждения и находят, что эти формы поведения, повторяющиеся навыки и привычки, а также мышление имеют глубокую основу, что они целенаправлены, подкреплены и доказаны вековой практикой и что они отвечают материальным и духовным потребностям человека. Старое поколение, носитель и исполнитель этих стереотипов, в процессе общения с молодым поколением передает свой трудовой опыт и навыки и воспитывает молодежь в усвоении и сохранении стереотипов. Так человек в тысячелетней своей истории создавал традицию, которая лежит в основе народной культуры, обычаев и обрядов.

Усвоение и сохранение традиций молодым поколением осуществлялось как в семейном коллективе, так и в локальной общественной группе несколькими способами: передачей предыдущим поколением народного мировоззрения, знаний, навыков и привычек; вовлечением подрастающего поколения еще с детских лет в трудовой процесс, во время которого передаются трудовые навыки и связанные с ними обрядовые магические действия; силой авторитета старших. В более отдаленном прошлом вследствие сравнительно ограниченных знаний и, отсюда, узкого кругозора, вследствие известной естественно-географической, экономической и культурной изоляции отдельных коллективов освоение созданных ценностей приводило к относительно точному воспроизведению традиционных обычаев и обрядов, с очень незначительными изменениями, не отражавшимися на их содержании, функции и форме. Однако,

¹³ М. Арnaudов, Българско народно творчество, т. V, стр. 16—60; его же, Български народни празници, София, 1943, стр. 24—50; Хр. Вакарелски, Българските празници обичаи, София, 1943, стр. 3—28; П. Динев, Български фолклор, София, 1959, стр. 306—308; П. Петров, Кукури в Пъдарево, Бургаско, СБНУ, София, 1963, кн. XL, стр. 346—368; Т. Д. Златковская, Указ. раб., стр. 31—46; Д. Маринов, Кукури или кукури, ИНЕМ, София, 1907, кн. 1, стр. 21—28; М. Арnaudов, Кукури и русалии, стр. 69—98; J. Hultzinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa, 1967, s. 154—172.

¹⁴ С. А. Токарев, К постановке проблем этногенеза, «Сов. этнография», 1949, № 3, стр. 12—36.

как мы уже говорили, традиция никогда не воспринимается в какой-то застывшей, абстрактной форме, сохранившейся от глубокой древности, а претерпевает определенные изменения в зависимости от степени активности каждого нового поколения в усвоении этой традиции.

Интересно отметить, что молодое поколение воспринимает традицию двояко: активно и пассивно. Активное восприятие связано с известной переоценкой некоторых традиционных элементов, которые противостоят новому мировоззрению и не удовлетворяют новым материальным и духовным потребностям. Пассивное состоит в том, что определенные традиционные элементы, чаще всего связанные с магическими верованиями и обычаями, воспринимаются неизменными.

Эти два способа восприятия не находятся в противоречии с тезисом о том, что обряды и обычаи, с одной стороны, устойчивы, а с другой, — подвержены непрерывному развитию и изменению, определенному отбору, который диктуется отношением младшего поколения к унаследованной от старших культуре. В этом продолжающемся развитии, в этом отмирании и исчезновении старых элементов и возникновении новых можно открыть взаимодействие и закономерность, которая сохраняет единство системы обычаев и их функции.

Динамика процесса сохранения традиционных обычаев и обрядов обуславливается определенной исторической основой, пространственными этническими взаимосвязями и классовой основой¹⁵. Следует также иметь в виду условия быта данной общественной группы, которые изменяются с течением времени в неравномерном темпе.

Исторической основой сохранения традиционных обычаев является непрерывная и закономерная преемственность созданных культурных ценностей, характерная для всякой социально-экономической формации. Передаваемые путем активного общения разных поколений эти ценности оказывают значительное влияние на жизнь народа.

Пространственные взаимосвязи тоже играют роль в сохранении традиций. В связи с проблемой этнических взаимосвязей встает вопрос о пространственном размещении традиционных обычаев, о роли географической среды, о различиях в традициях разных коллективов, сел, этнографических областей. Разумеется, речь идет здесь не о каких-то коренных различиях, в особенности когда носителями традиций являются люди, имеющие одинаковое этническое происхождение. Наблюдения показывают, что у крупных и мелких групп обнаруживаются общие черты традиционных обычаев. Однако продолжительность сохранения традиции и степень их распада и отмирания на этнически однородной территории могут быть неодинаковыми, в зависимости от различий природной, социально-бытовой и культурно-исторической среды. Это приводит к большей или меньшей изоляции данных коллективов и отсюда — к различному их отношению к традиции¹⁶.

Особого внимания заслуживает изучение традиций в этнически пограничных районах. Там их развитие происходит по-разному. В пограничных районах этнически родственных народов в обычаях и обрядах, имеющих общую культурную основу, наблюдается известная диффузия традиционных элементов, которая усиливается, если естественно-географическая и социально-экономическая среда в обоих этнических районах аналогична¹⁷. Подобные явления наблюдаются в западных пограничных

¹⁵ K. Dobrowolski, *Studia nad teorią kultury ludowej*, «Etnografia Polska», 1961, t. IV, s. 16—17, 44—48; «The Evolution and Survival Primitive», Cambridge, 1913, p. 89—93; A. van Gennep, *Manuel de folklor français contemporain*, Paris, 1943, t. I, p. 7—15.

¹⁶ K. Dobrowolski, Указ. раб., стр. 28—38; K. Zawistowicz-Adamska, Указ. раб., стр. 189.

¹⁷ М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров, *Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области*, «Соз. этнография», 1955, № 4.

районах Болгарии и восточных районах Югославии. Создается пояс деформации, где в традиции много общих элементов как по содержанию, функции и форме, так и по структуре¹⁸.

Иначе развивается традиция в пограничных районах с этнически разнородным населением, где у каждого народа наблюдается более продолжительное сохранение традиционных обычаев и обрядов. Здесь также возможна известная диффузия, но в более слабой степени, и незначительная общность терминологии¹⁹.

В этой связи интересно отметить роль миграции в развитии и сохранении традиции этнографически однородных или смешанных коллективов.

Миграция больших групп населения с однородной культурой на новую территорию, коренное население которой является носителем иной традиции,— фактор, способствующий вначале изоляции переселенцев²⁰. Это обуславливает сохранение собственной традиции до того момента, когда начинается активное общение между этими двумя группами населения; такое общение ведет к взаимовлиянию традиций двух групп и к постепенному распаду традиций.

Но когда переселенцы живут не компактно, а разбросанно и составляют лишь незначительную часть местного населения, традиционные обычаи начинают распадаться сравнительно быстро. Этот процесс в известном смысле двойственный: с одной стороны, попав в иную естественно-географическую и бытовую среду, многие традиционные элементы в обычаях отмирают, не замещаясь при этом по содержанию и функции элементами обычаев старожилов, с другой стороны, происходит интегрирование отдельных элементов системы обычаев местной группы, отвечающих новым бытовым условиям пришлого населения²¹. Эта двойственность свидетельствует о непрерывном развитии, изменении и постепенном распаде традиций, что представляет собой характерный этнический процесс²².

Вопрос о традиции как процессе преемственности имеет очень важное значение²³. Поколения, которые входят в жизнь, по-своему переживают и воспринимают культурное наследие. В зависимости от своих новых конкретных материальных и духовных потребностей люди могут изменять интерпретацию традиционных обычаев, не изменяя их содержания, функции и структуры. Но точно таким же образом новое поколение (в силу общей исторической закономерности развития) может отбрасывать некоторые элементы обычаев или даже обычаи в целом, если они вступают в противоречие с новым мировоззрением, накопленными знаниями и опытом. Оно может создать новые культурные ценности, которые не имеют еще характера традиции, но постепенно превращаются в таковые. Вследствие этого традиция в период жизни каждого поколения состоит из целиком унаследованных, переработанных и заново созданных элементов, подчиненных своей внутренней закономерности.

¹⁸ М. Арнаудов, Български народни празници, стр. 24—50; Хр. Вакарелски, Българските празнични обичаи, стр. 3—28; И. Захариев, Кюстендилската котловина, София, 1963, стр. 390—392; П. Костић, Новогодишњи обичаји у Ресави, «Гласник Етнографског музеја у Београду», Београд, 1966, кн. XXVIII—XXIX, стр. 191—218.

¹⁹ Архив на Етнографския институт и музей, инв. № 396—11, стр. 1—9, 62—70, 192—202, 398—417.

²⁰ Т. А. Колева, Към въпроса за интеграцията на семейните обичаи в новообразуваните селища в Благоевградско, «Известия на българското историческо дружество», София, 1967, кн. XX, стр. 129—149.

²¹ J. Pawłowska, Przemiany społeczne i kulturowe w dolnośląskiej wsi Pracze, w powiecie Milickim w latach 1945—1960, «Lud», Wrocław, 1965, t. XLIX, cz. II, s. 517—616, 620—637.

²² Т. А. Колева, Указ. раб., стр. 133, 136, 148.

²³ В. В. Пименов, О некоторых закономерностях в развитии культуры, «Сов. этнография», 1967, 2, стр. 3—14; С. И. Каган, Лекции по марксистско-ленинска естетика, София, 1967, ч. III, стр. 163—165.

В этом и заключается общий закон традиции. Многие традиционные элементы теряют свою устойчивость вместе с уходом старшего поколения из жизни. Одновременно с этим, однако, выделяются доминирующие элементы, которые придают специфическую окраску традициям данного периода. Но появляются и такие элементы, которые вначале не доминируют, однако входят в структуру обычаев и определяют их будущую систему²⁴.

Важным фактором в изменении традиций является характер их передачи. С ограниченной возможностью передачи традиционных обычаев, с созданием новых элементов активным поколением связан и вопрос об унаследовании этих элементов. Не все, что создает активное в данный период времени поколение, входит в культурный резерв следующего поколения. Исчезает то, что имело относительно преходящий характер, что не было объективно воспринято в течение жизни этого поколения какой-то большой группой людей, что не получило отражения в поступках, поведении и мышлении людей, не стало стереотипно повторяющимся элементом. Традиционные обычаи и обряды наследуются тогда, когда стереотипы жизненны, когда они обусловлены в социально-бытовом и в культурно-историческом отношениях. Но нередко наблюдается унаследование и таких традиционных элементов, стереотипы которых уже нарушены и находятся в процессе распада.

Для развития традиций характерны все возрастающие трудности их передачи от старого к молодому поколению вследствие все большего накопления трудового опыта и знаний. Особенно большую роль в этом играет просвещение, дающее молодому поколению гораздо более широкий кругозор, возможность выхода из рамок семейного, родственного и сельского коллектива. Этот процесс особенно усиливается в современную эпоху, когда новое поколение крестьян покидает традиционную социально-бытовую и культурную среду. В результате создаются сложные противоречия между двумя поколениями — старшим и младшим.

Но противоречия существуют и внутри самих поколений, и этим объясняется различное отношение к традиции и разная степень ее восприятия в пределах одного поколения²⁵.

Развитие традиций основано на сосуществовании архаических, более новых и совсем новых форм. В обычаях наблюдается синхронность элементов, которые появились в различные социально-экономические эпохи, но исполняли почти одну и ту же функцию²⁶.

Современное состояние традиционных обычаев — одна из закономерностей исторического развития традиционной народной культуры. Многие из обычаев, противоречащие мировоззрению нового поколения, исчезают из быта. Но известная их часть остается и существует, что обусловлено психическими факторами. В процессе унаследования прежде всего передаются и сохраняются положительные элементы народной традиции, которые получают новую интерпретацию и не противоречат мировоззрению их современных носителей.

Развитие народных обычаев показывает, что не все то, что является в них созидательным началом, существует как самостоятельная ценность. Обычно это позитивное начало находится в диалектическом единстве с некоторыми отрицательными элементами обычаев. Проявление спонтанного интереса народных масс к народной традиции и к обычаям показывает, что они продолжают исполнять одну из основных своих

²⁴ K. Dobrowolski. Указ. раб., стр. 16—19; его же, *Studia nad życiem społecznym*, Wrocław, 1966, s. 111—196.

²⁵ J. Chałasiński. *Młode pokolenie chłopów*. Warszawa, 1938, t. I, s. 182—191; K. Dobrowolski. *Studie nad teorią kultury ludowej*, s. 55—56.

²⁶ Н. Стефанов, Методологические проблемы на структурния анализ, София, 1967, стр. 93—98.

функций, а именно — отражают эмоционально-эстетическое отношение ее носителей к исторической действительности.

Наиболее непосредственную связь обычаи имеют с общественным сознанием. С его идеологической стороны связаны взгляды, убеждения народных масс, а с психической — чувства, настроения, навыки и вкусы, устремления, которые ни в коем случае нельзя недооценивать при рассмотрении обычаев и обрядов. Идеологическая сторона направляет развитие и изменение обычаев, психическая же придает им специфику, эмоциональную насыщенность и богатство колорита. Здесь ярче всего проявляется социальная психология народа, место которой определяется прежде всего значимостью духовных факторов в жизни людей. Чувства, воля людей, их отношение к окружающей среде и природе проявляются в форме нравов, обычаев, традиций.

С эмоционально-психологическими переживаниями носителей обычаев и обрядов связана устойчивость традиций даже в тех случаях, когда они лишены своей естественной социально-природной и идеологической основы.

Между эмоционально-психологическими переживаниями человека и обычаями существует определенная связь и взаимозависимость, которая прослеживается с глубокой древности до настоящего времени. Психические переживания людей придают эмоциональную окраску обычаям, что, в свою очередь, влияет на чувства и настроения людей во время исполнения обрядов. Когда мы говорим об эмоционально-психологической стороне обычаев, не следует забывать, что сознание, воля, чувства — особое отражение материальной действительности²⁷.

В обычаях проявляется и индивидуальная психология. Однако содержание и характер обычаев раскрывают постоянную связь между индивидуальной и социальной психологией в силу того, что отдельный человек всегда живет в конкретной социальной среде. В обычаях проявляется социальная сущность человека²⁸. Поэтому при исследовании обычаев надо всегда учитывать психологию различных социальных групп²⁹. Обычаи, раскрывая психическую основу поведения человека в коллективе, показывают вместе с тем и изменения индивидуальной и социальной психологии в историческом аспекте³⁰.

Психология носителей и исполнителей обычаев определяется в известной степени бытовыми и культурными особенностями различных общественных и этнографических групп³¹. И поэтому психологическое воздействие обычаев на человека неодинаково в этнографических микро- и макрогруппах.

Возрастные различия между членами одного коллектива также отражаются на психологической характеристике обычаев. Переживания старого и молодого поколений отличаются по своей силе и по степени воздействия на окружающих. Эти различия особенно ощутимы в период динамичного распада традиций, т. е. в настоящее время.

В народных обычаях самым непосредственным образом проявляется настроение людей, которое является импульсивно-эмоциональным состоянием личности, целого коллектива³². Коллективное настроение

²⁷ К. А. Уледов, О философской методологии и конкретных методах социально-психического исследования. сб. «Методологические вопросы общественных наук», М., 1966, стр. 59; Н. Мизов, Указ. раб., стр. 37; Б. Ф. Поршнев, Социальная психология и история, М., 1966, стр. 111.

²⁸ Н. Мизов, Указ. раб., стр. 38.

²⁹ Г. Плеханов, Избранные философские произведения, М., 1956, т. II, стр. 171, 247.

³⁰ Б. Ф. Поршнев, Указ. раб., стр. 5—6, 9.

³¹ Ив. Хаджийски, Бит и душевност на нашия народ, София, 1940, 1945, тт. I, II; Б. Ф. Поршнев, Указ. раб., стр. 88.

³² Б. Ф. Поршнев, Указ. раб., стр. 113—114; И. А. Крывелев, К характеристике сущности и значения религиозного поведения, «Сов. этнография», 1967, № 6, стр. 23.

своей импульсивностью, массовостью и динамичностью оказывает при исполнении ритуалов наиболее непосредственное воздействие на людей. Через обычаи человек проявляет свое морально-оценочное и эстетическое отношение к действительности.

Обычаи влияют на две основные сферы чувств людей — элементарные и более высокие — эстетические и нравственные. В далеком прошлом, в первобытном обществе на передний план выдвигались элементарные чувства, которые удовлетворялись при исполнении обрядов. Тогда ярче выступала их непосредственная связь с трудовой деятельностью человека. Чем больше развивается общество и чем богаче становится духовная жизнь людей, тем больше обычаи начинают удовлетворять высшие чувства — эстетические и нравственные³³.

Народные обычаи и обряды своеобразно отражают одну из областей обыденного сознания людей. Так, обрядовое подрезание веток деревьев и виноградных лоз в Трифонов день (14 февраля) раскрывает причинную связь между подрезанием и урожаем. Эта причинная связь известна исполнителю обычая, который передается из поколения в поколение и на практике закрепляет умение правильно подрезать. Однако на уровне обыденного сознания люди не могут еще объяснить, почему подрезание благоприятно отражается на плодородии деревьев и виноградников. Это объяснение можно дать только на основе высшей формы сознания — теоретического мышления, которое не проявляется при исполнении обычаев и обрядов³⁴.

То, что обычаи и обряды связаны преимущественно с обыденным сознанием людей, в значительной степени определяет их характер и их место в историческом развитии общества. Обыденное сознание отражает житейский опыт, мудрость людей и поэтому имеет относительно ясно очерченный, исторический характер и содержание. Отсюда и обычаи носят определенный исторический и этнический характер, что отличает их от обычаев других народов. С обыденным сознанием связана и значительная устойчивость содержания, функции и формы обычаев.

Когда мы говорим об обычаях, то следует иметь в виду то важное обстоятельство, что они образуют системы, которые, как уже было сказано, развиваются по своим внутренним законам. Например, свадебные, похоронные, родильные обычаи образуют отдельные системы, подобную же систему составляют календарные обычаи и обряды, а также трудовые.

Субординация отдельных компонентов обычаев, последовательная связь между ними во время их исполнения, комплексы обрядовых действий, которые могут быть выделены в данной системе обычаев, раскрывают их структуру, т. е. взаимосвязь между их элементами. Структурное изучение и сравнение обычаев позволяет установить сходство и различия, специфику явлений, т. е. типологию обычаев.

Структурный анализ системы обычаев позволяет исследовать их в двух аспектах: синхронном и диахронном. По этому вопросу в науке существуют самые различные мнения и терминологические расхождения³⁵.

Синхронное исследование данной системы обычаев раскрывает их пространственные связи и статическое состояние, раскрывает типологию обычаев, дает возможность построить формальные структурные моде-

³³ Н. Мизов, Указ. раб., стр. 38.

³⁴ Там же, стр. 38—39.

³⁵ В. Н. Садовский, Системы и структуры как специфические предметы современного научного знания, сб. «Проблемы исследования систем и структур», М., 1965, стр. 41—43; Н. Стефанов, Указ. раб., стр. 93—98; его же, Теория и метод в обществознании, София, 1955, стр. 135—155; его же, Социологическая структура и структура социология, «Изв. Ин-та философия», София, 1965, кн. XI, стр. 13—14.

ли³⁶. Диахронное же изучение учитывает развитие и изменение, отмирание одних и возникновение других элементов в определенный исторический период. Оно включает и сравнительный анализ. Диахронное исследование дает возможность раскрыть и возникновение данной структуры и системы.

Благодаря структурному изучению обычаев можно раскрыть функционирование всякой системы, т. е. соответствующие связи и формы поведения, проистекающие из внутренне-структурного содержания всякого обычая³⁷. Структурное рассмотрение обычаев и восприятие их как системы позволяет изучить законы их развития, диалектическую их связь с другими сферами народного быта. То же следует сказать и о более детальном раскрытии особенностей закона традиции, заключающемся в преемственности и обновлении.

Изучение закономерностей развития и изменения народных обычаев и обрядов имеет важное значение для правильного понимания народной культуры.

И сейчас, когда в Болгарии особенно остро встал вопрос об отношении к культурному наследию, к традиции как средству патриотического воспитания, нужно критически изучить обычаи и обряды и положить из них сделать достоянием будущих поколений.

SUMMARY

The author's aim is to examine certain general problems of the evolution of customs and rituals on the base of Bulgarian data. The structural method and system theory as also the historical method of research help to determine the regularities of the genesis and the cultural-historical evolution of customs and their place within the traditions and cultural heritage of a given people. Systems and definite models may be constructed by the aid of structural examination of custom and ritual. By means of model designs, in their turn, the inner regularities of the structure or system itself may be uncovered.

Such investigation of various customs and rituals shows up their connections with other spheres of life of a people or of a smaller ethnographic group; it also throws light upon other no less important aspects — those of the emotional-aesthetic and moral evaluation: these are related to the attitude of the performers and ritual participants themselves.

All this leads us to a definition of the general law of the evolution of traditions considered as a process in which inherited, modified, and newly created elements evolve in dialectical unity.

³⁶ Н. Стефанов, Методологически проблеми на структурния анализ, стр. 97; J. Viet, Les méthodes structuralistes dans les Sciences Sociales, Paris, 1965, pp. 5—8, 233—235.

³⁷ C. Lévi-Strauss, La notion de structure en ethnologie, Paris, 1958, pp. 303—352; Т. А. Колева, По някои въпроси от проблематиката на южно-славянските обичаи при сватба, «Известия на етнографския институт и музей», София, 1967, кн. X.

Ю. А. Мочанов

ДРЕВНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И АЛЯСКИ

(К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МИГРАЦИЯХ
ЧЕЛОВЕКА В АМЕРИКУ)

Среди американистов различных стран почти общепринятым считается, что первые люди пришли в Америку из Азии через области, прилегающие к Берингову проливу. При этом одни ученые считают, что древнейшие миграции в Америку осуществлялись из Восточной Азии, вдоль ее тихоокеанского побережья¹. Другие придерживаются мнения, что заселение Нового Света, хотя и происходило через Азию, но в конечном итоге было связано с миграционными волнами, распространившимися из приледниковых равнин Европы².

В свое время нами была выдвинута гипотеза, что древнейшие культуры Америки, как и верхнепалеолитические культуры Сибири, своими корнями уходят в мустье-леваллуазскую среднепалеолитическую культуру Центральной Азии³. Неоднократно обосновывались и иные точки зрения⁴.

Несмотря на обилие гипотез, ни одна из них не стала общепринятой. Наиболее слабым местом большинства гипотез была недостаточная аргументация конкретными материалами из Северо-Восточной Азии и Аляски — территорий, имеющих наиболее важное значение для решения проблемы заселения Нового Света.

Учитывая подобное положение, Академия наук СССР в последние годы развернула широкие археологические работы в Северо-Восточной Азии. В результате этих работ в Якутии открыто большое количество многослойных стоянок (Белькачи I—20 культурных слоев, Сумнагин I—28 культурных слоев и т. д.), на которых последовательно залегают остатки каменного века VIII—II тысячелетий до н. э.⁵

Важное значение имеют недавно обнаруженные на Алдане палеолитическая стоянка Ихине и Дюктайская палеолитическая пещера. Очень

¹ C. S. Chard, *New World origins: a reappraisal*, «Antiquity», vol. 3, № 129, Cambridge, 1959, pp. 44—49.

² H. Muller-Beck, *Paleohunters in America: origins and diffusion*, «Science», vol. 152, 1966, № 3726.

³ Ю. А. Мочанов, Древнейшие культуры Америки, «Сов. этнография», 1966, № 4.

⁴ G. Bushnell and C. McBurney, *New World origins seen from the Old World*, «Antiquity», vol. 33, № 130, Cambridge, 1959, pp. 93—101; H. H. Wormington, *A survey of early American prehistory*, «American Scientist», vol. 50, № 1, Easton, 1962, pp. 230—242; «Prehistoric man in the New World», ed. J. D. Jennings, E. Norbeck, Chicago, 1964; G. R. Willey, *An introduction to American archaeology*, vol. 1 — «North and Middle America», Englewood Cliffs, 1966.

⁵ Ю. А. Мочанов, Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии, Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. истор. наук, М., 1966.

интересные материалы получены на камчатской многослойной стоянке Ушки, к сожалению, не имеющей четкой стратиграфии⁶.

Опираясь на новые открытия археологов, геологов, палеозоологов и палеоботаников в Якутии, на Чукотке и Камчатке, а также на Американском Севере, предварительно можно выделить три ранних этапа заселения Северо-Восточной Азии и Аляски.

Первый этап (35—22 тыс. лет назад)

Археологические памятники этого этапа в Северо-Восточной Азии и на Аляске остаются почти неизвестными. Правомочность выделения его в основном опирается на новую интерпретацию проблемы первоначального заселения Сибири и Америки.

В Центральной Азии (Монголия, Дунбэй и, очевидно, южная Сибирь — Алтай, Тува, Прибайкалье) в среднем палеолите обитали человеческие группы, имевшие две различные техники изготовления каменных орудий.

Культура первых относилась к варианту леваллуа-мустье с ашельской традицией. Для нее характерны леваллуазская техника раскалывания и широкое употребление двухсторонней обработки орудий. О значительном распространении этой культуры (которую условно можно назвать «среднепалеолитическая культура группы I») по южным районам Северной Азии свидетельствуют, с одной стороны, находки в Северо-Восточном Казахстане, с другой — в Северо-Восточном Китае. В Казахстане замечательные памятники леваллуа-мустьерской культуры с ашельской традицией в большом количестве обнаружены А. Г. Медоевым⁷. Очень важно, что их распространение прослежено вплоть до левобережья Среднего Прииртышья, т. е. практически уже на юго-западе Сибири, в непосредственной близости от Алтая. В свете этих открытий становится понятной и находка двусторонне обработанного клинка в Усть-Канской пещере⁸.

В Северном Китае среднепалеолитическая культура группы I представлена стоянкой Динцунь⁹. На ней обнаружена хорошая серия ручных рубил. Среднепалеолитический возраст стоянки обосновывается полученными в последнее время геологическими данными¹⁰.

Культура другой группы населения Центральной Азии имела леваллуа-мустьерский облик. Условно ее можно назвать «среднепалеолитическая культура группы II». К этой культуре относится большинство древних памятников, обнаруженных А. П. Окладниковым в Монголии¹¹. Ближайшее сходство они имеют со среднепалеолитическими памятниками группы «А» Средней Азии¹². Для среднепалеолитической культуры группы II характерно отсутствие двусторонне обработанных орудий и высокое развитие техники снятия пластин с подпризматических нуклеусов.

⁶ Н. Н. Дяков, Каменный век Камчатки и Чукотки в свете новейших археологических данных, «Труды Северо-Восточного комплексного НИИ», вып. 8, Магадан, 1964.

⁷ А. Г. Медоев, Каменный век Сары-Арка в свете новейших исследований, «Изв. АН КазССР», серия обществ. наук, вып. 6, Алма-Ата, 1964.

⁸ С. И. Руденко, Усть-Канская пещерная палеолитическая стоянка, «Материалы и исследования по археологии СССР», № 79, 1960.

⁹ H. L. M o v i u s. New palaeolithic sites near Ting-Ts'un in the Fen River, Shansi province, North China, «Quaternaria», 3, Roma, 1956.

¹⁰ C h e n T e - K ' u n, Archaeology in China, New light on prehistoric China, vol. I, Toronto, 1966, Supplement.

¹¹ А. П. Окладников, Новое в изучении древнейших культур Монголии, «Сов. этнография», 1962, № 1.

¹² В. А. Р а н о в, Главные вопросы изучения палеолита Средней Азии, сб «Основные проблемы изучения четвертичного периода», М., 1965.

Культуры обеих групп, имея между собой определенное сходство, были резко отличны от «галечных» культур, ареал которых в среднем палеолите в основном простирался к югу от р. Хуанхэ и хр. Куньлунь.

Около 40—35 тыс. лет назад на основе среднепалеолитической культуры группы I складываются верхнепалеолитические культуры, продолжавшие развивать традицию двусторонней обработки орудий. Очевидно, именно к этим культурам относится стоянка «Военный госпиталь».

На основе среднепалеолитической культуры группы II складываются верхнепалеолитические культуры «ориньякоидного» облика, представленные стоянками типа Мальта — Санный Мыс.

Верхнепалеолитические культуры обеих традиций принадлежали охотникам на стадных плейстоценовых животных.

Увеличение населения вынуждало осваивать новые территории. Движение на юг было, очевидно, невозможным из-за относительно большой плотности населения, принадлежавшего к верхнепалеолитическим «галечным» культурам. Это обстоятельство, наряду с северной направленностью миграции «мамонтовой» фауны, определило и северное направление постепенного расселения охотничьих групп обеих культурных традиций. При этом в северо-восточном направлении, в сторону Чукотки, первоначально наиболее интенсивно продвигались потомки среднепалеолитической культуры группы I.

Расселение охотников из Центральной Азии на север шло вслед за «мамонтовой» фауной. К северу от Амура вдоль Охотского побережья и на большей части Камчатки физико-географические условия для обитания этой фауны были крайне неблагоприятные.

Единичные находки костей мамонта, шерстистого носорога, бизона и лося в верхнеплейстоценовых отложениях центральной Камчатки¹³, по всей видимости, свидетельствуют лишь об эпизодическом проникновении небольших групп этих животных из основного ареала их обитания, охватывающего континентальные и прибрежно-арктические районы Северо-Восточной Азии.

35 тыс. лет назад и позже Камчатка соединялась лишь небольшим перешейком с Чукоткой и находилась на значительном расстоянии от Берингии.

В свете последних данных представляется, что по Тихоокеанскому пути «мамонтовая» фауна из Азии на Аляску проникнуть не могла.

В самом начале верхнего палеолита охотничьи племена во многом еще были подчинены сложному движению фауны, которое надо рассматривать как «движение биоцентрически взаимно связанных комплексов организмов»¹⁴. Оторвавшись от этого движения, охотничьи племена должны были бы в корне перестроить свою экономику.

Вся совокупность данных о первых палеоиндейцах свидетельствует, что они были охотниками на крупных стадных животных. Это, наряду с анализом каменной индустрии, подтверждает мысль, что их предки должны были находиться среди тех верхнепалеолитических охотничьих групп, которые вслед за стадами мамонтов, бизонов, лошадей и других животных медленно расселялись из Центральной Азии по перигляциальным степям, тундрам и лесотундрам Якутии. Со временем первые люди проникли из Якутии на Чукотку, а оттуда через Берингский мост на Аляску.

Против распространения верхнепалеолитических племен из Европы по Северной Азии в сторону Аляски свидетельствует существовавший во второй половине плейстоцена палеогеографический барьер между Ев-

¹³ Н. П. Куприна, Стратиграфия четвертичных отложений центральной Камчатской депрессии и некоторые вопросы палеогеографии антропогена Камчатки, «Изв. АН СССР», серия геол., 1966, № 1.

¹⁴ К. К. Флеров, О происхождении фауны Канады в связи с историей Берингии, сб. «Четвертичный период и его история», М., 1965.

ропой и Азией. Он образовался в результате трансгрессий Каспийского моря и продвижения на юг ледников¹⁵.

Сменилось, видимо, много поколений, пока, наконец, отдаленные потомки выходцев из Центральной Азии проникли в область Плато Прерий, где они создали оригинальные палеоиндейские культуры типа Сандиа-Кловис. От своих центральноазиатских предков они унаследовали охотничий уклад хозяйства, резцовую и пластинчатую технику, скребла.

Развивая традицию двухсторонней обработки орудий, присущую некоторым сибирским верхнепалеолитическим группам, палеоиндейцы самостоятельно изобретают наконечники с желобчатыми сколами, что придает их культуре яркое своеобразие.

Около 20—15 тыс. лет назад палеоиндейские культуры предстают уже в довольно развитом виде. Примерно 10 тыс. лет назад отдельные из них достигают Магелланова пролива.

С Аляски на юг предки создателей культур Сандиа-Кловис должны были проникнуть не позже 25—22 тыс. лет назад, так как затем до 11—10 тыс. лет назад путь туда был прегражден сплошным ледяным щитом, протянувшимся от Атлантического до Тихого океана. Южная граница этого щита проходила на востоке до 40° с. ш., а на западе — по 50° с. ш.¹⁶

Учитывая это положение, мы склонны предполагать, что на Аляску человек должен был проникнуть раньше 25—22 тыс. лет назад. Еще раньше человек должен был заселить Северо-Восточную Азию. Скорее всего, первые миграции из Азии в Америку проходили в конце зырянского времени, около 35—30 тыс. лет назад, когда при начавшемся уже сокращении ледников еще довольно широким оставался сухопутный мост в Новый Свет — древняя Берингия. Наиболее интенсивно расселение человека по Северо-Восточной Азии и Аляске должно было происходить 30—22 тыс. лет назад во время Каргинского межледникового при наиболее благоприятных тогда климатических условиях.

Археологические памятники, бесспорно относящиеся к этому времени, пока не обнаружены, но их планомерные поиски в позднезырянских и каргинских отложениях, а также в синхронных отложениях Аляски еще не проводились.

Не исключено, что заключительный этап развития древнейшей культуры представлен материалами, обнаруженными в Дюктайской пещере, открытой 21 сентября 1967 г. на Алдане. Здесь вместе с костями мамонта, бизона, лошади и других плейстоценовых животных в четких стратиграфических условиях залегают архаические скребла, резцы, сребки, пластины. Особенно интересно, что вместе с ними найдены двусторонне обработанные наконечники метательных орудий и ножи. В целом дюктайский комплекс из всех сибирских палеолитических материалов наиболее близок к древнейшим палеоиндейским комплексам. Точная датировка Дюктайской пещеры очень важна для проблемы первоначального заселения Нового Света.

Сейчас, опираясь на азиатские и американские материалы, можно предположить, что в промежутке 35—22 тыс. лет назад культура древнейших обитателей Северо-Восточной Азии — Якутии и Чукотки (Камчатка и Приохотье тогда еще оставались необитаемы) должна была быть наиболее близка к тем ранним верхнепалеолитическим культурам Сибири, для которых характерны двусторонне обработанные орудия.

Древнейшие обитатели Аляски после значительно уменьшившегося в каргинское время сухопутного моста оказались в относительной изоляции от родственных им племен Северо-Восточной Азии. Зато они могли поддерживать постоянные контакты с тем населением, которое, выделившись из их среды, осваивало область Плато Прерий.

¹⁵ О. Н. Бадер, Палеолит Урала и его место в древнейшей истории Евразии, сб. «Четвертичный период и его история», М., 1965.

¹⁶ Р. Флинт, Ледники и палеогеография плейстоцена, М., 1963.

Около 22 тыс. лет назад в Сибири начинается сартанское оледенение, а в Америке — классический этап висконсинского. Аляска от остальной части Америки отделяется непроходимыми ледниками, а с Чукоткой вновь соединяется широким сухопутным мостом. Можно сказать, что на десять тысяч лет Аляска становится составной частью Азии, а не Америки.

В это время по Северо-Восточной Азии распространяется ихиненская культура. Наиболее типичная для нее стоянка (Ихине) открыта в низовьях Алдана, на 63° с. ш. Здесь в отложениях сартанского времени в сопровождении костных остатков мамонта, бизона и лошади обнаружены каменные изделия человека, наиболее выразительным из которых является удлинённый клиновидный нуклеус. Подобные нуклеусы часто называют «гобийскими», «килевидными», «ладьевидными», «языковидными» или «нуклеусами-скребками».

Стоянки с удлинёнными клиновидными нуклеусами очень широко распространены в Азии к востоку от Енисея и к северу от Хуанхэ. На этой огромной территории предварительно можно выделить две локальные, очевидно, этнокультурные области: «континентальную» (Прибайкалье, Забайкалье, Верхний Амур, Монголия) и «тихоокеанскую» (Нижний Амур, Приморье, Хоккайдо, Сахалин, Камчатка). Дунбэй по ряду признаков, видимо, следует рассматривать как контактную область.

В «тихоокеанской» области удлинённые клиновидные нуклеусы появляются около 15 тыс. лет назад. Они продолжают бытовать там и в первой половине голоцена, причем на поздних этапах клиновидные нуклеусы становятся более укороченными с тщательно отретушированными, как бы отшлифованными, боковыми поверхностями. Подобные нуклеусы в сочетании с поздними типами орудий особенно характерны для Камчатки, что, наряду с отсутствием на ее древнейших стоянках плейстоценовой фауны, заставляет предположить, что либо она была заселена в довольно позднее время на рубеже плейстоцена и голоцена, либо более древние стоянки там еще не обнаружены.

В континентальной области и в Дунбэе стоянки с удлинёнными клиновидными нуклеусами появляются в начале сартанского оледенения, около 22 тыс. лет назад, доживая только до рубежа плейстоцена и голоцена. Инвентарь этих стоянок характеризуется рядом архаических элементов, особенно скреблами мустьерского вида. На стоянках обильно представлена «мамонтная» фауна и зачастую такой ее древний представитель, как шерстистый носорог.

Ихиненская культура по своим основным показателям родственна «континентальным» культурам. Наиболее четкие аналогии материалам стоянки Ихине имеются на стоянках Красный Яр¹⁷ и Икарал¹⁸.

Археологические и палеогеографические данные заставляют нас искать прародину ихиненской культуры в Забайкалье или Прибайкалье. Но в дальнейшем предстоит еще выяснить, какую роль играла в ее сложении более древняя местная культура, представленная Дюктайской пещерой.

Удлинённые клиновидные нуклеусы на Аляске американские исследователи обычно относят к «северо-западной традиции микропластин», которую они датируют временем 7—2 тыс. лет назад. Как отмечает В. Ирвинг, «традиция» не всегда совпадает с понятием «культура». Есть отдельные культуры, для которых характерно сочетание разных tradi-

¹⁷ Г. И. Медведев, Археологические исследования многослойной палеолитической стоянки Красный Яр на Ангаре в 1964—1965 гг., «Отчеты археологических экспедиций за 1963—1965 гг.», Иркутск, 1966.

¹⁸ В. Х. Шамсутдинов, Новая верхнепалеолитическая стоянка в Забайкалье, «Бюлл. Комис. по изуч. четв. периода», № 32, 1966.

ций, так же как есть отдельные традиции, элементы которых присущи разным культурам¹⁹. Специфика выделения особых традиций весьма затрудняет точную датировку отдельных комплексов и определение их культурной принадлежности.

На наш взгляд, «северо-западная традиция микропластин», включающая множество различных типов орудий, обнаруженных в далеко не синхронных стоянках,— понятие весьма эклектичное. Выделение этой традиции во многом мешает воссозданию конкретной истории арктической Америки. В этой традиции на основании наличия микропластин вместе объединены материалы стоянок, содержащих только ординарные призматические нуклеусы, которые бытуют в широчайших территориальных и хронологических рамках, и комплексы с высокоспециализированными удлинёнными клиновидными нуклеусами, являющимися четким хронологическим и этнокультурным показателем.

Клиновидные нуклеусы на Аляске нигде не обнаружены в четких стратиграфических условиях вместе с выразительными культурным и фаунистическим комплексами. Можно сказать, что на Аляске их хронологическое бытование и культурная принадлежность остаются до сих пор неопределёнными.

Тем не менее широкое распространение на Аляске клиновидных нуклеусов, аналогичных ихиненским и отличным от камчатских, свидетельствует, что на ее территории распространяется ихиненская культура²⁰. Это тем более вероятно, так как Аляска являлась в описываемое время своего рода продолжением Северо-Восточной Азии.

Третий этап (10—6 тыс. лет назад)

На рубеже плейстоцена и голоцена, примерно 10 тыс. лет назад, на территории Северо-Восточной Азии (Якутия и Чукотка) распространяется новая археологическая культура, названная по памятнику, на котором она впервые была выделена стратиграфически и типологически, сумнагинской.

Культурные остатки ее залегают в раннеголоценовых отложениях, в одних случаях — в нижних горизонтах пойменной фации аллювия, слагающего высокую пойму, в других — в покровных суглинках и супесях надпойменных террас.

В долине Алдана сумнагинская культура представлена стоянками Сумнагин I (XXXVIII—XVII слои), Белькачи I (XX—VIII слои), Усть-Тимптон (V—IV слои), Билир (V слой), Тумулуур и др. В долине Лены к ней относятся стоянки Нюя, Гатамайская, Ат-Дабан и др.²¹ В бассейне Вилюя к этой культуре, видимо, относится часть находок со стоянок Нюрбачан — 6 км, Туой-Хая и Усть-Чиркуо²².

Не исключено, что две последние стоянки, расположенные в верховьях Вилюя, относятся, как считает С. А. Федосеева, к невыявленной еще локальной культуре, синхронной сумнагинской. Если это в дальнейшем подтвердится, мы, очевидно, получим возможность провести западную

¹⁹ W. N. Irwing, A provisional comparison of some Alaskan and Asian stone industries, Arctic Institute of North America, Technical Paper, № 11, 1962.

²⁰ Здесь необходимо отметить, что еще 30 лет назад первым обратил внимание на распространение сходных клиновидных нуклеусов на Аляске и в Центральной Азии замечательный американский археолог Н. Нельсон (N. C. Nelson, Notes on cultural relation between Asia and America, «American Antiquity», vol. 2, 1937, pp. 267—272). Он высказал предположение, что эти нуклеусы свидетельствуют о миграции человека из Азии в Америку. Но исключительно слабая в то время археологическая изученность Аляски и полное отсутствие данных из Северо-Восточной Азии помешали ему определить время и пути проникновения на Аляску групп, принесших с собой культуру, характернейшим элементом которой являлся удлинённый клиновидный нуклеус.

²¹ А. П. Окладников, Среды палеолита в долине р. Лены, «Материалы и исследования по археологии СССР», № 39, М., 1953.

²² С. А. Федосеева, Древние культуры Верхнего Вилюя, М., 1968.

границу распространения сумнагинской культуры примерно через верховья рек Вилюя, Нижней Тунгуски и Лены.

На востоке сумнагинская культура достигает Чукотки, где она, с нашей точки зрения, представлена отдельными подъемными материалами, типологически сходными с алдано-ленскими, но не имеющими точного стратиграфического положения (стоянки Усть-Белая, Снежное, Чикаево и др.)²³.

Стоянки сумнагинской культуры представляют собой остатки сезонных стойбищ охотников, которые иногда занимались и рыбной ловлей. Люди, оставившие их, жили в наземных постройках, очевидно типа шалаша или чума. Из остатков фауны в таежной зоне наиболее часто встречаются кости лося, в тундре — северного оленя.

Каменный инвентарь сумнагинской культуры характеризуется сочетанием мелких кремневых и массивных диабазовых или кварцитовых орудий, что объясняется не смешением каких-то различных культурных традиций, идущих из разных этнокультурных областей, а хозяйственными потребностями человека.

Массивные орудия, составляющие лишь 5—10% всех изделий, представлены грубыми рубящими орудиями, скреблами, а также топорами и теслами, сделанными при помощи оббивки целых или расколотых вдоль галек. Из мелких целых галек иногда делали грузила для рыболовных сетей. Они появляются на заключительной стадии сумнагинской культуры.

Около 90% каменных орудий этой культуры изготовлено из пластин, снятых с призматических нуклеусов. 60—85% изделий представляют собой микроорудия значительно меньших размеров, чем классические микролиты мезолитических культур Евразии. К ним относятся вкладыши, резцы, проколки и т. д. Специфические микроорудия резко отличают сумнагинскую культуру от известных синхронных ей культур Азии.

Очень характерно для сумнагинской культуры отсутствие кремневых орудий, полностью двусторонне ретушированных. Это, очевидно, объясняется исключительно широким развитием составных орудий (костяная основа — кремневые вкладыши). Костяные изделия представлены плоскими кинжалами с одним пазом, наконечниками с расщепом для крепления кремневого острия, шильями, иглами.

Хронологические рамки сумнагинской культуры определяются 10—6 тыс. лет от наших дней. Эта датировка основана на стратиграфических условиях залегания остатков и на многочисленных абсолютных датах, полученных радиоуглеродным методом для отдельных слоев стоянки Белькачи I.

Вопрос о происхождении сумнагинской культуры пока еще не совсем ясен. О ее местном происхождении свидетельствует отсутствие в смежных с Северо-Восточной Азией областях столь специфичной и высоко-развитой резцовой техники и многочисленных, уникальных по совершенству микроорудий. Кажется весьма вероятным, что традиция микропластин, доведенная в сумнагинской культуре до своего апогея, генетически связана именно с ихиненской культурой.

В сумнагинской культуре мы видим заключительный этап одной из линий развития палеолита Северной Азии, для которой с древнейшей поры была характерна выработка наиболее совершенной формы нуклеуса для снятия ножевидных пластин.

Сумнагинская культура занимала важное место в древней истории Сибири. Во время ее существования в общих чертах сформировался тот хозяйственный уклад, который почти без изменения продержался в Северо-Восточной Азии на протяжении всего неолита. Сейчас можно считать в целом установленным, что сумнагинская культура явилась той основой,

²³ Раскопки Н. Н. Дикова на Чукотке в 1957—1963 гг. Материалы хранятся в археологической лаборатории Северо-Восточного комплексного НИИ в Магадане.

на которой к началу IV тысячелетия до н. э. развивается сылахская раннеолитическая культура Северо-Восточной Азии.

Более сложно протекали в раннем голоцене исторические процессы на Аляске. 11—10 тыс. лет назад окончательно прерывается сухопутная связь Азии и Америки. По мере уменьшения ледников из области Плато Прерий на Аляску постепенно начинают просачиваться потомки древнего палеоиндейского населения. Особенно интенсивно этот процесс протекал 9—6 тыс. лет назад.

Именно с южной американской волной, а не с древнейшей протоамериканской,шедшей из Азии, очевидно, надо связывать последние «сенсационные» находки желобчатых наконечников на севере Аляски, в бассейне р. Утукок (комплекс Дрифтвуд Крик)²⁴. Поздние палеоиндейцы, принесшие с собой на Аляску наконечники типа лерма, скоттсблаф, эгностура и другие типы орудий, встретились здесь с потомками носителей аляскинского варианта ихиненской культуры.

Недостаток материалов не позволяет в полном объеме выяснить, в каком направлении развивались контакты этих двух различных этнических групп. Пока можно только отметить, что влияние палеоиндейской культуры в первой половине голоцена было более сильным. Оно распространилось по всей территории Аляски. В то же время отмечается и встречное продвижение местной аляскинской культуры на юг. На самых поздних этапах эта культура вдоль тихоокеанского побережья достигает р. Фрезер и даже несколько переходит р. Колумбия²⁵.

Около 6 тыс. лет назад аляскинские культуры испытывают сильное влияние сумнагинской культуры, что особенно заметно на стоянках, относимых к «арктической традиции микроорудий»²⁶. Влияние сумнагинской культуры ощущается настолько сильно, что его, видимо, следует связать с появлением новой миграционной волны.

Начиная с появления человека в Америке и примерно до 6—5 тыс. лет назад основные миграции населения из Азии в Новый Свет проходили через континентальные и прибрежно-арктические области Северо-Восточной Азии. Эти миграции сначала были связаны с охотниками на «мамонтовую» фауну, а затем на лося и северного оленя. Только с возникновением в северной части Тихого океана хозяйства, основанного сначала на собирании моллюсков и рыболовстве, а затем на морском зверобойном промысле, определенное значение приобретает побережье Охотского моря и Камчатка. По этому пути на Аляску начинают проникать новые элементы культуры и не исключено, что и новое население.

SUMMARY

New archaeological discoveries in Yakutia, Tchukotka peninsula, Kamtchatka and the North of America show that three early stages in populating North-East Asia and America may be distinguished. These are: 1) 35—22 thousand years ago; 2) 22—10 thousand; 3) 10—6 thousand.

From the time man first came to America and up to 6—5 thousand years ago the main population migrations from Asia to the New World took place through continental and coastal Arctic regions of North-East Asia.

²⁴ R. L. Humphrey. The prehistory of the Utukok river region, Arctic Alaska: early fruted point tradition with old world relationships, «Current Anthropology», vol. 7, № 5, 1966.

²⁵ S. M. Campbell, Cultural succession at Anactuvuk Pass, Arctic Institute of North America, Technical Paper, № 11, 1962.

²⁶ J. L. Giddings, The archaeology of Cape Denbigh, Brown University Press, 1964; W. N. Irwing, Указ. паб.

Ю. А. Савватеев

ПЕТРОГЛИФЫ КАРЕЛИИ И НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ ЕВРАЗИИ

Статьями А. А. Формозова и Г. И. Пелих¹, посвященными наскальному искусству Сибири, журнал «Советская этнография» по существу начал дискуссию по сложной и актуальной проблеме первобытного наскального искусства. В этих статьях затронуты и некоторые методологические вопросы: метод научной классификации, связи между петроглифами разных областей и стран, эволюция наскального изобразительного творчества и др. В качестве сравнительного материала привлекаются наскальные рисунки Урала, Карелии, Скандинавии, Азербайджана. Уже поэтому обе статьи интересны для всех, занимающихся изучением наскальных гравировок и росписей лесной полосы Евразии.

В последние годы внимание к наскальным изображениям заметно усилилось как в нашей стране, так и за рубежом. Это вызвано открытием многих новых памятников, появлением значительного числа публикаций, но главное — настойчивым желанием проникнуть в духовный мир первобытных людей, понять их мировоззрение, идеологию, культуру. Вокруг наскальных рисунков вновь разгораются жаркие споры.

В попытках понять рисунки исследователи все чаще обращаются непосредственно к памятникам, а также к трудам своих предшественников. К сожалению, петроглифический материал пока редко обрабатывается столь же скрупулезно, как, скажем, материал раскопок. Из арсенала старых теорий на вооружение берутся иногда далеко не самые сильные, а то и вовсе недоказанные положения, ставшие за давностью лет привычными, не вызывающими сомнений. Появляется немало и новых, впечатляющих на первый взгляд, выводов, подсказанных порой не столько самим материалом, сколько воображением исследователей.

Налицо и положительные результаты повышенного научного интереса к петроглифам: с них постепенно снимается пелена таинственности, накапливаются новые интересные и достоверные факты и наблюдения, позволяющие решить некоторые составные части проблемы. Но это всего лишь начало глубокого и всестороннего изучения наскальных изображений.

Цель данной статьи — показать место карельских петроглифов среди аналогичных памятников нашей страны. Это необходимо сделать и потому, что карельские петроглифы часто используются в качестве сопоставительного материала, а нередко выступают и как эталонные памятники. Нужно учесть также, что в последние годы в Беломорье нами открыто свыше 1000 новых рисунков, и появились благоприятные пер-

¹ А. А. Формозов, О наскальных изображениях эпохи камня и бронзы в Прибайкалье и на Енисее, «Сов. этнография», 1967, № 3; Г. И. Пелих, О методе научной классификации сибирских петроглифов, «Сов. этнография», 1968, № 3. В дальнейшем при ссылках на эти статьи в тексте указываются только фамилия автора и страница.

спективы для их твердой датировки². Мы намерены коснуться и некоторых общих вопросов, поставленных А. А. Формозовым и Г. И. Пелих (они рассматриваются нами как бы с уровня изученности карельских петроглифов).

Г. И. Пелих затронула крайне важный вопрос: как, с каких позиций изучать памятники наскального искусства Сибири (а по существу — всей лесной полосы Евразии). Она с пристрастием отстаивает научную

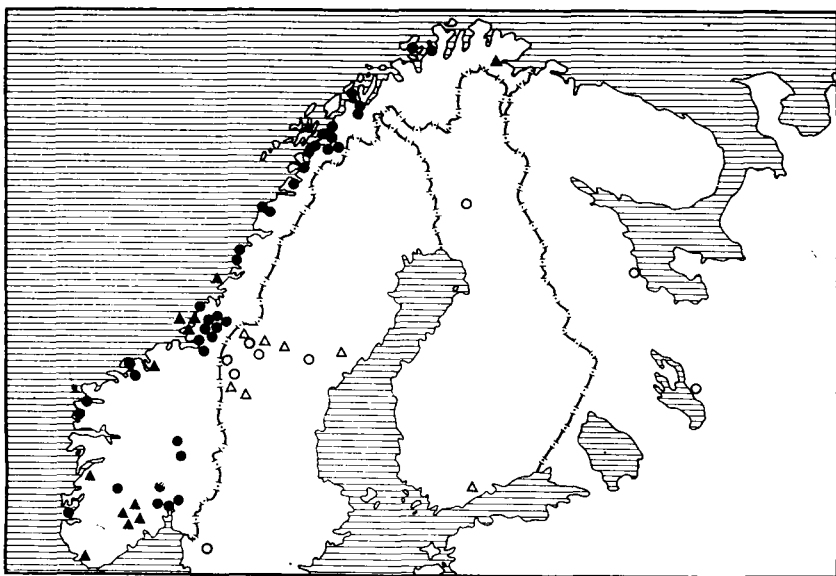


Рис. 1. Распространение наскальных изображений каменного века в Северной Европе (по Г. Хальстрему): кружками обозначены высеченные изображения, треугольниками — раскрашенные. См.: G. Hallström, *Monumental art of Northern Sweden from the Stone Age. Nämforsen and other localities*, Stockholm, 1960, p. VIII

концепцию А. П. Окладникова, метод его исследования, в основе которого будто бы лежит «... стремление установить общие тенденции развития искусства наскальной живописи во всемирно-историческом масштабе в их динамике и обусловленности. Общие закономерности в развитии первобытного искусства служат отправным пунктом для воссоздания генезиса наскальных изображений Сибири на основе анализа стиля, техники исполнения, содержания. Хронологическая схема А. П. Окладникова является признанием закономерности исторического процесса и единства познавательных средств, в том числе и в такой сложной области, как изобразительное искусство. Естественно, для такого рода работы необходим соответствующий уровень научного кругозора и овладение методикой сравнительно-исторического анализа» (Г. И. Пелих, стр. 71).

На наш взгляд, точка зрения крупнейшего исследователя писаниц Сибири изложена по меньшей мере упрощенно³ и совершенно неправомерно противопоставляется методике сравнительно-исторического анализа петроглифического материала и даже методу исследования

² Ю. А. Савватеев, О новых петроглифах Карелии, «Сов. археология», 1967, № 2, стр. 3—21; его же, Петроглифы Новой Залавруги, «Сов. археология», 1968, № 1, стр. 134—157.

³ Общие закономерности в развитии первобытного искусства пока не могут служить отправным пунктом для воссоздания генезиса ни сибирских, ни карельских, ни скандинавских петроглифов, ибо эти закономерности для эпохи неолита, бронзы и раннего железа еще не выявлены и не исследованы с достаточной полнотой.



Рис. 2. Охота на лосей по насту. Петроглифы Новой Залавруги (IV группа)

А. А. Формозова. Как раз в самом подходе к изучению памятников у названных исследователей обнаруживается немало общего: оба они принадлежат к «мифологическому» направлению в трактовке смыслового содержания рисунков; видят в них отражение духовных контактов с миром древневосточных цивилизаций. Мысль о том, что периоды расцвета искусства не находятся в прямой зависимости от общего развития общества, уже высказывалась А. А. Формозовым. В интересной как для массового читателя, так и для специалистов научно-популярной книге «Памятники первобытного искусства на территории СССР», он даже излишне категорично утверждает, что нельзя судить об идеологии наших предков по уровню материальной культуры, ибо «прямого соответствия тут нет», что «... искусство в очень малой мере зависело от уровня хозяйства и социальной организации»⁴.

Г. И. Пелих упрекнула А. А. Формозова «...в нежелании полемизировать на должном уровне с А. П. Окладниковым, в ориентации на исследование частных вопросов» (стр. 72), в привлечении в качестве аргументов «...самых общих, зачастую проблематичных и большей частью ничего не доказывающих положений» (стр. 69) и т. п. Подобные высказывания, на наш взгляд, крайне неуместны. Они искажают содержание статьи Формозова и уж никак не способствуют спокойному, деловому поиску научной истины. Главным в дискуссии должно стать не стремление показать, что один исследователь хорош, а другой плох, а выяснение вклада каждого из них в решение обсуждаемых вопросов и, что еще важнее, поиски верных путей решения проблемы, введение в научный оборот новых достоверных фактов, наблюдений и выводов.

Не беда, если разговор будет вестись на разном уровне «научной генерализации» (Г. И. Пелих). Он может касаться некоторых памятников и их совокупности, частных и общих вопросов наскального творчества. На данной, «младенческой» стадии изучения следов древней изобразительной деятельности порочной представляется сама идея признания единственно правильным направлением изучение петроглифов во всемирно-историческом масштабе, противопоставление его конкретным исследованиям отдельных памятников и частных вопросов.

Статья А. А. Формозова посвящена не столько методу научной классификации, как думает Г. И. Пелих, сколько непосредственно хронологии сибирских петроглифов — едва ли не самому главному и трудному на данном этапе их изучения вопросу⁵. Исследователь ищет «опорные точки», крайне необходимые для твердой датировки петроглифов Сибири. В целом эти поиски ведутся в перспективном направлении, но нередко А. А. Формозов спешит, привлекает далеко не бесспорные аргументы. Поэтому не все его выводы можно сейчас принять. В самом деле, может ли изображение лыжника, преследующего лося, из Залавруги (Беломорье) подтвердить датировку аналогичной сценки на втором Каменном острове (Ангара)?

Но это совсем не значит, что критика хронологической схемы А. П. Окладникова беспочвенна. Мы не видели сибирских петроглифов в натуре⁶, но, судя по публикациям, хронологическая схема А. П. Окладникова все же не бесспорна. Так, палеолитические и мезолитические изображения выделены им неубедительно. Хотя не все доводы А. А. Формозова на этот счет равноценны по своей силе (например, своеобразие топографии, «недостаточная прочность» скал, отсутствие скульптур и

⁴ А. А. Формозов, Памятники первобытного искусства на территории СССР, М., 1966, стр. 3, 114.

⁵ Первой, исходной и вместе с тем наиболее трудной задачей в изучении наскальных изображений А. П. Окладников тоже считает установление их возраста. См. А. П. Окладников, Петроглифы Ангары, М.—Л., 1966, стр. 107.

⁶ Знакомство с наскальными изображениями на месте должно стать обязательным условием их научного изучения, ибо даже лучшие публикации не обладают тем «эффектом присутствия», без которого невозможно понять памятник.

гравировок на кости еще не отвергают палеолитического и мезолитического возраста (рисунков), но в целом его критика представляется убедительной. Опровергнуть ее можно только новыми фактами и наблюдениями. Весьма условно, на наш взгляд, выделены и неолитические петроглифы Сибири. Значительное распространение петроглифов в Сибири еще в эпоху неолита (а появление их и в более раннее время) вполне возможно, однако твердо и обоснованно выделить их не так просто.

Г. И. Пелих защищает хронологическую схему А. П. Окладникова, считая, что если она и «...будет когда-либо заменена другой, более совершенной, то это произойдет лишь после значительного накопления новых научных знаний и проведения конкретных исследований с соответствующей степенью овладения методикой научно-исследовательской работы, на соответствующем уровне научной генерализации» (Г. И. Пелих, стр. 76).

Трудно сказать, будет ли уточнена эта схема или заменена новой, но поиски в этом направлении должны вестись уже сейчас, таково требование науки. Ведь от точности датировки памятников во многом зависит и достоверность последующих исторических выводов. Чтобы разобраться в хронологии петроглифов лесной полосы Евразии, надо и впредь настойчиво искать «опорные точки», выявлять эталонные памятники.

Идеальным случаем для датировки рисунков представляется тот, когда они сопоставляются с материалами раскопок соседних поселений или жертвенных мест, особенно когда имеется возможность выделить в этих материалах предметы, предшествующие рисункам, синхронные им, и, наконец, заключающие их. В Беломорье, например, к настоящему времени известно 36 групп петроглифов, включающих около 1700 изображений. Все они сосредоточены на очень ограниченной площади (на пяти соседних островах), в окружении более полусотни древних поселений. А изображения Новой Залавруги были перекрыты даже культурным слоем стоянки Залавруга I. Скопления рисунков располагаются на разной высоте над уровнем моря, что значительно облегчает выяснение их относительной хронологии. Использование разнообразных способов датировки, включая методы естественных наук, позволит получить для беломорских петроглифов точные даты. Уже сейчас очевидно, например, что рисунки на скалах Залавруги выполнены не ранее первой и не позднее четвертой четверти II тысячелетия до н. э.

Заманчивые перспективы в усовершенствовании хронологии памятников наскального искусства как будто открывает использование данных неотектоники⁷. Г. А. Панкрушев, разрабатывающий метод датировки археологических памятников по высотным данным, пришел к выводу, что его можно применять в любой части земли для памятников, расположенных по берегам морей и крупных озер, в зонах тектонических движений. Именно на этом методе будет основана датировка онежских петроглифов, в которой пока наблюдаются большие расхождения. По расположению недавно открытых на береговых террасах стоянок видно, что рисунки появились после того, как исчезла ранненеолитическая культура Сперрингс. Верхняя хронологическая граница их приблизительно очерчивается заметным подъемом воды в Онежском озере, который, по мнению Г. А. Панкрушева, наблюдался в первой половине II тысячелетия до н. э. Тогда петроглифы оказались затопленными.

Высотные отметки помогают и в выявлении связей изобразительного материала с определенными археологическими комплексами, что, в

⁷ Г. А. Панкрушев, Применение данных неотектоники для датировки древних поселений, сб. «Новые памятники истории древней Карелии», М.—Л., 1966, стр. 5—43.

Высотные отметки и колебания уровня Каспийского моря можно как будто использовать и для уточнения датировок наскальных изображений Кыбстана.

свою очередь, облегчает выяснение этнической принадлежности творцов рисунков, делает возможным привлечение к объяснению их этнографических материалов.

Нередко возраст петроглифов устанавливается по аналогии с произведениями искусства из погребений и поселений, в частности скульптурными, имеющими стилистическое сходство с рисунками. Однако такие сопоставления не всегда убедительны. Вряд ли правомерно для датировки писаниц Сибири использовать костяную скульптуру Оленеостровского могильника на Онежском озере, как это делает А. П. Окладников⁸.

Более оправданным было бы привлечение материала Оленеостровского могильника для датировки карельских петроглифов, что и попытался сделать К. Д. Лаушкин в интересной, но весьма спорной работе «Онежское святилище»⁹. Он отметил ряд близких параллелей в онежских петроглифах и материалах Оленеостровского могильника, в частности, указал на тесную связь наскальных «магических жезлов» и скульптурных головок лосей (роговых жезлов-рукоятей) из могильника. Очевидна и стилистическая близость скульптур и гравировок. И тем не менее два этих памятника никак нельзя считать одновременными, их разделяет почти целое тысячелетие. В этом нетрудно убедиться, если сопоставить материалы могильника и синхронных онежским петроглифам стоянок, а также их высотные отметки. Подобные аналогии, бесспорно, должны приниматься во внимание при датировке рисунков, но все же не могут быть взяты за ее основу. Определяющее значение они приобретают лишь для эпохи развитого металла, когда в материалах раскопок кое-где появляются точные копии наскальным рисункам.

Перспективным приемом датировки рисунков является сравнение характерных фигур из петроглифов с орнаментальными изображениями на глиняных сосудах¹⁰. В лесной полосе Европейской части СССР сосудов с теми же сюжетами, что и на наскальных рисунках, пока немного, но число их растет. Увязав наскальные изображения с определенными керамическими комплексами, легче определить этническую принадлежность их творцов.

Мы считаем, что аналогии материалов раскопок с наскальными изображениями надо использовать для датировки последних крайне осторожно и обоснованно, преимущественно для памятников, близких территориально и по этнической принадлежности их создателей.

Неубедительными останутся датировки, основанные на аналогии между наскальными изображениями отдаленных областей лесной полосы Евразии, скажем, Сибири, Урала, Карелии, Скандинавии. Не нужно забывать, что близкие до тождества образы в простейших изобразительных формах, какие дают нам петроглифы, могли возникать случайно, конвергентно, под влиянием сходных материальных и социальных условий. Но даже если среди них действительно имеются общие сюжеты, предположительно появившиеся вследствие диффузии, их далеко не всегда можно принять за одновременные. Так, изображения лодок с гребцами, известные в Сибири, на Урале, в Карелии, Швеции и Норвегии, которые нередко принимаются за родственные друг другу солярные лады¹¹, датируются весьма широким отрезком времени, включая 3, 2 и 1 тысячелетия до н. э.

⁸ А. П. Окладников, Указ. раб., стр. 107—108.

⁹ К. Д. Лаушкин, Онежское святилище, ч. II — «Опыт новой расшифровки некоторых петроглифов Карелии», «Скандинавский сборник», V, Таллин, 1962, стр. 196—200.

¹⁰ В. Н. Чернецов, Наскальные изображения Урала, М., 1964, стр. 19—22.

¹¹ А. А. Формозов, О наскальных изображениях эпохи камня и бронзы в Прибайкалье и на Енисее, стр. 79; его же, Памятники первобытного искусства на территории СССР, стр. 45, рис. 16, схема (распространение изображений солярной лады на петроглифах).

Наблюдения над размещением, стилем и техникой нанесения рисунков важны прежде всего для установления относительной хронологии изображений конкретного памятника или скопления их. Значительно облегчают решение данной задачи наслоения фигур, перекрывающих друг друга. Однако определить по этим признакам абсолютный возраст рисунков пока вряд ли возможно, так как их датирующие свойства весьма относительны.

К сожалению, трудности датировок петроглифов нередко затушевываются. Возраст их подчас устанавливается поспешно, на основании весьма спорных и поверхностных аналогий, без достаточного привлечения найденных уже местных источников датирования. Так, петроглифы

Карелии А. А. Формозов уверенно датирует эпохой бронзы или первой половиной 2 тысячелетия до н. э. При этом он ссылается на стоянки, найденные в непосредственном соседстве с ними и относящиеся будто бы ко 2 тысячелетию до н. э.¹² В действительности же в окрестностях петроглифов встречаются материалы разных эпох 3—1 тысячелетия до н. э. Не все ближайшие к петроглифам поселения синхронны им, да и взаимосвязь стоянок и рисунков на скалах нуждается в обосновании. Между тем целенаправленные поиски нередко приводят к успеху (Беломорье, Ко-



Рис. 3. Лось. Петроглифы Новой Залавруги (XV группа)

быстан). Даты, установленные на местном материале, достовернее полученных лишь на основании генезиса первобытного искусства.

По мере углубленного изучения послепалеолитического наскального искусства лесной полосы Евразии становится все очевиднее, что его развитие усложнилось. Намечается многолинейный путь эволюции наскального творчества. Параллельно развиваются разные по стилю, технике нанесения направления. В рисунки в различных местах вкладывается разное содержание, видимо, отличаются они и по назначению. Для примера достаточно сопоставить карельские и сибирские петроглифы эпохи неолита и ранней бронзы (3 — первая половина 2 тысячелетия до н. э.).

Гравировки на скалах Карелии довольно разнообразны по составу, в них больше всего изображений лодок и людей (Беломорье), птиц и орудий промысла (Онежское озеро). Наряду с реалистическими фигурами много условных, символических знаков. Преобладают силуэтные рисунки, реже встречаются контурные (представлен и гибридный, скелетно-контурный стиль). Крупные фигуры (натуральной величины олени, большие лодки и др.) появляются здесь не на ранней, а на поздней стадии. Большинство изображений входит в композиции. Причем со временем композиционная сложность рисунков заметно усиливается, сюжет разрабатывается все детальнее. Повествовательное начало особенно ярко выражено в многофигурных композициях — настоящих шедеврах мирового первобытного искусства.

¹² А. А. Формозов, Наскальные изображения Урала и Казахстана эпохи бронзы и их семантика, «Сов. этнография», 1950, № 3, стр. 171; его же, О наскальных изображениях эпохи камня и бронзы в Прибайкалье и на Енисее, стр. 75 и др.; его же, Камень «Щеглец» близ Новгорода и камни-следовики, «Сов. этнография», 1965, № 5, стр. 134.

Своеобразной чертой стиля является и то, что все звери изображены здесь двуногими, людей мы обычно видим в профиль, с одной рукой и одной ногой. Оригинальны карельские петроглифы и по топографии: они высечены на покатых прибрежных склонах выходящих на поверхность коренных пород (гнейсо-гранитов) обычно у самой воды.



Рис. 4. Изображения людей на скалах Новой Залавруги



Рис. 5. Изображения людей на скалах Новой Залавруги

Среди сибирских петроглифов таких особенностей почти нет. В них преобладают одиночные изображения зверей, преимущественно лосей. Гораздо разнообразнее техника их исполнения, они выбиты на отвесных скалах и т. д. Значительно отличаются петроглифы Карелии и от наскальных изображений Урала¹³. Карельские рисунки кажутся более

¹³ Мы не можем согласиться с А. А. Формозовым, отмечавшим особую близость уральских писаниц и карельских петроглифов (А. А. Ф о р м о з о в, Наскальные изображения Урала и Казахстана эпохи бронзы и их семантика, стр. 175—176)

сложными, быстрее развивающимися, в основном в плане эпическо-повествовательном. Эта линия развития особенно заметна в Беломорье. Нам представляется, наконец, что они отражают весьма сложную социальную структуру, довольно развитое анимистическое мировоззрение их творцов и почитателей.



Рис. 6. Капканы (соляные и лунарные знаки?). Онежские петроглифы. Пери-нос

Уже сейчас в лесной полосе Евразии отчетливо выделяется несколько самостоятельных очагов, регионов наскального искусства. Самобытный облик изобразительного материала в каждом из них связан, очевидно, с особенностями мироощущения, общественного и хозяйственного быта древних племен, живших в сходных географических условиях лесной полосы, но имевших существенные этнографические отличия. Своеобразие развития наскального искусства разных районов выявляется при сопоставлении петроглифов Онежского озера и Беломорья, близких территориально и хронологически, но все же не тождественных.

Все беломорские петроглифы в отличие от онежских расположены на островах. Среди беломорских петроглифов господствуют фигуры, выбитые по всему силуэту, в то время как среди онежских нередко встречаются контурные. В целом беломорские рисунки реалистичнее онежских, в них гораздо меньше фантастических персонажей. На онежских скалах тоже есть многофигурные композиции, но сюжет их разработан значительно слабее, в них меньше подробностей, чем в лучших наскальных «полотнах» Беломорья.

Еще заметнее различия в тематике. Изображения птиц в Онежском святилище решительно преобладают, а в Беломорском они редки, зато

там мы встречаем обилие своеобразных по конструкции лодок, обычно с гребцами. В онежских группах много получеловеческих — полузвериных существ, неизвестных в Беломорье, где, как правило, фигурируют «земные» люди — охотники на морских и лесных зверей.

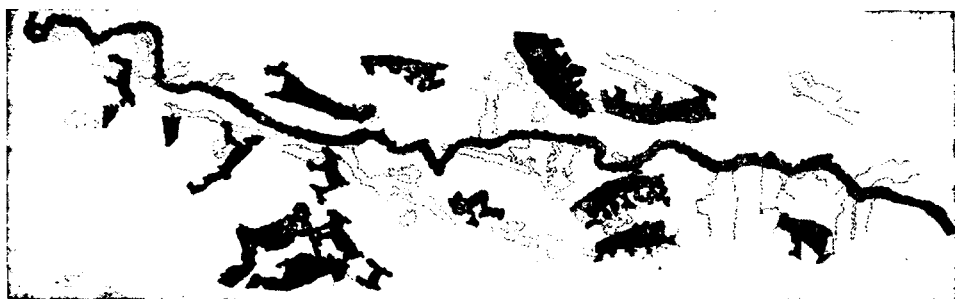


Рис. 7. Изображение реки, фрагмент. Петроглифы Новой Залавруги (XV группа)

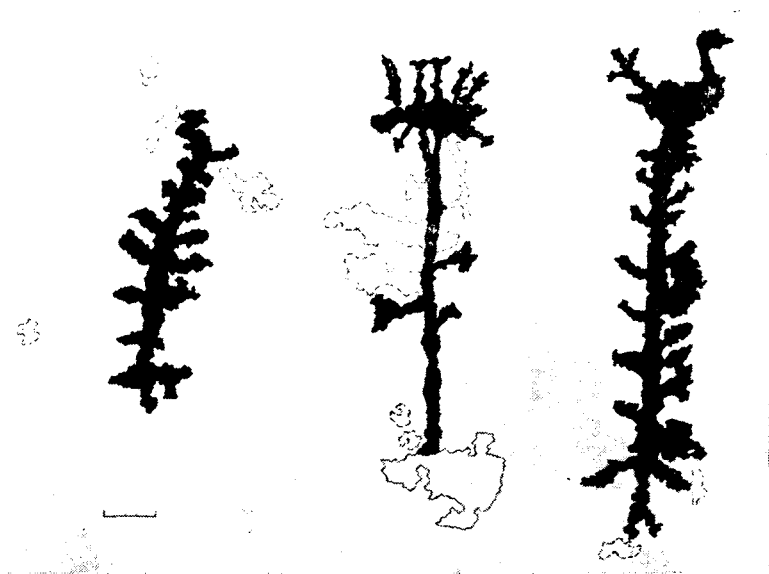


Рис. 8. Изображения деревьев. Петроглифы Новой Залавруги

В беломорских петроглифах нет капканов, там встречаются изображения реки, деревьев, луков, стрел, лыж, морских зверей, следов животных и человека, почти или вовсе не представленные на мысах Онежского озера (рис. 7—8).

Эти и другие отличия давали основание исследователям относить рассматриваемые памятники к разным ступеням неолитической культуры. По мнению В. И. Равдоникаса, они и по своему содержанию, и по стилю «...отражают различные стадии истории первобытного мышления»¹⁴. А. П. Окладников тоже расчленяет их на две группы, непосредственно связанные друг с другом: эпохи позднего неолита и начала бронзового века¹⁵. Но материалы раскопок прилегающих к ним стоянок

¹⁴ В. И. Равдоникас, К изучению наскальных изображений Онежского озера и Белого моря, «Сов. археология», 1936, № 1, стр. 46.

¹⁵ А. П. Окладников, Шишкинские писанины, Иркутск, 1959, стр. 195.

показали, что эти памятники созданы и почитались в среде родственных племен, владевших ямочно-гребенчатой и асбестовой керамикой, и относятся к одной ступени исторического развития. Тем заметнее стали их различия, которые приходится объяснять уже не хронологическими, а скорее этнографическими и другими причинами.

Признавая связь искусства с экономическим базисом и общественными отношениями, исследователи зачастую эту связь все же недооценивают, увлекаясь выявлением внешнего, формального сходства в памятниках древнего изобразительного искусства огромных территорий. Они делают лишь слабые попытки выявить их различия и специфику, увязать эти памятники с конкретными археологическими и этнографическими материалами рассматриваемых областей. Именно аналогии, иногда далекие и малоубедительные, не раз служили ключом к решению таких важнейших вопросов, как датировка рисунков, их древний смысл, назначение и др.

На петроглифы Карелии, например, не раз распространялись общие характеристики, плохо согласующиеся с местным материалом. Нередко встречаются утверждения, что наиболее часто на скалах Карелии воспроизводились промысловые звери: лоси, олени, медведи и др.¹⁶ А. П. Окладников, отметив абсолютное преобладание на наскальных изображениях Сибири лося, указывает, что господство одного звериного сюжета обнаруживается у лесных племен Евразии почти повсеместно, в том числе на Урале и даже западнее, в лесной полосе европейской части РСФСР. Мысль о том, что главным объектом творчества палеолитического, мезолитического и неолитического времени были звери, а не люди, неоднократно высказывал А. А. Формозов. Господство промысловых животных он считает характерной особенностью тематики северного неолитического искусства.

На самом деле в наскальных гравюрах Карелии тема зверя отнюдь не господствует, не приходится говорить и о ведущей роли лося (по числу фигур уступающего оленю). В центре внимания древних художников-камнетесов Севера стали другие образы, связанные с жизнью и деятельностью самого человека. Соотношение ведущих сюжетов в основных группах наскальных изображений Карелии можно проследить по приводимой таблице.

Значительным числом во всех группах представлены, кроме того, простейшие фигуры геометризованных очертаний: кружки, линии, овалы и т. д. Лодки, как правило, показаны с экипажами, в них насчитывается около 1000 гребцов, только в лодках Новой Залавруги их 753. Наконец, из числа солярных и лунарных знаков, выделенных В. И. Равдоникасом, 61 фигуру А. М. Линевский относит к категории капканов.

Нельзя сказать, чтобы своеобразие карельских петроглифов не было замечено вовсе. Предпринимались даже попытки его объяснения. Так, А. А. Формозов писал, что эти памятники 2 тысячелетия до н. э. «...во многом отражают влияние скандинавских культур эпохи раннего металла. Поэтому они имеют сложный характер и весьма далеки от примитивных, близких к палеолитическим наскальным изображениям сибирских культур, сохранивших в неолите целиком охотничий характер и не испытавших воздействия более высоких по уровню обществ»¹⁷.

В последующих работах усложнение искусства эпохи неолита, энеолита и бронзового века (по сравнению с палеолитическим) исследова-

¹⁶ Н. Н. Гурина, Мир глазами древнего художника Карелии, Л., 1967, стр. 23; А. П. Окладников, В. Д. Запорожская, Ленские писаницы, М.—Л., 1959, стр. 93; А. П. Окладников, Петроглифы Ангары, стр. 50; А. А. Формозов, Памятники первобытного искусства на территории СССР, стр. 12—16.

¹⁷ А. А. Формозов, Образ человека в памятниках первобытного искусства с территории СССР, «Вестник истории мировой культуры», 1961, № 6, стр. 107, примечание.

тель объясняет прежде всего влиянием классического Востока, которое ярче всего будто бы выявляется в петроглифах. Это воздействие, по мысли А. А. Формозова, было настолько значительным, что «...близкие до тождества гравировки и росписи в лесах создавали охотники-рыболовы, а на юге — земледельцы и скотоводы»; в Карелии во 2 тысячелетии до н. э. «...скрещивались и переплетались местные предания каменного века и мифы, заимствованные из передовых культур Юга и Юго-Запада». Образ солнечной ладьи, иллюстрирующий египетский миф, в

Соотношение основных сюжетов в группах наскальных изображений *

Основные сюжеты карельских петроглифов	Онежские петроглифы	Беломорские петроглифы		
		Бесовы Следки	Залавруга	
			старая	новая
Всего фигур	570	300	216	1043
Лодки	28	29	32	390
Люди и антропоморфные фигуры	63	14	71	179
Олени и лоси	40	60	30	57
Медведи, волки и др.	5	20	2	23
Рыбы	6	—	—	1
Морские звери (белухи)	—	46	1	61
Птицы	194	27	1	67
Следы	—	13	15	18
Солярные и лунарные знаки (капканы)	83	—	1	—

* Эта таблица значительно отличается от опубликованной нами ранее (см. Ю. А. Савватеев, *Петроглифы Новой Залавруги*, стр. 153), в которой использованы данные А. М. Линевского (см. его работу «Петроглифы Карелии», Петрозаводск, 1939, стр. 12—31). Таблица, помещенная в этой статье, составлена с учетом данных В. И. Равдоникаса (см. его работу «Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря», М.—Л., ч. I—1936; ч. II—1939), которые несколько расходятся с данными А. М. Линевского. Кроме того, в таблицу включены петроглифы Новой Залавруги, открытые в 1967 г., и рисунки, выставленные в Государственном Эрмитаже и Карельском краеведческом музее (по существу еще не опубликованные).

котором объясняются смена дня и ночи, восход и заход солнца, он находит среди петроглифов Азербайджана, Приамурья, Сибири, Казахстана, Тянь-Шаня, Урала, Карелии. Интересно, что при этом делается ссылка на копию петроглифов Старой Залавруги, где нет и намек на солнечную семантику лодок¹⁸.

А. П. Окладников считает наскальные изображения Северной Европы памятниками древней земледельческой религии, «...имевшей много общего с религиями древних народов Переднего Востока и Египта. В основе ее был культ стихий природы, миф об умирающем и воскресающем божете растительности. Изображения же лодок на петроглифах Скандинавии и Карелии были связаны не столько с охотничьими культовыми обрядами, сколько с древними представлениями о плавании душ умерших в страну смерти на лодках и о путешествии солнца в загробный мир. Лодки эти — лодки умерших. Путь их лежит в страну пред-

¹⁸ А. А. Формозов, *Памятники первобытного искусства на территории СССР*, стр. 41—45, 73.

О связях южных областей с северными А. А. Формозов судит и по другому сюжету — «оригинальным солнечным знакам», которые будто бы «выгравированы и выбиты на камнях в Дагестане, в Крыму и Средней Азии, в Карелии и Швеции» (стр. 43, 44). Но среди беломорских петроглифов таких знаков вовсе нет, а онежские круги и полукругия с двумя-тремя отходящими от них линиями, нередко соединенные на концах поперечной чертой, тоже не относятся к категории солнечных символов. Новых аргументов в пользу такой трактовки не приводится, а доказательства, представленные В. И. Равдоникасом, не убедительны. Скорее это охотничьи капканы и кляпцы, так считает и известный знаток первобытной охоты Н. К. Верещагин (устное сообщение).

ков, в загробную страну — преисподнюю, куда души мертвых идут вслед за уходящим солнцем»¹⁹.

Но считать изображения на скалах Карелии лодок, зачастую соединенных гарпунными ремнями с морскими животными и запечатлевших кульминационный момент охоты, иллюстрацией мифа, рожденного в Египте или Двуречье, — значит впадать в явное заблуждение. Неразрешимыми остаются и причины, побуждавшие древних северян заимствовать чуждые им идеи и отражать эти идеи в такой специфической форме художественной деятельности, как наскальное искусство.

Нам представляется методически неверным сам принцип установления параллелей между разными группами петроглифов лесной полосы Евразии, основанный в лучшем случае на сопоставлении восьми-девяти пар единичных рисунков или простейших композиций и не учитывающий хронологии, стиля и тематики всего комплекса. Именно таким образом «установлено» «единство тематики, а во многих случаях и близкое формальное сходство» между скандинавскими и карельскими петроглифами²⁰, ближайшее сходство «как по сюжетной линии, так и по стилистическим особенностям» петроглифов Карелии и Сибири²¹, а также близость уральских писаниц карельским петроглифам и «по стилю изображений, и по сходству солярных знаков»²². Это равносильно тому, что мы начнем сопоставлять археологические культуры только по одному предмету, например топору. Тогда совсем нетрудно будет установить трансконтинентальные связи в наидревнейшие времена. Точно так же, если петроглифы сопоставлять не по комплексу признаков, а всего лишь по одному признаку или даже по близкому формальному сходству, то можно найти тождественные образы не только в Европе и Азии, но и в Африке, Америке — местах, для того времени не сопоставимых даже географически.

Ничего удивительного во внешнем сходстве (зачастую преувеличенном) отдельных изображений лесной полосы нет. Чаще всего оно — результат конвергенции, отражение определенного единства материального мира, сходной географической среды, следствие общности мировоззрения, стихийно материалистического по своему характеру. Не надо забывать, что наскальные рисунки, неразрывно связанные с плоскостью скалы, дают нам простейшие изобразительные формы, отнюдь не исключаящие целого ряда совпадений. Если присмотреться к гравировкам каждого региона внимательнее, то нетрудно заметить, что в них больше местных особенностей, чем «интернациональных» черт, что они далеко не тождественны. В них отразилось прежде всего мировоззрение лесных охотников и рыболовов.

¹⁹ А. П. Окладников, В. Д. Запорожская, Ленские писаницы, стр. 103; А. П. Окладников, Шишкинские писаницы, стр. 97. В другой работе А. П. Окладников резюмирует ту же мысль следующим образом: «Выходит, что идеи и художественные образы, возникшие в одном конце света, в странах древнейших цивилизаций, у первых земледельцев Востока и Запада, свободно пересекали леса и горные цепи, великие реки и степи Европы и Азии, достигая тех далеких северных областей, о которых не имели никакого понятия ни древние египтяне, ни древние греки.

Начинается подготовленная еще в конце неолита великая мировая экспансия новой культуры: победоносное шествие новой идеологии, нового мировоззрения, истоки которых, быть может, находились не только у земледельческих племен Скандинавии, но и в стране пирамид и в Двуречье» (см. А. П. Окладников, Олень золотые рога, М. — Л., 1964, стр. 86—87).

²⁰ К. Д. Лаушкин, Онежское святилище, ч. I — «Новая расшифровка некоторых петроглифов Карелии», «Скандинавский сборник», IV, Таллин, 1959, стр. 90—91; В. И. Равдоникас, Указ. раб., стр. 10.

²¹ Д. Г. Савинов, Наскальные изображения Центральной Азии и Южной Сибири (Некоторые общие вопросы изучения), «Вестник Ленинградского ун-та», № 20, серия истории, языка, лит-ры, вып. 4, 1964, стр. 142—143.

²² А. А. Формозов, Наскальные изображения Урала и Казахстана эпохи бронзы и их семантика, стр. 175.

Основным источником развития северного петроглифического искусства служили не внешние влияния, а в первую очередь все усложнявшаяся местная общественно-трудовая практика, идеология, то новое, что появлялось в ней, и вдохновляло древних художников. На скалах Беломорья, например, необычайно ярко отражен морской промысел — новая отрасль хозяйства в крае, сильно окрашенная эмоционально. Значительное воздействие на развитие петроглифов Беломорья оказало, по-видимому, древнее устное народное творчество. На скалах графическими средствами запечатлено немало легенд, преданий, мифов. Привлекает внимание множество бытовых подробностей, образно характеризующих материальную культуру и занятия древних обитателей края. Однако не все отрасли хозяйства отражены в рисунках с одинаковой полнотой. В них почти не запечатлены рыболовство и собирательство — области повседневной трудовой деятельности, не связанные со сколько-нибудь сильными впечатлениями и переживаниями. Напротив, о морской и лесной охоте древние художники рассказывали довольно часто.

Отстаивая идею самой тесной связи петроглифов с общественно-трудовой практикой их творцов, мы вовсе не снимаем вопроса о роли диффузии в распространении и развитии рисунков, которая, однако, не была определяющей. Нельзя считать, например, петроглифы Карелии результатом культурного заимствования из Средней Азии (мнение В. А. Городцова)²³ или из Скандинавии (мнение А. А. Спицына)²⁴. Сыграли ли роль в их появлении какие-то внешние импульсы, пока сказать трудно. Но отчетливо выступает своеобразие петроглифов, позволяющее выделять на территории Карелии особый очаг наскального искусства, возникший, возможно, самостоятельно и затем прошедший своеобразную эволюцию. Конечно, в них встречаются также изображения, внешне сходные и со скандинавскими и с сибирскими (в меньшей мере). Часть из них появилась конвергентно, другая — отражает какие-то духовные контакты, особенно отчетливо прослеживаемые по сходству оригинальных сочетаний фигур. Например, в XVI группе петроглифов Новой Залавруги имеется изображение лодки с пятью или шестью гребцами, которую снизу поддерживают три человека. Близкая аналогия ему есть в петроглифах Швеции, где встретился тот же сюжет: лодка с пятью или шестью гребцами (руки у них подняты), которую снизу, с кормы и носа, поддерживают два человека²⁵. За такими сценами может скрываться и сходное содержание.

Петроглифы северной Норвегии, северной Швеции и Карелии можно отнести к реалистическому наскальному искусству. Появление и распространение его у охотничье-рыболовецких племен Северной Европы является, по-видимому, следствием давних палеолитических традиций, известной общности мировосприятия, наконец, исторической закономерности, вызывающей на стадии присваивающего охотничье-рыболовецкого хозяйства сходные формы духовной жизни и ее проявлений.

Но процесс стилизации и схематизации, особенно заметный в искусстве более южных областей, коснулся и реалистического в своей основе северного искусства. Он вызван многими причинами, прежде всего развитием самого искусства, выражающего все более сложные идеологические представления. Каких-либо строгих закономерностей в развитии той и другой линии пока выявить не удастся, хотя общая тенденция как будто заключается в постепенном переходе от реалистических изображений к стилизованному, сильно схематизированному фигурам. Но

²³ В. А. Городцов, Скальные рисунки Тургайской области, «Труды Гос. Исторического музея», вып. 1, Разряд археологический, М., 1926, стр. 62.

²⁴ А. А. Спицын, Олонекские петроглифы, «Сборник Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народов», т. 1, Л., 1929, стр. 51.

²⁵ В. Almgren, Bronsåldersproblem i Norden, «Tor», vol. X, 1964, s. 156, fig. 5.

нередко оба направления как бы сосуществуют: наряду с прекрасными реалистическими изображениями и сценами присутствуют слабые с эстетической точки зрения, неумело выбитые рисунки. Существенную роль играли и индивидуальные особенности художников, среди которых были и талантливые, и посредственные мастера. Иначе как индивидуальными склонностями трудно, пожалуй, объяснить, что в одном случае гребцов в лодках Залавруги изображали реалистически, с выделением всех основных частей тела, в других — весьма условно (столбиками, перпендикулярными краю борта).

Важно, на наш взгляд, установить и художественные, эстетические достоинства древних изображений. Но сделать это не так просто, на этот счет высказываются весьма противоречивые суждения. Одни дают высокую оценку их эстетическим достоинствам, другие таких достоинств не замечают вовсе, считая выбивание петроглифов разновидностью обычной утилитарной трудовой деятельности. Мы далеки от мысли отождествлять высечение рисунков с художественной деятельностью в полном, современном смысле этого слова. Но искусствоведческий аспект в их изучении может и должен присутствовать. Не нужно преувеличивать эстетических свойств петроглифов, но нельзя и не замечать их. Они присутствуют и в карельских петроглифах, но воспринимаются по-разному. В. И. Равдоникас не раз отмечал высокое мастерство древних художников-камнетесов²⁶. А. А. Формозову же карельские петроглифы показались слабыми с эстетической точки зрения. Даже одну из лучших сцен Новой Залавруги — многофигурную композицию коллективной охоты на лосей по насту, переданную, на наш взгляд, с большим художественным вкусом (см. рис. 2), необычайно детализированную, динамичную, он считает очень обобщенной, очень схематизированной композицией²⁷.

Утверждая, что проблемы композиции не беспокоили художника каменного века, А. А. Формозов ссылается на наскальные изображения Карелии: «Беломорские петроглифы перенасыщены фигурами людей, птиц, лосей. Им до того тесно, что, кажется, и дышать нечем. Подобная боязнь пространства, стремление заполнить его во что бы то ни стало сказывается в зодчестве древнего Востока»²⁸. Но «перенасыщенность» и безразличие к композициям как раз не характерны для петроглифов Беломорья. «Тесно» только рисункам в группе Бесовы Следки и то потому, что площадь обнаженной скалы здесь очень мала. Подавляющее же большинство наскальных гравюр Беломорья размещено свободно, отдельными группами, на наиболее выигрышных зрительно участках скал. Здесь очень мало случаев перекрывания одних фигур другими.

Петроглифы Залавруги отличает композиционная сложность (большинство рисунков здесь входит в композиции), необычно подробная разработка сюжетов. Они не утратили многих достоинств палеолитического искусства. Надо заметить, что исследователи далеко не закончили работу по выявлению композиций в памятниках наскального искусства.

²⁶ В. И. Равдоникас, Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря, ч. I — 1936, ч. II — 1939.

²⁷ А. А. Формозов, Камень «Щеглец» близ Нозгорода и камни-«следовики», стр. 137; его же, Памятники первобытного искусства на территории СССР, стр. 24, 33, 69, 75.

Исследователь неоднократно отмечает высокое мастерство верхнепалеолитического художника, его «мудрость и наблюдательность», «свежесть восприятия». Однако бедность палитры будто бы снижает выразительность творений верхнепалеолитических художников: «... и как ни выразительны создания палеолитического человека, рассматривая их, чувствуешь, что тебе недостает какого-нибудь синего пятна, вроде плаща у ангела на рублевской «Троице» или пейзажа в окнах «Мадонны Литта» (стр. 33). Это тоже очень субъективное восприятие первобытных творений.

²⁸ А. А. Формозов, Памятники первобытного искусства на территории СССР, стр. 52.

Часто их отыскивают лишь по наличию зримой связи между двумя или более фигурами. Нам же кажется, что нередко композиции можно усматривать и там, где такая связь отсутствует, но она подразумевалась древними художниками.

Карельские рисунки не следует называть однообразными, равновеликими, неверно, что они лишены «не только ландшафтного, но и какого-либо другого фона». На гранитных полотнах Карелии появляется уже линия земли (лыжни, тропы, цепочки следов, изображения реки). Нельзя распространять на них и другое наблюдение А. А. Формозова, согласно которому «первобытный человек нисколько не заботился о сохранности старых гравировок и даже о том, чтобы хорошо были видны его собственные творения»²⁹. Напротив, такое желание в рисунках выражено весьма отчетливо. Эстетическое начало в лучших петроглифах Карелии настолько ощутимо, что отрицать или недооценивать его вряд ли возможно.

Предметом дискуссии должна стать и еще одна наиболее сложная, на наш взгляд, проблема наскального искусства — выяснение древнего смысла и назначения изображений. Известно, что «...для наших далеких предков гравировки и росписи на скалах были не пустой забавой, а частью тайных, сокровенных религиозных церемоний, без которых первобытный человек не мыслил благополучия своей общины»³⁰. Однако что это были за церемонии, какие конкретные цели они преследовали, все еще остается неясным.

В отношении петроглифов Карелии установлено, что они были древними святилищами, предположительно племенными или даже межплеменными. Но вот о конкретных функциях этих святилищ мнения исследователей сильно расходятся. Не понятным остается и содержание рисунков, расшифровка их еще далека от завершения. В петроглифах видят отражение магии и культа духов — хозяев (А. М. Линевский) или же довольно развитых космогонических представлений (В. И. Равдоникас, К. Д. Лаушкин). А. А. Формозов находит в них и магические сюжеты, и мифологические рассказы.

Ряд авторов и в нашей стране, и за рубежом приходят к выводу, что с позиций магической теории трудно понять даже верхнепалеолитическое искусство³¹.

Совершенно очевидно, что наскальные изображения Карелии непосредственно не предшествовали акту охоты и не заключали его, как это предполагают сторонники магической теории. Рисунки выбивались в основном летом, «использовались» они лишь часть года, сезонно (остальное время находились под снегом или под водой), повествуется же в них о всех временах года, в том числе и о зимнем промысле.

²⁹ А. А. Формозов, Памятники первобытного искусства на территории СССР, стр. 32, 53.

³⁰ Там же, стр. 64.

³¹ В самом деле, если бы охоте действительно всякий раз предшествовали магические обряды, отнимающие много сил и времени (не так просто даже добраться до некоторых рисунков, скрытых в глубине пещер), то их отрицательное влияние на реальную охоту было бы очевидно. В период верхнего палеолита, должно быть, уже понимали, что успех промысла зависел прежде всего от умелой организации и слаженности действий охотников, от их силы и выносливости, от качества орудий охоты. Победу или смерть в «соревновании» с сильным зверем они в большинстве случаев объясняли реальными причинами, их сознание было стихийно-материалистическим.

Скорее всего, между обыденной охотой и посещением пещер не было прямой, неразрывной связи. Появление рисунка вызвано не столько производственными, сколько уже социальными, общественными причинами. По-видимому, они «оформляли», «иллюстрировали» важнейшие обряды общины или группы общин. Не углубляясь в эту сложную и специальную тему, нам хотелось бы обратить внимание лишь на один возможный аспект изучения верхнепалеолитического искусства — ретроспективный, с уровня северного неолитического искусства, развивающего палеолитические традиции. То, что в палеолитическом искусстве находится еще в зачаточном состоянии, в северном неолитическом выражено более ощутимо.

Вряд ли можно всерьез говорить о следах «ранений» рисунков. Не убеждают и этнографические аналогии, взятые из быта австралийцев, пигмеев и других народов. Такие факты, как уничтожение у этих народов изображения после совершения обряда и др., делают прямые сопоставления с ними весьма сомнительными. Не отрицая магической окраски памятников первобытного искусства вообще, мы считаем, что идея промысловой магии не была в них определяющей.

Рассматривая петроглифы Карелии и Сибири, А. А. Формозов высказывает предположение, что «у племен Европейского Севера и Сибири, как и у австралийцев, выработались обряды, призванные увеличить стада диких животных и стаи промысловых птиц». Хотя влияние на петроглифы производственной магии, по его мнению, велико и бесспорно, смысл их был, несомненно, шире. Так, петроглифы Карелии — это уже «...рассказ в рисунках, графическая запись древних мифов». «При первом взгляде на онежские или беломорские петроглифы ясно, что это не просто магические изображения животных и охоты на них, а гораздо более сложный комплекс», — продолжает он³².

Появление этого «сложного комплекса» — следствие развития мировоззрения народа и его искусства. По мере того как росла повествовательная сложность петроглифов, на скалах появлялось все больше новых образов, необходимых для оформления сюжетов. Детализация повествований, в которых основное место отводится человеку, приводит к появлению звериных и человеческих следов, лыжней, деревьев и т. д.

Из существующих расшифровок карельских петроглифов в последнее время предпочтение обычно отдают расшифровкам К. Д. Лаушкина, основанным на использовании «Калевалы» и саамского фольклора. А. А. Формозов тоже считает, что «мифы о движении солнца, о возникновении Вселенной, о стране мертвых и другие важнейшие идеологические представления запечатлены на скалах во 2 тысячелетии до н. э.»³³. Но использовать карело-финский эпос «Калевалу» для расшифровки петроглифов предложенным образом вряд ли возможно. Наскальные рисунки «умерли» очень рано, еще во 2 тысячелетии до н. э., а руны «Калевалы» «родились» в 1—начале 2 тысячелетия н. э. Ни о какой этнической связи творцов двух этих замечательных памятников говорить пока не приходится.

Первобытное искусство хранит еще много тайн и загадок. Чтобы разгадать их, необходимо самое тщательное изучение памятников, максимальное использование местных материалов для уяснения их датировки, смысла, назначения и т. д. Стала очевидной необходимость разумной координации, ибо далеко не все вопросы можно решить на базе единичных памятников или даже памятников целого района. Один из них легче поддаются датировке, в других проще понять смысл и назначение, третьи имеют особое значение для выяснения связей и т. д.

В процессе исследований все яснее становится огромное научно-популярное значение памятников древней человеческой мысли. Тем тяжелее видеть, как разрушаются, а порой даже исчезают эти творения искусства. Одни памятники гибнут в ходе промышленного строительства, другим (их больше) вредят невежественные посетители, покрывающие древние рисунки надписями, инициалами и изображениями — жалкое подражание мастерам древности! Призывы в защиту духовных богатств, доставшихся нам в наследство от давно ушедших поколений,

³² А. А. Формозов, Памятники первобытного искусства на территории СССР, стр. 65, 68, 69, 71.

³³ Там же, стр. 75. Напомним, что К. Д. Лаушкин склонен датировать онежские петроглифы более ранним временем Оленеостровского могильника. См. К. Д. Лаушкин, Онежское святилище, ч. II.

должны, наконец, вылиться в практические мероприятия по строжайшей охране уцелевших культурных ценностей.

Уже сделаны первые шаги к защите памятников искусства в Карелии, Азербайджане и других областях. Нужно шире пропагандировать этот опыт, искать новые решения. Крайне важно и другое — поднять уровень изучения первобытного искусства, дать ему постоянную прописку в тематике археологических и этнографических исследований. Необходимо провести повсеместный учет, картографирование и максимально полную публикацию памятников. Это в значительной степени облегчит задачу создания фундаментальных, обобщающих работ по проблеме первобытного искусства.

S U M M A R Y

The article is intended to make clear the place of the petroglyphs of Carelia among similar archaeological objects of the USSR forest zone. The author considers that before attempting to establish the origin of rock images «on a global historical scale» as we are called upon to do by G. I. Pielikh («Soviet Ethnography», 1968, N 3), each separate cluster should be studied as fully as possible: their chronology, techniques, style, subject matter, artistic merits, contents and purpose. Only after this does a well-founded comparison become possible: this should be based not on a formal similarity but on a whole complex of features. At present similarities between images of various regions (Scandinavia, Carelia, the Ural, Seberia) are often exaggerated, their differences and local peculiarities do not receive due attention.

The study of Carelian petroglyphs including those discovered in 1963—1967 shows that they are distinctive in subject matter (the prevalence of boats and human figures), in techniques (silhouettes and contours), in style (realism, complex composition), in topography, in artistic merit. In Carelia in the 3d—2d millennia B. C. there arose and evolved an independent centre of rock engravings.

Monuments of ancient creative art should not only be more actively and purposefully studied but effective measures should be taken towards their protection.

В. В. Седов

ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ БЕЛОРУСОВ ¹

Верхнее Поднепровье и области современной Белоруссии, как отчетливо свидетельствуют материалы гидронимики и археологии, до прихода славян были заселены балтоязычными племенами. Эти племена не покинули мест своего обитания и постепенно были ассимилированы славянами. Таким образом, этническое и языковое развитие славян Верхнего Поднепровья и смежных с ним областей происходило в условиях воздействия балтского этнического и языкового субстрата. Эти положения, еще совсем недавно принимавшиеся «в штыки», ныне представляются достаточно аргументированными. Во всяком случае, со стороны П. Н. Третьякова они встретили полную поддержку.

В моей статье «К происхождению белорусов»², с которой полемизирует П. Н. Третьяков, было показано, что некоторые элементы культуры верхнеднепровских славян VIII—XII вв., ряд этнографических, антропологических и языковых особенностей белорусов являются следствием взаимодействия пришлого славянского населения с местными балтами. Отсюда неизбежен вывод — формирование белорусской этнолингвистической общности проходило при воздействии на днепро-двинско-понеманскую часть восточного славянства балтского субстрата³.

П. Н. Третьяков возражает против этого заключения. Его основной аргумент: балты расселились на гораздо более широких пространствах, чем их древняя территория, одновременно со славянами, а в некоторых местах (мощинская культура) даже раньше славян. Значит, утверждает П. Н. Третьяков, балты были субстратом не только славян белорусской территории, но и славянского населения других древнерусских земель.

Однако, на мой взгляд, широкое расселение балтов нисколько не мешает предлагаемым выводам о формировании белорусов в условиях взаимодействия славян с балтским субстратом. Так, новгородское цоканье, по всей вероятности, возникло в русских говорах под воздействием финно-угорского субстрата⁴. И если кто-либо из исследователей стал бы возражать против этого на том основании, что финно-угорские пле-

¹ Ответ на опубликованные в журнале «Сов. этнография» статьи П. Н. Третьякова «Восточные славяне и балтийский субстрат» (1967, № 4), В. А. Жучкевича «К вопросу о балтийском субстрате в этногенезе белорусов» (1968, № 1) и М. Я. Гринблата «К происхождению белорусской народности» (1968, № 5).

² «Сов. этнография», 1967, № 2, стр. 112—129.

³ Терминам «балтийский» и «балтский» следует, на мой взгляд, придать разное значение. Балтийский лучше употреблять для наименований, производных от Балтийского моря. Например, балтийские славяне (они не имеют никакого отношения к балтам), балтийская археология (Конгресс балтийской археологии в Риге 1930 г., Балтийский сборник исследований по археологии, Балтийский подготовительный комитет 1914 г. и т. п.), балтийская этнографо-антропологическая экспедиция. Язык же балтов целесообразнее называть балтским. Сочетание четырех согласных обычно для русского языка (например, антский, куршский, вепсский, удмуртский, пермский, петербургский и т. п.).

⁴ С. Б. Бернштейн, Еще раз о происхождении русского цоканья, «Romanoslavica», X, București, 1964, стр. 191, 192.

мена занимали более широкую территорию, чем ареал русского цоканья, никто бы не признал это возражение серьезным. Ибо при изучении происхождения русского цоканья нельзя не учитывать разнородности финно-угорского субстрата на русской территории, факта заселения севернорусских земель разными славянскими племенами и прочие условия.

В равной степени при изучении вклада балтского субстрата в этногенез восточных славян необходимо считаться с совершенно различными условиями, в которых протекали этногенетические процессы на белорусской и русской землях. Белорусская этнолингвистическая территория с самой отдаленной древности, доступной лингвистическому анализу, и до расселения славян была занята балтами, а севернорусские земли в древности принадлежали финно-угорским племенам. Финно-угры, так же как и балты, в процессе славянского расселения оставались на местах своего обитания, некоторое время жили в инородном окружении и в конце концов растворились в славянской среде. Следовательно, финно-угры были одним из субстратных компонентов при формировании северной группы восточного славянства.

Различия между белорусской и севернорусской этнолингвистическими территориями постоянно и ярко обнаруживаются в археологических материалах. В эпоху раннего железа в области формирования белорусов (или иначе — в восточной части древнего балтского ареала) были распространены близкие между собой культуры штрихованной керамики, днепро-двинская, юхновская, верхнеокская и несколько своеобразная милоградская. Их балтская атрибуция не вызывает сомнений. Все эти верхнеднепровские культуры значительно отличаются от синхронных древностей финно-угорского населения — культуры текстильной керамики (рис. 1).

В первой половине 1 тысячелетия н. э. балты несколько расширяют свою территорию в северо-восточном направлении, колонизируя западные районы Волго-Окского междуречья. Однако балты не вытесняют финно-угров, а расселяются в их среде. Об этом говорят данные гидронимики и археологии — в западной части междуречья Волги и Оки имеются названия и балтского, и финно-угорского происхождения⁵, а в культуре москворецких городищ 1 тысячелетия бесспорны финно-угорские элементы⁶. В середине и третьей четверти 1 тысячелетия вся область будущего формирования белорусов представлена памятниками типа Тушемли — Банцеровщины — Колочина (рис. 2), генетически связанными с более ранними балтскими древностями. В западной части Волго-Окского междуречья, там, где балты смешались с финно-уграми, получает распространение мошинская культура, заметно отличающаяся от синхронных верхнеднепровских древностей. Финно-угорские элементы здесь налицо. Е. И. Горюнова справедливо отмечает, что формы керамики Шанькова и Почепка весьма разнообразны и среди них имеются такие, которые обнаруживают связь с глиняной посудой синхронных финно-угорских поселений и могильников восточной части междуречья Волги и Оки⁷. В связи с этим Е. И. Горюнова считает мошинское население местным. Даже позднее, в древнерусское время, в западных районах Волго-Окского междуречья наряду с балтскими элементами выступают и финно-угорские (рис. 3). Следовательно, здесь можно говорить о балто-финно-угорском субстрате, а не исключительно балтском. И это обстоятельство не могло не повлиять на диалектное и языковое членение восточного славянства.

⁵ В. В. Седов, Из гидронимики Волго-Окского междуречья, сб. «Питания ономастики», Київ, 1965, стр. 284—290.

⁶ А. Ф. Дубынин, Троицкое городище Подмоскovie, «Сов. археология», 1964, № 1, стр. 178—198; И. Г. Розенфельдт, Щербинское городище, там же, стр. 165—177.

⁷ Е. И. Горюнова, Этническая история Волго-Окского междуречья, М., 1961, стр. 212.

Что касается более северных и восточных областей древнерусской территории, то там вообще нет никаких оснований говорить о балтском субстрате. До славянского расселения Новгородчина, Ярославское Поволжье и Ростово-Суздальская земля безраздельно принадлежали финно-угорскому населению. Древнерусское население этих областей формировалось при воздействии финно-угорского субстрата. Правда, как

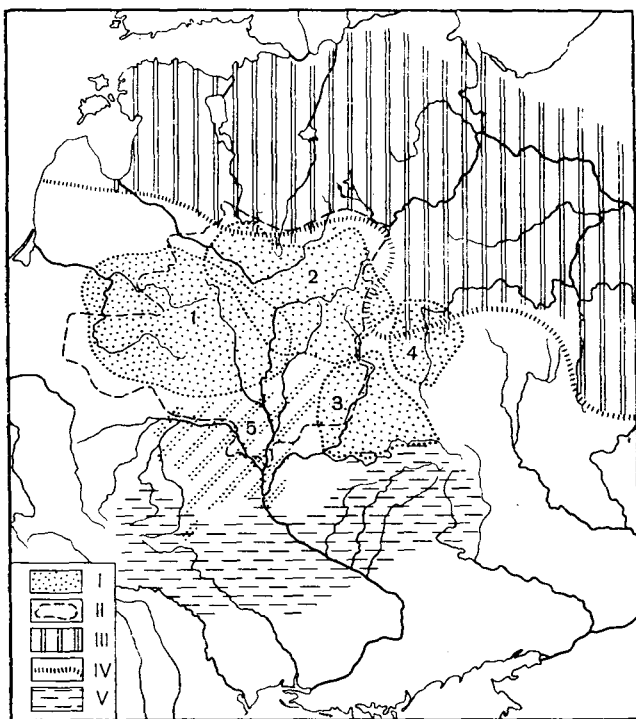


Рис. 1. Балты, финно-угры и скифы в эпоху раннего железа

I — ареалы восточнобалтских культур (1 — культура штрихованной керамики; 2 — днепро-двинская; 3 — юнновская; 4 — верхнеокская; 5 — милоградская); II — граница белорусской этнолингвистической территории; III — культура сетчатой керамики (ареал финно-угорских племен); IV — южная граница ареала финно-угорской гидронимии; V — скифские лесостепные культуры (ираноязычные племена)

свидетельствуют археологические материалы, в частности положенные в основу моих карт (см. статью «К происхождению белорусов»), славянское население, продвинувшееся в северо-восточные и северные области Древней Руси из верхнеднепровских территорий, было уже отчасти метисным. В составе колонистов были и славяне, и славянизированные балты, и, вероятно, балты, не успевшие раствориться в славянской среде. Однако участие балтского компонента в славянской колонизации не дает права для заключения о формировании севернорусов при воздействии балтского субстрата.

Летопись сообщает, что в конце X в. киевский князь Владимир основывал новые поселения на Суле, Стугне, Трубеже, Остре и Десне, направляя туда переселенцев с севера — славян и чудь⁸. Это отражено и в археологических материалах. Разве на этом основании можно говорить о финно-угорском субстрате в Левобережной Украине? Славянское

⁸ «Повесть временных лет», т. I, М.—Л., 1950, стр. 83.

население, колонизовавшее зауральские земли, до этого впитало в себя в той или иной степени и финно-угорские, и балтские, и иранские этнические элементы, но никто не станет в связи с этим писать о балтском субстрате в населении Сибири или о финно-угорском субстрате на Дальнем Востоке.

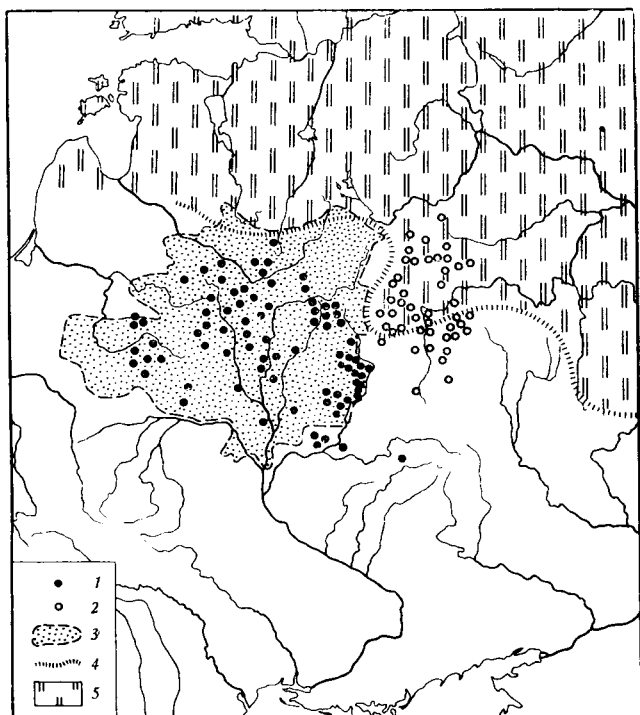


Рис. 2. Балты и финно-угры накануне славянского расселения.

1 — памятники типа Тушемли — Банцеровщины — Колочина; 2 — памятники мощинской культуры; 3 — белорусская этнолингвистическая территория; 4 — южная граница ареала финно-угорской гидронимии, 5 — ареал финно-угорских племен в эпоху раннего железа

Субстратом языковым принято называть язык такой этнической группы, который в условиях внутрирегионального контактирования был побежден языком пришлого населения. Субстрат этнический — та этническая группа, которая в результате просачивания на ее территорию другого народа подверглась ассимиляции. Субстратным по отношению к славянам севернорусских земель было не балтское, а финно-угорское население.

Роль балтского компонента в формировании славянского населения северных и северо-восточных земель древнерусского государства была незначительной. Нужно иметь в виду, что составленные мною карты балтских элементов в древнерусских курганах отражают только их распространение. Они отнюдь не показательны для определения роли балтов в этногенезе славянского населения тех или иных районов Восточной Европы. Например, такие памятники, как Заславль (Минская область) и Кирьяново (Верхнее Поволжье), обозначены на картах одинаковыми значками. Между тем в первом пункте из 52 исследованных курганов погребения с балтскими элементами встречены в 29⁹, а на 59

⁹ А. Н. Ляўданскі, Археалягічныя раскопкі ў м. Заслаўі Мінскай акругі. «Працы катэдры археалёгіі Беларускай Акадэміі навук», т. I, Менск, 1928, стр. 1—92.

раскопанных курганов в Кирьянове приходится только одно захоронение с балтскими особенностями¹⁰. Если бы это отразить на картах, то всю белорусскую этнолингвистическую территорию пришлось бы покрыть сплошным черным пятном. Наоборот, в Новгородской и Ростово-Суздальской землях подобных балтизмов мало и они обычно теряются среди

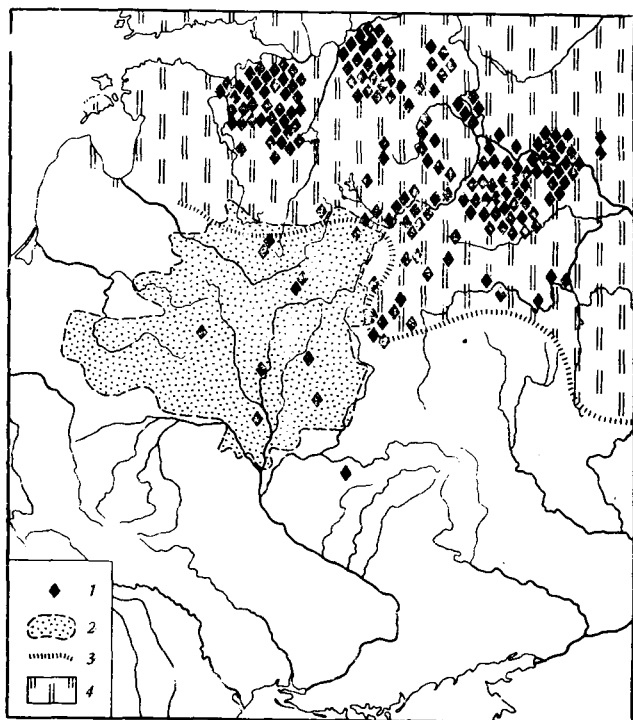


Рис. 3. Финно-угорские элементы в древнерусских курганах.

1 — курганные могильники с финно-угорскими элементами; 2 — белорусская этнолингвистическая территория; 3 — южная граница ареала финно-угорской гидронимии; 4 — ареал финно-угорских племен в эпоху раннего железа

весьма многочисленных финно-угорских элементов. П. Н. Третьяков, пытаясь показать распространенность балтского элемента здесь, пишет: «Жаль, что мы не можем сказать, сколько погребений с восточной ориентировкой имелось в 7000 курганов, раскопанных А. С. Уваровым и П. С. Савельевым...» (стр. 117). Однако в изданных А. С. Уваровым «Выписках из дневников 1851—1854 гг.» западная ориентировка указана для 3288 погребений, северная (т. е. финно-угорская) — для 285, восточной ориентировки нет вовсе¹¹. Об этом же сообщает А. А. Спицын в работе, посвященной владимирским курганам: «Скелеты лежат головой на З., за весьма редкими исключениями. Именно попадает положение головой на С.»¹². Что касается вещевого материала ростово-суздальских курганов

¹⁰ А. И. Кельсиев, Отчет о раскопках, произведенных им в Ярославской и Тверской губерниях, «Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», т. XXXI, М., 1878—1879, стр. 298—302.

¹¹ А. С. Уваров, Меряне и их быт по курганным раскопкам, «Труды Первого археологического съезда», т. I, М., 1871, стр. 788—847. Направление остальных погребенных не определено, так как кости их скелетов сгнили.

¹² А. А. Спицын, Владимирские курганы, «Известия Археологической комиссии», вып. 15, СПб., 1905, стр. 99.

нов, исследованных А. С. Уваровым и П. С. Савельевым, то их славяно-мерянский облик представляется вполне очевидным.

Участие балтского этнического компонента в освоении севернорусских земель отражено в языковых материалах. В статье «К происхождению белорусов» было замечено, что характернейшая черта белорусского консонантизма — дзеканье и цеканье, кроме собственно белорусских

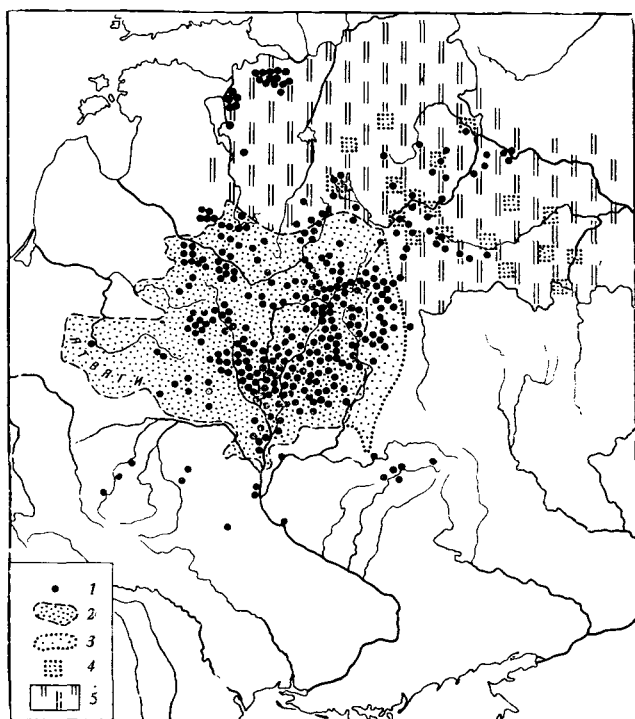


Рис. 4. Балтские элементы в древнерусских курганах
1 — курганные могильники с балтскими элементами; 2 — белорусская этнолингвистическая территория; 3 — говоры, переходные к южновеликорусским на белорусской основе (по карте Московской диалектологической комиссии); 4 — районы распространения дзеканья на территории русских говоров; 5 — финно-угорская субстратная территория

земель, зафиксирована в ряде пунктов Псковской земли и в Волго-Окском междуречье. Картография этой фонетической особенности весьма показательна — ее распространение на русской территории в значительной степени совпадает с теми районами, где в материалах древнерусских курганов выявляется более или менее крупная концентрация балтизмов (рис. 4). Следовательно, присутствие балтских элементов в ряде курганов севернорусских территорий несколько не ослабляет аргументацию происхождения белорусского дзеканья и цеканья из межъязыкового взаимодействия славян с балтами.

П. Н. Третьяков считает, что у вятичей балтский субстрат был более сильный, чем у радимичей и дреговичей. Но такое утверждение нуждается в основательной аргументации. Если обратиться к вятическим курганным древностям, то в них нельзя найти материалов, свидетельствующих в пользу этого тезиса. Не свидетельствует о наличии балтского субстрата у вятичей и догадка П. Н. Третьякова о происхождении семилопастных височных колец вятичей от серповидных украшений с трапецевидными привесками. Последние действительно встреча-

ются у балтов, но только на территории, где вятичи никогда не жили (от Литвы до Смоленска). Предположение П. Н. Третьякова об эволюции этих украшений покоится исключительно на некотором внешнем сходстве их. Но даже если признать это предположение убедительным, его нельзя использовать для утверждения, что у «вятичей балтийский субстрат был, быть может, более сильный, чем у радимичей и дреговичей» (стр. 15). В. И. Сизов, сопоставляя орнамент семипопастных колец с арабской орнаментикой, пришел к выводу о происхождении вятичских височных украшений под арабским влиянием¹³. Наблюдения Б. А. Куфтина как будто подтверждают этот вывод¹⁴. А. В. Арциховский в связи с этим писал: «Мысль об арабском происхождении этих украшений является, по-видимому, плодотворной...»¹⁵. Об арабско-иранском происхождении семипопастных височных колец вятичей пишет и Б. А. Рыбаков¹⁶. Значит ли это, что вятичи сформировались на арабском субстрате? Безусловно, нет.

Тезис П. Н. Третьякова о том, что некоторые части Среднего Поднепровья и других южных древнерусских областей были заселены славянами, смешавшимися с балтами и «в той или иной мере уже поглотившими балтийский субстрат», основывается исключительно на его же гипотезе. Согласно этой гипотезе, левобережье Среднего Поднепровья и области между нижним Днестром и Днестром заселялись славянами с севера из верхнеднепровского бассейна¹⁷. Однако это предположение не встретило поддержки в археологической литературе. Материалы весьма убедительно показывают, что исходные данные гипотезы П. Н. Третьякова — членение верхнеднепровских древностей третьей четверти I тысячелетия на две части: северную — балтскую и южную — славянскую, являются искусственными¹⁸. Мне уже приходилось писать, что гипотеза П. Н. Третьякова находится в противоречии со всем комплексом данных, которыми располагает археология¹⁹.

Из всего сказанного можно сделать единственный вывод. Формирование славянского населения белорусской территории протекало в своеобразных условиях, заметно отличающихся от условий формирования славян других областей Древней Руси.

Существенного значения для решения проблемы этногенеза белорусов время проникновения славян в области верхнеднепровского бассейна не имеет. Что же касается времени завершения ассимиляции днепровских балтов, то эта дата (первые века 2 тысячелетия н. э.) вполне определенно устанавливается надежными лингвистическими критериями²⁰. Она согласуется и с археологическими данными²¹. Русские летописи не сообщают этнонимов верхнеднепровских балтов, видимо, потому, что самостоятельных неславянских племен к моменту составле-

¹³ В. И. Сизов, О происхождении и характере курганных височных колец преимущественно так называемого московского типа, «Археологические известия и заметки», М., 1895, № 6, стр. 177—188.

¹⁴ Б. А. Куфтин, Материальная культура русской мешеры, М., 1926, стр. 92.

¹⁵ А. В. Арциховский, Курганы вятичей, М., 1930, стр. 48.

¹⁶ Б. А. Рыбаков, Ремесло Древней Руси, М., 1948, стр. 106, 107.

¹⁷ П. Н. Третьяков, Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, М.—Л., 1966, стр. 254—273.

¹⁸ И. П. Русанова, Славянские памятники второй половины I тысячелетия н. э. на северо-западе Украины и юге Белоруссии, сб. «Древности Белоруссии», Минск, 1966, стр. 183—192.

¹⁹ В. В. Седов, Рецензия на кн. П. Н. Третьякова «Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге» (М.—Л., 1966), «Сов. археология», 1967, № 3, стр. 312, 313.

²⁰ M. Vasmer, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropes: tl. 2 — Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slavischen Ländern. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Heft XVIII, Berlin, 1934, S. 364; В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, М., 1962, стр. 173.

²¹ В. В. Седов, Следы восточнобалтийского погребального обряда в курганах древней Руси, «Сов. археология», 1961, № 2, стр. 121.

ния летописей здесь уже не было, а совсем не потому, что балты были ассимилированы славянами еще в I тысячелетии н. э., как это представляется П. Н. Третьякову.

Необходимо сказать несколько слов в защиту гидронимических границ древних балтов. П. Н. Третьяков упрекает меня в том, что они проведены по крайним точкам и даже кое-где с некоторым «запасом». То же повторяет и В. А. Жучкевич. Это неверно. Во всех случаях границы древнего балтского ареала проведены с учетом господства среди субстратных названий гидронимов балтского происхождения. «Крайние точки», т. е. наиболее отдаленные балтские гидронимы, остались далеко за пределами очерченного мною балтского ареала²². П. Н. Третьяков возражает против отнесения к балтской гидронимической территории части Припятского Правобережья, так как никаких древностей балтов I тысячелетия будто бы здесь нет. Но ведь гидронимическая карта совсем не зависит от археологического материала. Ни один исследователь не в праве изменять гидронимические ареалы, если они расходятся с археологическими! В. Н. Топоров и О. Н. Трубаев при исследовании верхнеднепровской гидронимики отметили свыше 20 водных названий балтского происхождения. Экспедиционные исследования киевских топонимистов, произведенные позднее, выявили в Украинском Полесье как новые топонимические балтизмы, так и следы балтского словообразования на славянском ономастическом материале. Стало очевидным, что районы Украинского Полесья являются южной периферией балтов, или, иными словами, южной окраиной балтского топонимического ареала²³. Анализ среднеднепровской гидронимики, недавно выполненный О. Н. Трубаевым, показал, что балтские водные названия в правобережной части Поднепровья встречаются значительно южнее Припяти до поречья Тетерева и верховьев Горыни и Случи²⁴.

Жаль, что П. Н. Третьяков не говорит, чем его не удовлетворяет карта распространения белорусского языка в начале XX в., составленная Е. Ф. Карским. Меня П. Н. Третьяков относит к числу балтских патриотов, а Е. Ф. Карского, видимо, считает белорусским патриотом, произвольно увеличившим ареал белорусской лингвистической территории. Между тем карта Е. Ф. Карского обоснована серьезными лингвистическими критериями, которые до сих пор не отвергались специалистами. Еще в 1902 г. этот исследователь отметил целый ряд собственно белорусских языковых особенностей, неизвестных соседним народностям²⁵. Картография белорусизмов и послужила основой при определении территории распространения белорусского языка для начала XX в.²⁶.

²² Таковы, например, Локня и Ромен (притоки Сулы) и приток Воркслы Полтавка в Среднем Поднепровье (О. С. Стрижак, *Назви річок Полтавщини*, Київ, 1963), Локня, Лоша, Уша, Велия, Вобля, Ратужа, Курша и Цна в рязанском течении Оки (В. В. Седов, *Рязанско-окские могильники*, «Сов. археология», 1966, № 4, стр. 103, 104), Тосна, Валдай, Бологое, Цна в Новгородской земле (Е. М. Поспелов, *О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике*, «Вопросы языкознания», 1965, № 2, стр. 29, 30).

²³ А. П. Непокупный, *Словосложение как балтийский элемент в топонимии Украинского Полесья*, «Конференция по топонимике северо-западной зоны СССР. Тезисы докладов и сообщений», Рига, 1966, стр. 100—102; его же, *Балтійські елементи в географічних назвах України*, Київ, 1968.

²⁴ О. Н. Трубаев, *Названия рек Правобережной Украины*, М., 1968, стр. 284, 285.

²⁵ Е. Ф. Карский, *К вопросу об этнографической карте белорусского племени*, СПб, 1902.

²⁶ Е. Ф. Карский, *Этнографическая карта белорусского племени*, Пг., 1917. П. И. Кушнер, не подвергая критике лингвистическую основу карты Е. Ф. Карского, подчеркнул, что она не отражает современной этнической границы белорусов, устанавливаемой по данным переписей 1897 и 1926 гг. Однако составленная П. И. Кушнером карта на основе переписи населения 1926 г., на мой взгляд, лишь подтверждает карту

На диалектологической карте восточнославянских языков, составленной в итоге многолетних исследований Московской диалектологической комиссии, ареал белорусского языка весьма близок к территории, очерченной крупнейшим белорусоведом²⁷.

Правда, говоры Смоленщины и Брянщины ныне уже не являются белорусскими. Начиная с XVI в. они испытали сильное влияние русских говоров, сопровождаемое инфильтрацией русского населения²⁸. Однако белорусская основа этих говоров не подлежит сомнению²⁹. На вопрос о том, какой картой должен руководствоваться исследователь белорусского этногенеза — картой распространения белорусского языка в XIX — начале XX в. или современной политической картой Белорусской ССР, может быть дан лишь один ответ. Для решения проблемы происхождения белорусов важнее этнолингвистическая карта начала XX в. и более раннего времени.

П. Н. Третьяков полагает, что не все балтские элементы, обнаруживаемые в древнерусских курганах Белоруссии, субстратны по происхождению. Какая-то часть их могла быть следствием контактов верхнеднепровского населения с балтскими племенами Прибалтики. Такая мысль сама по себе представляется вероятной. Однако она нуждается в аргументации. Ведь верхнеднепровские вещи, которые относятся к балтским по происхождению, обычно не идентичны прибалтийским. Прибалтийский импорт по вполне понятным причинам не может быть включен в число балтских субстратных элементов, что в статье «К происхождению белорусов» оговорено специально. Что касается инфильтрации балтского населения из прибалтийских областей в Поднепровье, то она, судя по археологическим материалам, была ничтожной, П. Н. Третьяков пишет: «Возьмем восточнолитовские средневековые древности: разве там не встречаются вещи древнерусского происхождения? Их там немало. Можно составить карту распространения древнерусских элементов в средневековых памятниках ятвягов и литовцев. Она будет достаточно плотной, но, глядя на нее, никто не скажет, что эти элементы — наследие славянского субстрата!» (стр. 117). Это — ошибочное представление. В восточнолитовских курганах нет ни одного погребения, совершенного по славянским обрядам. В вещевой коллекции этих курганов нет ни одного типично восточнославянского украшения³⁰. Материалы городских поселений при этом, как и в области Верхнего Поднепровья, лучше оставить в стороне, так как население городов обычно имеет пестрый племенной состав. Латгальские могильники также не обнаруживают славянских элементов. Например, в Нукшинском могильнике все мужские захоронения имеют восточную (неславянскую) ориентировку, а женское убранство настолько своеобразно, что не может быть и речи о славянском происхождении какой-либо детали костюма³¹. Археология не дает ни малейшего повода для предположения о славянском субстра-

Е. Ф. Карского — на Смоленщине и в Брянщине вплоть до восточной границы белорусского языка, по Е. Ф. Карскому, имеются многочисленные следы белорусского населения. См.: П. И. Кушнер (Кнышев), Этнические территории и этнические границы, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. серия, т. XV, М., 1951.

²⁷ Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов и Д. Н. Ушаков, Опыт диалектологической карты русского языка в Европе, М., 1915; Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. I, М., 1949.

²⁸ Е. Ф. Карскому это было прекрасно известно. В своих работах он отмечал присутствие большого числа русских поселений в восточной части белорусской этнолингвистической территории.

²⁹ П. А. Расторгуев, Говоры на территории Смоленщины, М., 1960, стр. 184. Наличие белорусизмов отмечается и авторами последнего издания «Русской диалектологии» (М., 1965).

³⁰ А. З. Таутавичюс, Восточнолитовские курганы, сб. «Вопросы этнической истории народов Прибалтики», М., 1959, стр. 128—153.

³¹ «Нукшинский могильник», Рига, 1957. Из 109 мужских захоронений, ориентировка которых была определена, 108 положены головой к востоку (включая СВ и ЮВ). Только одно захоронение имело северо-западную ориентировку (погребение 23).

те в Литве или Латвии. Иное дело — ятвяжские погребения Верхнего Понеманья и Берестейской волости. Здесь в XI — XIII вв. ятвяги жили чересполосно со славянами и подверглись постепенной аккультурации. Поэтому в ятвяжских погребениях обычны славянские находки. Однако последние не субстратного, как пишет П. Н. Третьяков, а суперстратного происхождения. Ведь хорошо известно, что славяне расселились на ятвяжской территории, а не наоборот!

* * *

Статья В. А. Жучкевича посвящена исключительно топонимическому материалу Белоруссии. При изучении этногенеза белорусов данные гидронимики использованы мною для подтверждения двух тезисов: 1) население, занимавшее белорусскую территорию до славянского расселения, было балтоязычным; 2) значительное число балтских названий здесь говорит о том, что в процессе славянского расселения местные балты не покинули места своего жительства, а смешались со славянами и подверглись ассимиляции. Первое положение не вызвало возражений со стороны В. А. Жучкевича. Можно считать вполне доказанным, отмечает исследователь, что на территории Белоруссии действительно сохранились географические названия несомненно балтского происхождения. Однако В. А. Жучкевич неожиданно ограничивает число балтизмов на белорусской территории 40 гидронимами и 250 топонимами. Какими мотивами руководствовался автор, не признавая балтскими сотни бесспорно балтских названий, выявленных весьма авторитетными специалистами? Объяснить это можно двояко: либо В. А. Жучкевичу были недоступны многие топонимические работы по белорусской территории, либо он признал выводы исследователей, работавших до настоящего времени в области белорусской топонимии, неубедительными. Но в последнем случае необходимы доказательства неубедительности прежних исследований, а таковых ни в статье «К вопросу о балтийском субстрате в этногенезе белорусов», ни в каких-либо других работах В. А. Жучкевича нет.

В. А. Жучкевич вовсе не касается тех балтских названий, которые определены К. Бугой. Отсюда нужно заключить, что в его распоряжении нет данных для дискуссии по этим названиям.

В. А. Жучкевич пишет только о некоторых неточностях, допущенных в книге В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева. Можно признать справедливыми его замечания, касающиеся гидронимов Пустомежики, Поджодинки. Но такие мелкие поправки нисколько не ослабляют вывода об обширности в Верхнем Поднепровье гидронимического напластования балтского происхождения, тем более, что со многими замечаниями В. А. Жучкевича трудно согласиться. Так, исследователь полагает, что речное название Весейка происходит от «веси» (село), гидроним Беседь от «беседы» и т. д. Однако на территории Минской губернии совсем нет поселений с названиями типа Веси, а имеются именье Весея и деревни Весея-Кондратовичи и Весея-Слобода, расположенные на берегах р. Весеи-Весейки³². В данном случае представляется бесспорным, что все эти топонимы производны от гидронима. Ошибочно полагать, что гидроним Случь происходит от белорусского «злучина» (русс. «излучина», а Припять — от белорусского «прыпеч» (русс. «опечек»). Эти гидронимы упоминаются в летописях еще до сложения белорусского языка. Их этническая атрибуция не определена окончательно не потому, что исследователи не могли до сих пор подыскать в белорусском или каком-либо еще словаре соответствующих апеллятивов. Такой подбор является всего-навсего реликтом донаучной ономастики.

³² «Список населенных мест БССР», Минск, 1924, стр. 234.

Далее, В. А. Жучкевич предлагает разделить белорусскую территорию на две части — северную и южную, граница между которыми проводится по линии, проходящей через Пружаны, Слуцк, Рогачев, Костюковичи. К северу от этой линии наблюдается большая плотность географических названий балтского происхождения и, как справедливо замечает исследователь, островки балтского населения сохранились здесь в славянском окружении длительное время, в отдельных местах вплоть до последних столетий. Поэтому, конечно, не исключено, что в таких очагах отдельные балтские микротопонимы возникли в эпоху позднего средневековья. В юго-белорусских землях (к югу от линии Пружаны — Слуцк — Рогачев — Костюковичи), по подсчетам В. А. Жучкевича, на соответствующую единицу площади приходится меньший процент названий балтского происхождения. Однако из этого наблюдения вовсе не следует, что балты занимали только северо-белорусские земли и не обитали на юге Белоруссии. На этом основании можно лишь говорить о неодинаковом балтском компоненте в разных областях белорусской территории и ни о чем более. В. А. Жучкевич допускает серьезную ошибку, ограничивая ареал балтской гидронимии только теми областями Белоруссии, где географические названия балтского происхождения составляют около половины и более всех топо-гидронимов³³. Ошибочность этого вывода очевидна хотя бы из такого сравнения. Иранская гидронимика в силу ряда причин лучше сохранилась в днепровском лесостепном левобережье, и хуже — в причерноморских степях³⁴. Однако было бы абсурдным на этом основании ограничивать ареал иранизмов на юге Восточной Европы только днепровской лесостепью.

Кажется, напрасно упрекает меня В. А. Жучкевич в «небрежном отношении к белорусской терминологии». Речь идет о терминах, связанных с белорусским крестьянским строительством и одинаковых с балтскими: «шула» — «столб», «свірон» — «амбар». В. А. Жучкевич замечает, что белорусское «шула» действительно балтского происхождения, но означает оно не столб, а дверной косяк. Это недоразумение³⁵.

* * *

Статья М. Я. Гринבלата, на мой взгляд, показывает слабость позиции тех исследователей, которые полагают, что белорусы как отдельная этнолингвистическая общность сложились вследствие политико-административного членения восточного славянства. Мой оппонент придерживается мнений Е. Ф. Карского и В. И. Пичеты. Какими же фактическими данными из области археологии, этнографии, антропологии, языкознания и истории располагает современная наука для подкрепления этих мнений? Бесспорно, что такие данные были бы самым веским аргументом против положений, высказанных в моей статье. Но оказывается, что таковых нет. М. Я. Гринблат ограничивается общими рассуждениями, не приводя убедительных доказательств в пользу своей точки зрения. В одном месте статьи он говорит о возможности отражения былых племенных особенностей восточных славян при формировании белорусов, но также без какой-либо аргументации.

Наиболее подробно М. Я. Гринблат останавливается на рассмотрении данных этнографии, приведенных в моей статье. Это понятно, ибо мой оппонент является прежде всего специалистом по белорусской этно-

³³ В. А. Жучкевич, Топонимика, Краткий географический очерк, Минск, 1965, рис. 21.

³⁴ См. В. В. Седов, Балто-иранский контакт в Днепровском левобережье, «Сов. археология», 1965, № 4, стр. 53, рис. 1.

³⁵ Белорусское «шула», «шуло» — столб (в строении или ограде), см. «Беларуска-рускі слоўнік», М., 1962, стр. 1030. Дверной косяк по белорусски «вушак». То же отмечает Н. Н. Улащик в своей рецензии на книгу В. А. Жучкевича «Топонимика Белоруссии» (М. Улашчык, Пытанні тапанімікі Беларусі, «Полымя», 1968, № 6). Замечание В. А. Жучкевича относительно славянской основы в белорусском слове «сядзіба» считаю правильным.

графии. М. Я. Гринблат стремится показать, что те элементы из области этнографии, которые мною отнесены к субстратным по происхождению, не субстратны.

1. В моей статье отмечается, что зафиксированное этнографами культовое почитание змей на белорусской территории сохранилось еще от древних балтов, живших здесь до прихода славян. М. Я. Гринблат считает это заблуждением на том основании, что змеи постоянно фигурируют в русских былинах, в русских, украинских и белорусских сказках и даже в летописях. Но спрашивается, какое отношение имеют сказочно-былинные сюжеты о борьбе со змеями, сказочном Змее-Горыныче или летописное предание о смерти Олега, ужаленного змеей в ногу, к культовому почитанию змей? Никакого! Змееборческая тематика восточнославянского фольклора и культовое почитание змей, распространенное среди балтов (и белорусов), — явления полярного характера! В восточнославянском фольклоре змея — злое существо, приносящее много бед человеку, с нею сражаются, ее убивают. У балтов и у славян белорусского этнолингвистического ареала змея (уж) — объект культового почитания, ее держат в жилище, кормят, она является покровителем семьи. Таким образом, первое этнографическое возражение М. Я. Гринבלата основано на недоразумении.

2. В моей статье говорится, что белорусский тип лаптей, распространенный до недавнего времени среди белорусов, восточных литовцев и латышей, возник у насельников болотистых и низменных местностей в глубокой древности еще до славянского расселения. Ареал лаптей белорусского типа соответствует территории расселения восточнобалтских племен до славянской миграции второй половины I тысячелетия. М. Я. Гринблат не согласен с этим. Он, видимо, полагает, что балты до прихода славян ходили босиком, а дреговичи, расселившись в Полесской низменности, «создали нужный им тип обуви» и разнесли его среди кривичей, полочан, радимичей, восточных литовцев и латышей. Каких-либо доказательств в пользу этого предположения М. Я. Гринблат не приводит, да их просто и нет. То, что белорусы называют рассматриваемый тип обуви славянским термином, ни о чем не говорит. В то же время мои обоснования субстратного происхождения лаптей белорусского типа М. Я. Гринблат оставил вне поля зрения.

3. М. Я. Гринблат отрицает возможность субстратного происхождения у белорусов женской несшитой поясной одежды и головного убора-наметки на том основании, что их распространение иногда выходит за пределы древнего балтского ареала, и название наметки бесспорно славянское, а не балтское. В этой связи он пишет: «...Неужели древний балтский ареал достигал районов Рязани, Курска и Харькова...». Между тем на Оку в районе Рязани балты бесспорно проникали³⁶, а земли вокруг современных Курска и Харькова, как известно, после татарского нашествия опустели и были заселены вторично славянами сравнительно поздно. Так что древний балтский ареал здесь не при чем. Несшитая поясная одежда и головной убор типа наметки занесены в районы Курска и Харькова поздними колонистами. Ни одна из карт в «Восточнославянском этнографическом сборнике», на которые ссылается М. Я. Гринблат, не противоречит положениям, высказанным мною в статье «К происхождению белорусов».

Что касается славянской этимологии наметки, то нужно иметь в виду, что название предмета и происхождение этого предмета не всегда равнозначны. Например, сарай для хранения зерна юго-восточные белорусы называют тюркским словом «амбар», а этот сарай не имеет ничего общего с тюркскими постройками. Славянское название того или иного предмета отнюдь не означает, что этот предмет исконно славянский.

³⁶ В. В. Седов, Рязанско-окские могильники.

4. Столбовая техника возведения стен на белорусской этнолингвистической территории действительно восходит к домостроительству древних балтов. М. Я. Гринблат пытается отрицать это, утверждая, что подобная строительная техника известна ранним славянам на территории Польши. Сноску на источник, из которого почерпнуты эти сведения, М. Я. Гринблат не сделал, а между тем это утверждение противоречит фактам. Домостроительство славян накануне их расселения на территории Белоруссии ныне хорошо известно. Для северо-западной части славянства (Польша и северная часть ГДР) были характерны срубные постройки, для остальной части — полуземлянки³⁷. Нет никаких оснований полагать, что столбовая техника строительства была принесена в области Верхнего Поднепровья и Подвинья славянскими колонистами. Утверждение, что столбовая техника возведения стен на белорусской территории уходит корнями в глубокую древность к балтскому домостроительству, вовсе не означает, что подобная техника в Европе была известна только балтам.

М. Я. Гринблат пишет, что белорусское слово «свірон» действительно балтского происхождения, но не субстратного, а результат позднего заимствования. Может быть, это и так, однако в пользу позднего происхождения этого термина отнюдь не свидетельствует назначение свірона. Помещение для хранения зерна появилось у славян Белоруссии значительно раньше включения западнорусских земель в состав Великого княжества Литовского. Распространение в настоящее время термина «свиرون» преимущественно в северо-западных и западных областях Белорусской ССР также не говорит об его позднем происхождении. Балтизмы известны не только на западе Белоруссии, немало их и в восточных районах республики, и даже на Смоленщине. Поэтому невозможно объяснить заимствованием все балтизмы в белорусской лексике.

М. Я. Гринблат признает, что поверья, связанные с камнями, у белорусов действительно балтского субстратного происхождения, но в последнее время они занимали небольшое место в культовых представлениях.

Таким образом, ни одно из этнографических возражений М. Я. Гринблата не приемлемо, ибо они покоятся на недооценке фактических материалов или на недоразумении.

Археологические материалы, свидетельствующие о формировании славянского населения Верхнего Поднепровья и смежных областей в условиях взаимодействия славян с балтами, М. Я. Гринблат не оспаривает. Правда, он высказывает сомнение относительно значительной роли балтского субстрата. Последнее могло быть оправдано, если бы балтизмы в археологических материалах были единичны. На самом же деле они прослеживаются здесь в большом числе и на протяжении нескольких столетий. Странным кажется предложение М. Я. Гринблата видеть в этих балтизмах следы совместного проживания балтов и славян на одной территории, — ведь именно это и утверждается в моей статье. В Верхнем Поднепровье славяне расселились среди балтоязычного населения. Длительное совместное проживание балтов и славян на одной территории (вплоть до XIII в.) привело к ассимиляции первых, к формированию единого славянского населения.

Стремясь показать, что балты не принимали участия в этногенезе белорусов, М. Я. Гринблат пишет, что субстратные элементы, обнаруживаемые мною в археологических материалах, не оставили следа в быту и культуре белорусов. Но так прямолинейно сопоставлять этнографические данные XIX — начала XX в. с археологическими фактами VIII — XII вв. нельзя хотя бы потому, что эти периоды разорваны семью-десятью столетиями. Подобные сопоставления могут привести к абсурд-

³⁷ В. Седов, Вивчення етногенезу слов'ян, «Народна творчість та етнографія», 1967, № 4, (стр. 41—47); в статье даны сноски на соответствующую литературу.

ным выводам. Хорошо известно, что курганные древности радимичей, дреговичей и полочан не имеют следов в быту и культуре белорусов. Однако это вовсе не значит, что древнерусские славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья не принимали участия в белорусском этногенезе.

Напрасно М. Я. Гринблат предлагает расчленить этногенез славян Верхнего Поднепровья и смежных областей на два этапа в зависимости от политической истории этого края — период Древней Руси и период Великого княжества Литовского. Исходя из предположения, что белорусы начали формироваться только после включения западнорусских земель в состав Литовского княжества, он утверждает, что этническая история славян в период Древней Руси не имеет отношения к белорусскому этногенезу. Едва ли с этим можно согласиться. В статье «К происхождению белорусов» отмечалось, что отдельные языковые особенности, ставшие характерными для белорусов, появляются еще в памятниках древнерусской письменности начала XIII в. вне пределов Литовского княжества (договорная грамота Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г.)³⁸. Следовательно, начало формирования белорусского языка уходит корнями в эпоху домонгольской Руси. Напрасно М. Я. Гринблат делает упор на то, что наиболее ранние памятники белорусской письменности относятся к эпохе Ф. Скарины. Это ни о чем не говорит. Известно, например, что «Повесть временных лет» написана только в XII в. Но никто же не станет на этом основании определять время сложения древнерусского языка XII веком. Языковеды не без основания считают, что древнерусский язык сформировался в VIII в. Белорусский язык мог также сформироваться на несколько столетий ранее, чем он зафиксирован письменными документами.

Рассуждения М. Я. Гринבלата относительно антропологических данных противоречивы. С одной стороны, он отмечает, что выводы об участии балтов в этногенезе славян Белоруссии на основе изучения данных антропологии сформулированы мною верно³⁹, с другой стороны, утверждает, что данные антропологии не могут быть использованы для вывода об участии балтского субстрата в этногенезе верхнеднепровских славян. Видимо, мой оппонент не представляет себе, что участие балтского субстрата в этногенезе славян Белоруссии есть не что иное как ассимиляция местных балтов славянами.

Таким образом, М. Я. Гринблату, на мой взгляд, не удалось найти материалов из области археологии, антропологии и этнографии, которые бы противоречили основному положению моей статьи: в формировании славянского населения белорусской этнографической территории значительная роль принадлежит балтскому этническому элементу.

Не оказалось таких фактов и среди лингвистических материалов. Суждения М. Я. Гринבלата по этому поводу не представляются убедительными. Так, Е. Ф. Карский выявил в белорусском языке несколько десятков слов балтского происхождения, что и отмечалось мною. В ответ М. Я. Гринблат пишет, что таких слов немного, поэтому они не субстратны по происхождению. Но разве можно делать какие-либо выводы, исходя только из количества слов? Тем более, что балтизмы в белорусских диалектах совсем не единичны. Статья Е. Ф. Карского относится к началу XX в., а ведь список балтизмов был значительно пополнен в последующие десятилетия. В статье «К происхождению белорусов» отмечается, что большую группу слов, появившуюся в белорусском языке как результат балтского субстрата, приводит Я. Станкевич. Думается, что политическая характеристика моим оппонентом этого авто-

³⁸ Т. П. Ломтев, *Белорусский язык*, М., 1951, стр. 6.

³⁹ Впрочем, тут же он высказывает сомнение в значительности балтского населения, ассимилированного славянами. Как и во многих местах статьи, здесь не говорится о главном — какие факты (если они есть) дают основание для подобного сомнения.

ра — малоубедительный аргумент против наличия в белорусском языке балтского субстрата. Вывод о роли балтского субстрата в истории польского языка принадлежит Я. Отрембскому, а не мне, как это представляется М. Я. Гринблат. В той части моей статьи, где речь идет о следах балтского воздействия на белорусский язык, кроме работ Е. Ф. Карского и Я. Станкевича, рассматриваются выводы Я. Розвадовского, К. Буги, В. Вондрака, Ю. Шереха и др. М. Я. Гринблат обходит молчанием эти факты.

Библиография вопроса о восточнославянском аканье насчитывает сотни работ. При рассмотрении этой проблемы мною сделана ссылка на новейшую литературу — статьи, напечатанные в последние годы в журнале «Вопросы языкознания». В этих статьях исследуется и обобщается все, что было накоплено лингвистикой, в том числе и работы Р. И. Аванесова и белорусских диалектологов. Поэтому упрек М. Я. Гринблата, что мною не учтены исследования Р. И. Аванесова и белорусских ученых, выглядит по меньшей мере странным. Такой же странной представляется фраза М. Я. Гринблата о том, что мои утверждения о происхождении аканья противоречивы. По всей вероятности, мой оппонент смешал два разных вопроса — вопрос о зарождении аканья и вопрос об его распространении.

Не могу также согласиться с мнением М. Я. Гринблата относительно происхождения дзуканья на литовской территории. Литуанист В. Гринавецкис на основе лингвистического анализа пришел к выводу, что эта фонетическая особенность — не заимствование, а продукт межъязыкового взаимодействия. Этот факт и отмечается в моей статье. Из того обстоятельства, что в быту и культуре Дзукии, как отмечает М. Я. Гринблат, имеются некоторые черты, близкие к белорусским, вовсе не следует вывод о заимствовании дзуками рассматриваемой фонетической особенности у белорусов. Фонетика обычно не заимствуется у соседей.

К сожалению, некоторые мои мысли М. Я. Гринблатом преподносятся искаженно. Так, мой оппонент говорит, что роль Великого княжества Литовского в этногенезе белорусов мною «отмечается». Но достаточно прочитать последнюю страницу моей статьи, чтобы убедиться в ошибочности подобного утверждения. В моей статье на основе анализа фактических материалов только показано, что политическое и экономическое обособление западнорусских земель не могло быть первопричиной образования белорусов и их языка. Напрасно М. Я. Гринблат утверждает также, что мною не учтены влияния польской, литовской и других народностей при формировании белорусов. Ведь все эти влияния относятся в основном к более позднему времени, чем период зарождения белорусского языка, и также не могли быть первопричиной формирования белорусов.

Вызывает удивление утверждение М. Я. Гринблата об ошибочности моего методологического подхода к проблеме этногенеза белорусов. Он пишет, что теоретической основой моей точки зрения будто бы послужил анализ балтской гидронимики и теория субстрата в современном языкознании. В действительности, в основе вывода об участии балтского субстрата в белорусском этногенезе лежат не теоретические предпосылки языковедческой теории субстрата, а фактические данные археологии, антропологии и этнографии, которые свидетельствуют о том, что при формировании славянского населения Верхнего Поднепровья и смежных областей было ассимилировано местное население. Гидронимика позволяет определить, что дославянское население этого края говорило на балтских диалектах, а данные лингвистики обнаруживают следы, балтославянского языкового взаимодействия. В этих условиях и начинается формирование белорусского языка и народности. М. Я. Гринблат убежден, что субстрат оказывал влияние при формировании ранних этниче-

ских общностей, а не народностей (какие факты убедили его в этом, остается неизвестным). Но как же быть в этом случае с формированием французского и испанского языков (ведь это языки народностей!), сложившихся в условиях усвоения латыни кельтскими (галльскими) и иберийскими племенами? Очевидно, одной убежденности мало, нужны доказательства, факты!

Мне кажется, что основные положения статьи «К происхождению белорусов» остаются в силе. Специфической особенностью этнического развития славянского населения белорусского ареала является то, что происходило оно здесь в условиях воздействия балтского субстрата. Нигде на других восточнославянских территориях не было подобных условий. Благодаря ассимиляции балтов в языке славян Верхнего Поднепровья, Подвинья и Понеманья и смогли появиться те особенности, которые ныне называются белорусизмами.

SUMMARY

The author answers the comments of P. N. Tretyakov («Soviet Ethnography», 1967, № 4), V. A. Zhoutchkievitch («Soviet Ethnography», 1968, № 1) and M. Ya. Grinblat («Soviet Ethnography», 1968, № 5) on his paper «On the ethnogenesis of Byelorussians» («Soviet Ethnography», 1967, № 2). P. N. Tretyakov states that the Balts occupied a wider territory in Eastern Europe than the formation area of the Byelorussians and thus served as a substratum for all Eastern Slavs. The author is of the opinion that P. N. Tretyakov does not take into account the specific character of ethnogenetic processes in different Eastern Slav areas. It was only the Byelorussian territory that was occupied by Balts from profound antiquity. The penetration of separate groups of Balts into Finno-Ugric territory in the area of the subsequent formation of the Russian people cannot be equated with those Balt — Slav relations which took place in Byelorussian territory.

P. N. Tretyakov's criticism of E. F. Karski's map of the Byelorussian language and of the author's map of Balt hydronymy appears unjustified.

The author disputes the opinion of V. A. Zhoutchkievitch as to the comparatively small number of Balt toponyms in Byelorussia and also his statement that northern Byelorussia with its high percentage of Balt toponyms was part of the Balt area, while southern Byelorussian territories should be excluded because here Balt names are rarer.

M. Ya. Grinblat's arguments against the contribution of the Balt substratum to the ethnogenesis of the Byelorussians are not valid; some of them contradict factual data. M. Ya. Grinblat's article once more shows the weakness of the position of those scientists who regard the formation of the Byelorussians as the result of the political and administrative division of the Eastern Slav world. In the author's opinion, there are no facts known to science supporting such a view.

The author considers that the main thesis of his article «On the origin of the Byelorussians» stands unrefuted, namely that the ethnogenesis and the glottogenesis of Slavs inhabiting the Byelorussian area took place on the basis of assimilation of a Baltic substratum.

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикацией ответа В. В. Седова его оппонентам редакция журнала «Советская этнография» подводит некоторые итоги дискуссии по проблеме этногенеза белорусского народа. Конечно, еще нельзя считать вполне решенным вопрос о происхождении белорусов, об исторических условиях выделения их в особую этническую общность в рамках восточнославянского этноязыкового единства. Но дискуссия, несомненно, оказалась очень полезной. Вероятно, теперь уже никто не удовлетворится одной из

двух крайних точек зрения, существовавших в науке прежде: и старой точкой зрения А. А. Шахматова, согласно которой уже в группировке древнеславянских племен были заложены черты разграничения будущих восточнославянских народов (причем считалось, что белорусы сложились из соединения древлян, дреговичей и радимичей); и более новой точкой зрения (Е. Ф. Карского и др.), что выделение белорусской общности было обусловлено лишь Литовско-Русским государственным объединением XIII—XIV вв. Хотя доля истины есть, быть может, в обеих этих концепциях, ни одна из них недостаточна для объяснения процесса формирования белорусской этноязыковой общности со всеми ее особенностями.

Мысль о существенной роли балтского (балтийского) этнического компонента в формировании белорусского народа высказывалась в литературе и раньше, но только В. В. Седов попытался обосновать ее серьезно и всесторонне. Оппоненты В. В. Седова — П. Н. Третьяков, В. А. Жучкевич, М. Я. Гринблат — оспаривают его основной тезис. Но если присмотреться, то можно заметить, что разногласия между спорящими сторонами не так уж велики.

По существу все выступившие в дискуссии признают участие балтского компонента в формировании белорусской этнической общности. Но П. Н. Третьяков считает, что этот балтский компонент вошел в состав не только белорусского, но и всего восточнославянского населения, и притом вошел в более раннее время, еще до начала II тысячелетия н. э. Он признает, однако, что «плотность балтийских элементов... была наиболее высокой именно в пределах Верхнего Поднепровья, где позднее сформировалась белорусская народность» («Сов. этнография», 1967, № 4, стр. 117). В. А. Жучкевич, напротив, склонен суживать область проявления балтийских элементов (в топонимике, языке), ограничивая ее лишь северной частью белорусской этнической территории, но зато растягивая во времени на целое тысячелетие — IX—XIX вв. («Сов. этнография», 1968, № 1, стр. 109, 111, 113). М. Я. Гринблат возражает преимущественно против понятия «субстрат» и предпочитает говорить о «славянизации балтов», о «постепенной ассимиляции первоначального балтийского населения славянами» («Сов. этнография», 1968, № 5, стр. 81, 91 и др.); однако он не придает этим балтийским элементам существенного значения в формировании белорусской культуры.

Как бы то ни было, в статьях каждого из участников дискуссии есть ценные данные и соображения, которые во многом проясняют и конкретизируют проблему этногенеза белорусов. Дальнейшие исследования, несомненно, должны повести к более полному ее решению.

С. Пеертхум

МАВРИКИЙ — НОВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ АФРИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Остров Маврикий расположен в Индийском океане на морском пути из Восточной Африки в Австралию и до открытия Суэцкого канала служил пунктом, где останавливались пароходы, следовавшие в Индию и Китай. Столица Маврикия — город Порт-Луи, основанный французским губернатором М. де Лабурдонне во второй четверти XVIII в. Помимо о. Маврикий в состав государства входят о-ва Родригес, Агалега и Каргадос-Карахос. Общая площадь государства 2,2 тыс. кв. км.

Поверхность большей части о. Маврикий гористая и лишь на севере расположена равнина Плен де Папай (Plaines des Parayes). Самая высокая гора острова — Питон де ла Ривьер-Нуар (Piton de la Rivière-Noire). Климат Маврикия тропический и влажный. Годовое количество осадков варьирует от 1500 до 2500 мм, а в некоторых районах достигает даже 3500 мм¹. Животный мир острова беден. По своему растительному покрову Маврикий скорее напоминает Индию, чем Африку. На о. Маврикий пока не разведано полезных ископаемых, месторождения которых имели бы промышленное значение. Правда, еще в 1770 г. в поселке Памплемус была найдена железная руда, однако запасы ее очень невелики².

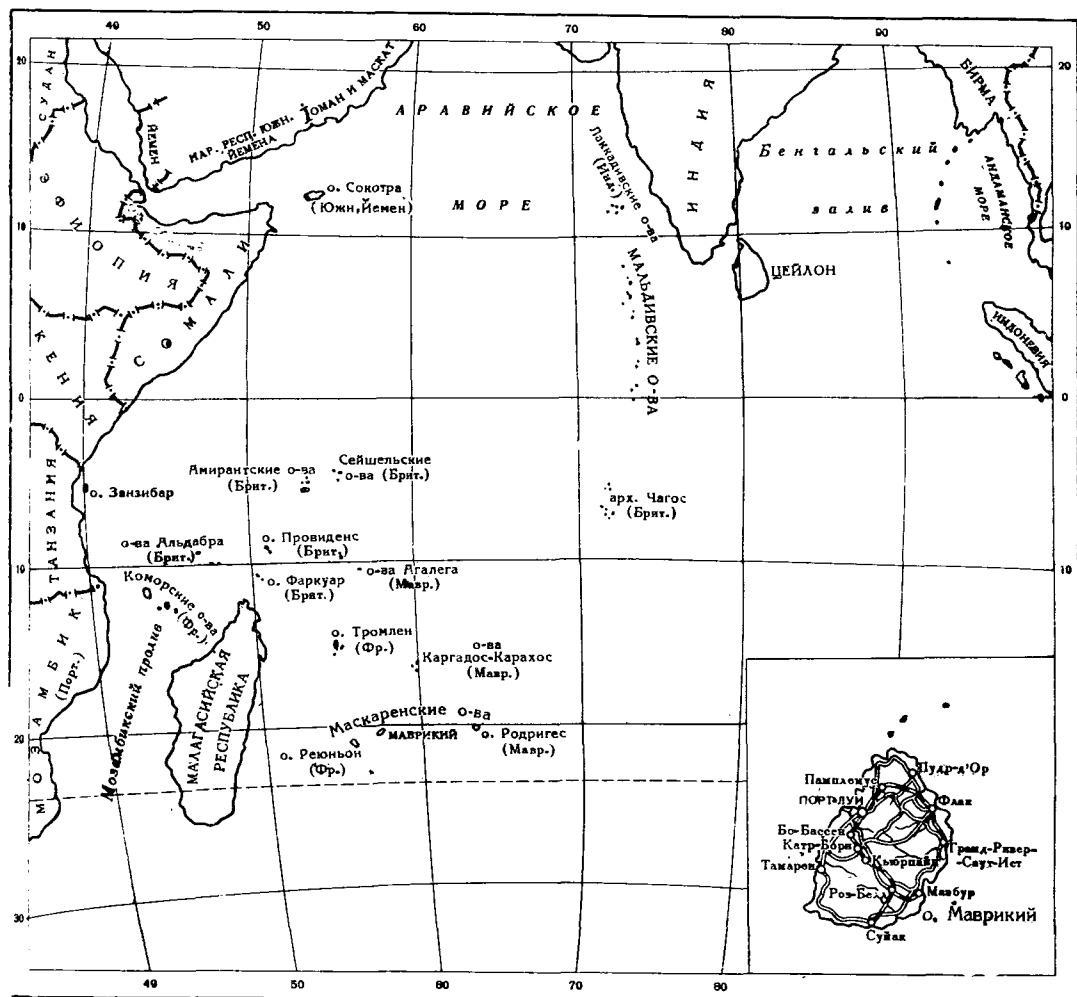
Маврикий был известен азиатским мореплавателям уже давно. Арабы называли его «Дина Аrobi» (Серебрянный остров)³. В работах, посвященных истории Маврикия, часто встречается ошибочное мнение, что этот остров был открыт португальским мореплавателем Педру ди Маскареньсом. На самом же деле первооткрывателем о. Маврикий является Домингос Фернандес, другой португальский мореплаватель. Португальцы были первыми европейцами, посетившими остров (начало XV в.). В 1598 г. остров был захвачен голландцами. Голландская колонизация длилась свыше 100 лет, однако в 1711 г. голландцы в результате восстания рабов вынуждены были ретироваться. В 1715 г. Маврикий был аннексирован Францией, однако менее чем через сто лет, в 1810 г., английские войска, высадившись на острове, выбили оттуда французов⁴. Стратегическое значение Маврикия было в те годы велико. Господство англичан в Индийском океане укрепляло их позиции в Индии и Юго-Восточной Азии.

¹ «Report on Mauritius, 1963», Port-Louis, 1964, p. 137.

² Bissoondoyal, A concise history of Mauritius, Bombay, 1963, p. 12.

³ A. d'Epinaу. Renseignement pour servir à l'histoire de Maurice, Port-Louis, 1890, p. 9.

⁴ Там же, стр. 75



Хозяйничание Англии на острове продолжалось вплоть до 12 марта 1968 г., когда Маврикий стал политически независимым государством.

Маврикий не имел коренных жителей. Лишь около трехсот лет назад на нем обосновались первые группы переселенцев. Рассмотрим кратко, как шло заселение Маврикия. Раньше всех на острове появились голландцы, поселившиеся на юге, в нынешнем округе Гран-Порт. Голландские колонисты создали на Маврикии плантации, для которых потребовалась рабочая сила. Начался ввоз рабов с африканского материка. В годы французской колонизации невольники с Мадагаскара, из Мозамбика и других районов Восточной Африки составляли уже основную массу населения⁵. В 1829 г. были завезены законтрактованные рабочие из Китая. Эта попытка потерпела неудачу. Китайцы отказались работать на сахарных плантациях и большинство из них вернулось на родину.

После отмены рабства на острове в 1833 г. бывшие невольники стали отказываться работать на сахарных плантациях, и плантаторы организовали ввоз рабочих из Индии. Таким образом, с 1834 г. началась индийская иммиграция.

⁵ R. Scott, Limuria. The lesser dependencies of Mauritius, London, 1961, p. 2.

Современный этнический состав Маврикия достаточно пестрый. Приведем последние данные о численности различных групп:

индо-маврикийцы	530 тыс. чел.
креолы (население французо-африканского происхождения)	205 тыс. чел.
китайцы Маврикия (сино-маврикийцы)	25 тыс. чел.
европейцы (преимущественно франко-маврикийцы)	15 тыс. чел. ⁶

В настоящее время население Маврикия насчитывает около 800 тыс. человек. Маврикий является одним из самых плотно населенных районов земного шара. Согласно последним данным, на 1 км² площади острова приходится около 400 человек.

Маврикий — сельскохозяйственная страна. 98% всего экспорта приходится на сахар. Кроме сахарного тростника, в небольшом количестве выращивают чай и джут. Часть производимого сахара идет на изготовление рома. Из подсобных занятий жителей следует отметить овощеводство и животноводство. Разводят крупный рогатый скот, свиней, коз и кур. Несмотря на то что значительная часть населения сосредоточена у побережья, рыболовство развито очень слабо. Правда, в последние годы японский капитал пытается наладить лов рыбы в промышленных масштабах.

Рис и «кари» (мясное блюдо с острой приправой) составляют основную пищу островитян. Весьма распространено кушанье «фаратта» (особый вид лепешки). Как и на производящих сахар островах Вест-Индии, на Маврикии самым популярным спиртным напитком является ром.

Одежда неевропейского покроя распространена на Маврикии не очень широко. Правда, имеются еще индо-маврикийцы, которые одеваются в индийское «дхоти», однако большинство мужчин ходит в европейских костюмах. Среди женщин приверженность к национальным формам одежды значительно сильнее. Индо-маврикийки — индуски и мусульманки — носят соответственно «сари», или «курта», и «сальвар». Пожилые сино-маврикийки ходят в халатах китайского покроя.

Религиозный состав населения Маврикия довольно сложен. Здесь распространены различные мировые и национальные религии и секты, причем представленные на острове этнические группировки весьма неоднородны по своему религиозному составу. Любопытно процентное соотношение представителей различных исповеданий у разных этнических групп (см. табл. на стр. 125) ⁷.

Большинство индо-маврикийцев исповедует ортодоксальный (санатанистский) индуизм, имеется также небольшая группа индуистских сектантов и около 100 тыс. мусульман. Христиан среди индийцев немного (в основном это католики). Зато маврикийцы европейского и смешанного евро-африканского происхождения почти исключительно христиане. Среди сино-маврикийцев много как христиан, так и буддистов. Интересно отметить, что многие сино-маврикийцы посещают как христианские, так и буддийские храмы. Сложный этнический и религиозный состав населения не помешали бы народу Маврикия сплотиться воедино, если бы реакционные силы не разжигали в своих корыстных целях вражду и ненависть между разными этническими и конфессиональными группами.

Успехам этой провокационной деятельности реакционеров способствует низкий культурный и образовательный уровень большей части

⁶ «The Europa Yearbook», vol. II, London, 1968, p. 873.

⁷ «Population census of 1952», part I, table IX, p. 16. Приводится по: B. Benedict, Mauritius. Problems of a plural society, London, 1965, p. 31.

населения — прямое наследие еще недавно существовавших на острове колониальных порядков.

Первая бесплатная народная школа была открыта на Маврики в 1833 г. Вначале в школах насаждалась расовая сегрегация, и лишь в 50-х годах прошлого столетия в результате самоотверженной борьбы

Религиозный состав населения Маврикия (1952 г.)

Религия	Удельный вес представителей различных исповеданий у разных групп (%)		
	Индо-маврикийцы	Сино-маврикийцы	Прочие
Католики	4,3	44,6	96,3
Англикане	0,4	2,3	2,3
Адвентисты седьмого дня	0,1	0,4	1,0
Другие христиане	...	...	0,5
Индуисты ортодоксальные	62,9	...	...
Арья-Самадж	8,9	...	...
Кабир-Пантхи	0,4	...	0,1
Мусульмане	22,7	...	...
Конфуцианцы	...	4,1	...
Буддисты	...	42,9	...
Атеисты	0,2	4,9	...

маврикийцев расовые барьеры в образовании были формально сняты. В настоящее время около 130 тыс. школьников обучаются в 202 государственных начальных школах и около 21 тыс. человек учатся в средних школах⁸. Высшее образование доступно немногим. Его получают несколько более 1 тыс. студентов, обучающихся в Великобритании и других странах «Содружества наций», и несколько десятков маврикийцев, занимающихся в высших учебных заведениях социалистических стран (в СССР учатся, например, около 50 маврикийских студентов)⁹. Следует упомянуть, что даже эти весьма скромные успехи были достигнуты в результате упорной борьбы маврикийского народа за право на образование. Так, в 1956 г. народ в знак протеста против политики колониальных властей в области образования решил бойкотировать намечавшуюся властями пышную встречу сестры английской королевы. Лишь после этого выступления 24 тыс. детей школьного возраста смогли поступить в школу¹⁰.

Большинство издаваемых на острове газет выходит на французском языке. Но издаются также газеты на английском, хинди, урду, тамилском и китайском языках (всего на острове выходит 32 газеты, в том числе 13 еженедельных). Тираж периодических печатных изданий невелик. Самая большая газета выходит тиражом в 14 тыс. экземпляров. В отличие от других африканских стран, пресса Маврикия имеет довольно длительную историю. Так, первая газета вышла еще в 1773 г., когда остров был французской колонией¹¹. Интересно отметить, что газета «Сернсен», основанная в 1832 г. франко-маврикийским политическим деятелем Андрианом Дапинэ для борьбы за отмену рабства, выходит до сих пор, хотя и небольшим тиражом.

⁸ «Report on Mauritius, 1963», pp. 64—66.

⁹ Там же, стр. 66.

¹⁰ S. Bisson d'oyal, Указ. раб., стр. 106.

¹¹ «Report on Mauritius, 1963», p. 117.

Литература Маврикия довольно богата. Так, произведения писателей Леовилла Лотта и Роберта Э. Харта читал каждый образованный маврикийец, а имена Луи Массона и Поля Леклезю известны далеко за пределами страны. Любопытно отметить, что Ф. Мальфилль (маврикийский писатель) был секретарем французского писателя Александра Дюма-отца. Существует предположение, что именно он является действительным автором романа «Жорж Ле Мулатр».

В стране имеется несколько научных обществ. Самое старое из них — «Королевское общество искусств и наук Маврикия» (Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius) было основано еще во второй четверти XIX в. К сожалению, некоторые из этих обществ стали прибежищами махровой реакции. Например, «Общество истории острова Маврикия» (La Société de l'histoire de l'île Maurice), основанное в 1938 г., всегда стремилось извратить историю национально-освободительного движения и классовой борьбы народа Маврикия и посеять вражду между различными этническими группами населения. В этом отношении молодым прогрессивным историкам и публицистам предстоит еще очень много сделать, чтобы добиться подлинной демократизации научной жизни страны. Весьма реакционные позиции и другого научного объединения — «La Société de technologie agricole et sucrière», фактически представляющего собой замкнутый кружок небольшого числа богатых франко-маврикийцев, сахарных магнатов. Это связано, в первую очередь, с тем, что 60% национального богатства страны, в том числе все 23 сахарных завода, доки, банковское дело и большинство страховых компаний находятся в руках 75 франко-маврикийских семей. Представители этих семей делают все от них зависящее, чтобы никто из посторонних не проник в эти столь важные отрасли хозяйства острова. Напомним еще раз, что сахар составляет почти весь экспорт страны.

Народ Маврикия никогда не мирился со своими поработителями и на протяжении всей своей истории вел борьбу с ними. Несмотря на все усилия продажных историков и публицистов, состоявших на службе у колонизаторов и местной реакции, сохранилось немало письменных свидетельств этой героической борьбы.

Так, известно, что голландское колониальное владычество на Маврикии было сметено в результате восстания рабов, которые в 1695 г. сожгли крепость в Гран-Порте¹². Можно предполагать, что столкновения между рабами и колонистами происходили в течение всего периода голландского управления. Кроме того, в те годы значительные размеры приобрело бегство рабов с плантаций колонистов. Облавы на беглых рабов принимали характер настоящих военных действий, во время которых невольники бесчеловечно истреблялись.

Период французской колонизации Маврикия начинается с 1715 г. Уже через девять лет, в 1724 г., на острове вспыхнуло восстание, во время которого беглые рабы захватили военный пост на юге острова, в Саванне, и разогнали гарнизон. В 1732 г. из-за набегов беглых невольников колонисты были вынуждены покинуть округ Флак¹³. Вскоре среди маврикийцев развернулось широкое движение за предоставление политических прав. В дальнейшем одним из лозунгов движения стало также требование автономии. Восстание, которое вспыхнуло в 1794 г. под влиянием Великой французской революции, было кульминационным моментом этого движения. Восстание увенчалось успехом. В течение нескольких лет остров был независимым. Но в конце первого десятилетия XIX в., во время наполеоновских войн, о. Маврикий, как уже указывалось, был захвачен англичанами. Через полтора десятилетия после установления английского колониального господства на Маврикии насчитывалось свыше 50 тыс. рабов при общей численности населения острова 64,7 тыс.

¹² S. Bissoondoyal, Указ. раб., стр. 30.

¹³ Там же.

человек¹⁴. Начинается новый этап борьбы, которую возглавили Ф. Жакмен, Любонте и Табарден. Мощный размах борьбы вынудил колониальную администрацию пойти на уступки и назначить комиссию для исследования причин недовольства. Несмотря на то, что члены этой комиссии были тщательно подобраны, они были вынуждены признать, что рабы подвергались со стороны колониальных властей и французских плантаторов крайне жестокому обращению. После опубликования в 1829 г. доклада этой комиссии колониальной администрации пришлось пойти на некоторые уступки. Однако даже эти очень скромные меры не были проведены в жизнь, так как их осуществление натолкнулось на решительное сопротивление со стороны рабовладельцев и всецело поддерживавшего их английского губернатора¹⁵. Франсуа Беркэн, который основал первую газету для мулатов — «Баланс», был изгнан с острова.

Последние десятилетия первой половины XIX в. ознаменовались энергичной деятельностью Реми Оллье, который на страницах своей газеты «Сантинелл» выступал с гневными разоблачениями колониальной администрации и французских плантаторов и защищал интересы как индийских иммигрантов, так и афро-маврикийцев. Его газета боролась за предоставление местному населению политических прав, за предоставление широким народным массам возможности получить образование. Реакция не простила Оллье энергичных выступлений в защиту простого народа. Он был убит, когда ему было лишь 28 лет¹⁶.

Оллье героически погиб, но его дело продолжили другие патриоты. Народ все более втягивался в политическую борьбу. Это обстоятельство вызывало серьезное беспокойство у правящих кругов. Перед началом первой мировой войны реакционный политический деятель Анри Леклезю заявил: «Неграмотные и не чистокровные люди, потомки рабов и наших слуг, хотят взять власть в свои руки»¹⁷. Этот представитель правящих кругов выступал не только против «потомков рабов», но и против индийских иммигрантов. Когда прогрессивными силами была предпринята попытка провести закон, несколько облегчающий положение иммигрантов, А. Леклезю выступил в законодательном совете против реформы, утверждая, что она приведет к экономическому банкротству¹⁸.

Однако упорная борьба маврикийского народа вынуждала колониальную администрацию лавировать. В 1922 г. в рабочее законодательство была внесена поправка, в результате которой рабочие получили возможность создавать профсоюзные организации¹⁹. Во второй половине 1930-х годов была основана лейбористская партия Маврикия, выдвигавшая требование о предоставлении острову независимости.

Новый этап национально-освободительного движения на Маврикии начался после второй мировой войны. Борьба с силами реакции в эти годы оказала значительное влияние на политическую жизнь маленького острова. Маврикийцы, сражавшиеся в рядах британской армии, внесли свой скромный вклад в дело разгрома врага всего человечества — фашизма, и, вернувшись на родину, стали еще энергичнее бороться против колониального режима. К тому же международная обстановка изменилась в благоприятном для колониально зависимых народов направлении. Появление мировой социалистической системы и ослабление позиций империализма открыли перед угнетаемыми народами новые возможности завоевания независимости²⁰.

¹⁴ S. Bissoondoyal, Указ раб., стр. 28.

¹⁵ J. N. R o y, Mauritius in transition, Allahabad, 1960, p. 92.

¹⁶ M. C a b o n, Remy Ollier, Port-Louis, 1963, p. 159.

¹⁷ «Advance», Port-Louis, I.X.67.

¹⁸ D. N a p a l, Manilall, pioneer of Indo-Mauritian emancipation, Port-Louis, 1963, p. 130.

¹⁹ Там же, стр. 170.

²⁰ Документы совещания представителей коммунистических и рабочих партий, М., Госполитиздат, 1960, стр. 34.

Важным стимулом к усилению борьбы послужило также освобождение Индии от английского колониального гнета, ибо как уже указывалось, индо-маврикийцы составляют большинство населения Маврикия. Не меньшее воздействие оказал и 1960 г. В этот год добилась независимости большая группа африканских стран и он вошел в историю как Год Африки.

Борьба маврикийского народа увенчалась успехом. 12 марта 1968 г. был поднят четырехцветный флаг независимого Маврикия. Островитяне торжественно отпраздновали свое освобождение от колониального гнета. Маврикий получил статус доминиона в составе «Содружества наций».

Оказавшись перед необходимостью ликвидации колониального режима на острове, английские правящие круги сделали все возможное, чтобы хотя бы частично сохранить свои позиции в Индийском океане. Спекулируя на экономических трудностях, в создании которых они сами были повинны, колонизаторы принудили правительство Сивусагара Рангулама продать часть маврикийской территории (некоторые небольшие острова, лежащие к северу от Маврикия) для создания англо-американской военной базы. По примеру США английские империалисты стараются утвердить свое господство над недавно освободившимися странами: им удалось навязать маврикийскому правительству договор, согласно которому оборона Маврикия остается в ведении Великобритании.

Народу Маврикия предстоит решить сложные проблемы. В наследие от колониального режима молодому государству досталась однобокая экономика, всецело зависящая от мировых цен на сахар, слабо развитая сеть просветительных и медико-санитарных учреждений, чрезвычайно низкий уровень жизни населения.

Движение Маврикия по истинно демократическому пути, пути всеобщего сотрудничества всех этнических групп страны сможет создать условия, благоприятные для преодоления имеющихся трудностей.

Н. И. Каплан, В. А. Барадулин

ЯКУТСКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ В ЯКУТСКУЮ АССР
В 1967 ГОДУ)

Летом 1967 года по просьбе правительства Якутской АССР и по договору с Министерством местной промышленности республики в Якутию была направлена экспедиционная группа Научно-исследовательского института художественной промышленности. Целью экспедиции было выявление возможностей восстановления и дальнейшего развития якутских народных художественных промыслов, а также разработка предложений и рекомендаций по организации в республике производства национальных изделий и сувениров¹.

Во время экспедиции ее участники в каждом районе и населенном пункте выясняли сырьевые ресурсы и то, как их в дальнейшем можно использовать при организации производства художественных изделий и сувениров. Выяснялось также наличие мастеров народного искусства, владеющих декоративной обработкой тех или иных материалов; широко проводилось фотографирование предметов народного декоративного искусства.

Одним из основных художественных промыслов в Якутии в недавнем прошлом было изготовление декоративной посуды и утвари из дерева.

В традиционных якутских деревянных изделиях различается несколько групп. По способу изготовления — резные и столярные, по характеру орнамента — с контурной и рельефной геометрической резьбой.

Резные изделия — это чороны, чаши — кытыйанар, горшки — балхахнар, черпаки — удьаалар, ложки — хамьянар. Все они выполнены из целого куска дерева (березы, лиственницы, сосны).

Искусство изготовления деревянной посуды и утвари стало исчезать по существу не более четверти века назад. Это подтверждается, во-первых, тем, что у населения много деревянных сосудов в хорошей сохранности, и, во-вторых, наличием в районах специалистов-мастеров в возрасте 55—65 лет, владеющих мастерством изготовления чоронов и других сходных с ними сосудов.

Мастера-якуты не знали токарного станка, хотя чороны и горшки производят впечатление токарных изделий. Все чороны, чаши и другие подобные изделия в прошлом выполнялись вручную с помощью топора, специального ножа, сверла, инструментов для выдалбливания «изт», напоминающих токарные крючки.

¹ Экспедицию возглавляла старший научный сотрудник кандидат искусствоведения Н. И. Каплан. В проведении экспедиции приняли участие художники и научные сотрудники И. Л. Карахан, Н. И. Виноградова, Н. В. Назаренко, В. А. Барадулин.

Маршрут экспедиции, разработанный заранее при консультации специалистов и согласованный с местным (якутским) руководством и научными работниками Якутской АССР, проходил по центральным районам республики, где в основном сосредоточено собственно якутское население: Ленинский район — раб. пос. Нюрба, Мархинский совхоз, пос. Кангалассы; Сунтарский район — с. Сунтар, Тойбохойский совхоз, с. Тойбохой; Олекминский район — г. Олекминск, с. Тяня; Аалданский район — с. Хаттыстыр, г. Томмот, пос. Заукуланка; Мегино-Кангаласский район — с. Майя; Намский район — с. Намцы, пос. Хоммустар; Чурапчинский район — с. Чурапча; Сыланский наслег — с. Усун-Кюель.

С помощью этих старинных несложных орудий, обыкновенно сделанных также вручную, мастера выполняли чрезвычайно благородные по пропорциям и пластичные изделия, формы которых вполне могут соперничать с античными.

Для чоронов и аяхов не типичен ярко выявленный узор текстуры древесины. Они часто сделаны из древесины березы, у которой нет хорошо выявленного узора текстуры.

Характерной орнаментацией чоронов являются горизонтальные полосы — пояски, заполненные мелким резным геометрическим орнаментом типа жгутиков или плетенки;



Рис. 1. Чороны XVIII—XX в.; пос. Марха Ленинского района, школьный музей

иногда пояс, особенно у горловины, состоит из чрезвычайно тонко выполненных правильных вертикальных выступов — бороздок. Основной декоративный эффект производит контраст рельефных орнаментированных поясков и гладких просветов. Только при более внимательном рассмотрении можно заметить разнообразие элементов резного орнамента, который постоянно варьируется, чем достигается огромное разнообразие чоронов, при первом беглом взгляде производящих впечатление совершенно одинаковых.

Красота текстуры древесины выявляется в вещах, сделанных из сосны, лиственницы. В них меньше орнамента, больше свободных плоскостей. Сюда относится большая группа вещей, очень напоминающих русскую деревянную и металлическую утварь XVII столетия как по своим формам, так и по распределению орнамента. В них в дереве повторяется характерная для металлических изделий ложчатая разделка поверхности тулова. С прекращением применения их в быту как праздничной ритуальной посуды старинные чороны, сохраняющиеся во многих семьях, используются как декоративные кашпо, вазы для цветов и просто для украшения интерьера. Строгость их форм и лаконизм орнаментации не входят в противоречие с убранством современного городского жилого интерьера. Происходит такой же процесс, что и в бытовом применении русских хохломских изделий; сугубо бытовая хозяйственная сторона использования предметов постепенно сходит на нет и одновременно возрастает их декоративное значение.

С возрождением традиции проведения весеннего праздника Ыссах появился интерес к чоронам и у широких слоев якутского населения, так как чороны ставят на вершухи сэргэ — декоративных столбов-коновязей, непременной детали праздничной церемонии.

Деревянные чороны разных размеров и подобные им сосуды могут служить характерными якутскими сувенирами. Их размеры могут быть доведены до минимальных. Обработка вручную, разумеется, должна быть заменена обработкой на токарном станке. Для их изготовления рекомендуется древесина лиственницы, которой в Якутии больше всего. Древесина лиственницы интересна своим природным розовато-золотистым цветом и характерным рисунком текстуры с частым и правильным чередованием годовых слоев. Она хорошо поддается окраске и морению, приобретая эффектный золотистый или темно-коричневый цвет.

Очень декоративны большие якутские ложки-черпаки, служившие как для размещения, так и для разливания кумыса во время Ыссах. Ложки-черпаки, так же как и чашки-кытыл, среднего и малого размеров, обыкновенно сделаны из капо-корня (уджурхая — якутск.). Красота такого черпака — в выразительной пластике самой формы. Чашеобразный глубокий черпак вырезан из одного куска дерева вместе с длинной рукоятью, изогнутой дугой, которая, соединяясь с поддоном чаши, «вытекает» из нее, становится широкой, плоской. Она нередко украшается по внешней поверхности достаточно сложным и трудоемким геометрическим орнаментом, выполненным в технике контурной, трехгранно-выемчатой резьбы.

К столярным изделиям относятся всевозможные круглые, квадратные, прямоугольные коробки, а также изделия цилиндрической формы. К вырезанному из ствола и выдолбленному цилиндру прикрепляется дно, в результате чего получается открытая широкая коробка-маттач. Декоративный эффект создает светлый на темном фоне графический орнамент, выполняемый в технике контурной резьбы.

На второе место по степени распространенности после художественной обработки дерева можно поставить якутское искусство художественной обработки металла — кузнечное и ювелирное дело.

По большей части те мастера, которые знают художественную обработку дерева, одновременно являются и кузнецами, мастерами чеканки и гравировки, а также и ювелирами. Якутские кузнечные и ювелирные изделия, в особенности последние, в прошлом расходились по северу Сибири, их можно найти у эвенков, долган, эвенов, даже у народов Дальнего Востока.



Рис. 2. Кумысная посуда: чаша, черпаки, ложки, XIX—XX в.; пос. Нюрба Ленинского района, школьный музей

Большинство якутских ювелирных изделий делалось из сплава серебра с медью, свинцом, цинком; само серебро часто было низкопробным, так называемым польским.

Изделия якутских ювелиров, сохранившиеся главным образом в музейных собраниях, поражают своей красотой, пластикой, композиционным разнообразием. В их числе кольца мужские и женские, серьги в виде прорезных узорных гравированных пластин с подвесками, но особенно замечательны сложные женские украшения «кэмин кэбиньер». Обычно такое украшение состоит из гладкого или витого обруча типа русской нашейной гривны, к которому на цепях подвешивается целая система разнообразных гравированных пластин. Сами цепи состоят из совершенно одинаковых квадратных или прямоугольных ажурных прорезных звеньев, которые можно соединять с помощью колечек в цепи любой ширины и длины. Они спускаются по поверхности одежды и заканчиваются легко колеблемыми при движении звенящими подвесками.

Для якутского ювелирного искусства типичны плоские пластины прямоугольной, круглой и трапециевидной формы, на которые нанесен гравированный рисунок в виде тончайших веточек, геометрических узорных поясков и отводок. Такие пластины являются составными элементами украшений мужского и женского костюма. Нашитые на полоску кожи или ровдуги (оленья или лосевая замша), они служат широкими нарядными мужскими и женскими поясами.

Таковыми же пластинами отделялись конское седло и упряжь, поскольку конь играл важнейшую роль в быту и в праздничных церемониях.

Несомненно, что оригинальность и красота якутских ювелирных изделий обеспечили бы им не только спрос в самой Якутии и за ее пределами, но и возможность экспорта за рубеж.

К широко распространенным в прошлом женским художественным ремеслам Якутии относятся гладьевая и тамбурная вышивка и аппликация. Эта техника применялась для оформления отдельных деталей женского и мужского костюма, например джаббака — декоративного навершия женского головного убора, мягких сапог из ровдуги, рукавиц мужских и женских, всякого рода сумок и кisetов.

Особенным богатством отделки и высокой декоративностью отличались кычмы — боковые украшения конского седла и чепраки.

Кычмы и чепраки — это роскошные декоративные панно трапециевидной формы, центральная часть которых из ровдуги, сукна или бархата, размером 50 × 30 см, окружена каймой также из бархата или сукна шириной 15—18 см. Всю середину покрывает обычно многоцветная вышивка. Орнамент в виде симметрично разворачивающегося в обе стороны от средней линии растительного мотива, с условно изображенными бутончиками и листьями, иногда в виде пальметты. Сходящиеся в центре побеги образуют фор-

му в виде сердца или лиры. Народные мастера Якутии говорят, что этот мотив является символом коня — что это орнаментированный след конского копыта; существует также мнение, что это условное изображение коровьих рогов.

Растительные мотивы вышивки выполняются контур-тамбурным или стебельчатым швом, а середина стебля заполняется гладью, стежки которой ложатся поперек стебля.

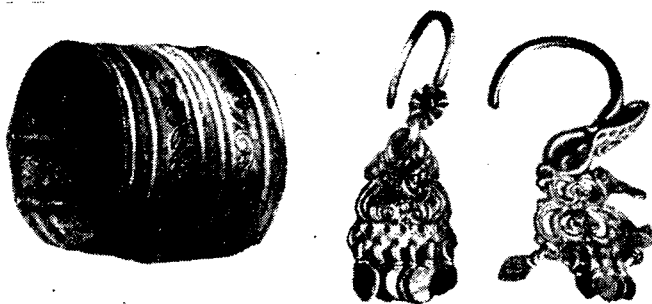


Рис. 3. Серьга 9 × 9 см, серебро, литье, гравировка; браслет 7 × 7 см, серебро, гравировка; Тихобой, музей

Якутская вышивка необычайно легка, благородна, даже изысканна. Бледно-голубые, золотистые, охристые тона шелка красиво сливаются с фоном из ровдуги, или контрастно выделяются на ярко-красном сукне.

Средина кычмы, кроме того, обильно украшена металлическими бляшками разного размера, к краям ее пришиты подвесные бляхи, бубенцы, кисточки из бус, сукна и меха и т. п.

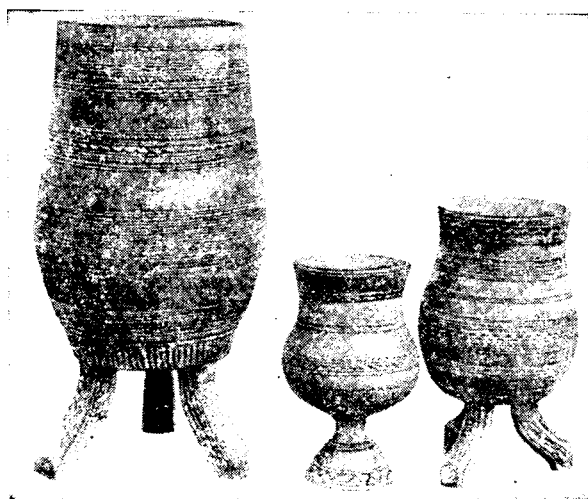


Рис. 4. Резной орнамент на деревянных изделиях

Якутские кычмы и чепраки, как и многие декоративные произведения искусства других народов (например, отошедшие в прошлое русские резные и расписные прялки или дагестанское холодное оружие), в связи с историческими изменениями в жизни народа ушли из быта. Но правильно ли, если они будут навсегда потеряны для национальной художественной культуры? Достаточно ли будет сохранить лучшие образцы этих изделий для потомства в музейных коллекциях? Но как сохранить орнамент и технику исполнения, если самого предмета больше нет в быту? Очевидно надо стремиться к тому, чтобы народный орнамент и уникальная техника его исполнения перешли на новые современные изделия, выполняемые из того же материала, но имеющие применение в настоящее время.

Орнамент, приемы орнаментации, техника исполнения якутских кычмов и чепраков могут быть применены при изготовлении настенных ковров и панно, диванных подушек и всякого рода предметов, дополняющих современный костюм. Для этого

необходимы поиски, смелое экспериментирование якутских художников и специалистов-вышивальщиц.

Изготовление изделий из бересты в недавнем прошлом было также очень широко распространенным женским искусством. До сих пор берестяные изделия существуют в быту, в особенности ведерки, туески для сбора ягод и грибов, для хранения и переноски молока и кумыса.

По своему внешнему декоративному оформлению якутские берестяные туеса и коробки сильно отличаются от аналогичных изделий других народов. Они не оформляются ни росписью, ни резными накладками. Для изготовления якутского берестяного туеса или коробки прежде всего делается из бересты основной цилиндр, на который надеваются свободно скользящие широкие кольца тоже из бересты, которые укрепляются на основном цилиндре с помощью обручей из прута тальника или лозы, разделенного вдоль. В свою очередь, эти обручи из прута искусно оплетаются черным или темно-коричневым конским волосом, образующим своеобразный орнамент на поверхности изделия. Дно и крышки туеса или коробки также делаются из бересты и лозы с таким же оплетом.

Берестяные изделия нередко украшаются еще подвесками из бисера, бус, лоскутов цветного сукна, тканей или кусочков меха.

Одним из районов, в прошлом славившихся изготовлением берестяных изделий, является Чурапчинский район. Это народное искусство сохранилось здесь до сегодняшнего дня. В селе Усун-Кюэль, центре Сыланского наслега, живет известная в Якутии и еще сравнительно молодая мастерица (1927 г. рождения), Федора Григорьевна Пудова.

По специальности Пудова — учительница. В своей школе в селе Усун-Кюэль, она обучила учениц шитью берестяных изделий. Надо приложить совсем много усилий, чтобы на этой базе сформировалась мастерская по изготовлению берестяных сувениров в характере традиционных якутских изделий.

Якутская традиционная резьба по кости представлена шкатулками и девятисторонними ларцами с четырехскатными откидными крышками. На стенках этих шкатулок и ларцов на фоне тончайшей сетчатой резьбы изображены сцены из якутского эпоса «олонхо», празднование Ыссеха, старый быт якутов и т. д. Однако эти изделия в настоящее время уже полностью стали достоянием прошлого. Мастера народного искусства работают над скульптурой малых форм из мамонтового бивня, скорее станкового, чем декоративного плана, предназначенной для экспонирования на выставках и для приобретения музеями.

Однако для производства художественных изделий-сувениров из кости нужны образцы изделий не уникального и станкового, а декоративного и массового характера.

Участники экспедиции побывали в селах ряда оленеводческих районов Якутской АССР, где по-прежнему широко распространено изготовление бытовых художественно оформленных изделий из оленьего меха, камуса (шкурки с ног оленя), оленьей и лосевой замши — ровдуги.

Этот промысел и в настоящее время продолжает развиваться, поскольку одежда из меха, меховые унты, ковры-кумаланы, сумки, обшитые оленьим мехом, находят и сегодня многочисленных потребителей.

Изготовление художественных изделий из оленьего меха, камусов и ровдуги — дело перспективное, так как поголовье оленей в совхозах и колхозах республики из года в год увеличивается.

Унты с отделкой цветным сукном и с вышивкой бисером изготавливаются по индивидуальным заказам во многих районах, например на бытовом комбинате поселка Нюрбы Ленинского района, в промкомбинате с. Чурапча и в ряде других. Ковры-кумаланы делают мастерами колхозов и совхозов для продажи и для подарков.

На территории Якутской АССР имеются большие запасы цветных глин. Якутские гончары не знали гончарного круга. Традиционные якутские народные керамические сосуды вылеплены от руки и украшены простейшими узорами в виде ямок, черточек и т. п.

Однако совершенно неправильны и должны быть признаны просто антихудожественными опыты воспроизведения деревянных чоронов в фарфоре, хотя эти образцы имеются в музеях как положительный пример современного якутского декоративного искусства.



Рис. 5. Унты, работа мастериц быткомбината с. Чурапча, 1967 г.

Очевидно, выработка форм и типов современной якутской керамики потребует от местных художников и мастеров серьезной экспериментальной работы.

В недавнем прошлом большой интерес представляло искусство плетения из конского волоса, изготовление ковров-пинюков, головных уборов и т. п. С ростом коневодства в республике, что планируется на ближайшее будущее, реальным и очень интересным станет развитие этого искусства.

Рядом с плетением из конского волоса стоит плетение из лозы, луба, камыша, в прошлом также широко развитое.

Экспедицией собран большой материал для дальнейшей работы по восстановлению и развитию художественных промыслов Якутской АССР (в виде подлинных образцов предметов народного декоративного искусства, цветных зарисовок и фото).

Участники экспедиции во время пребывания в Якутской АССР разработали и внесли на рассмотрение Совета Министров Якутской АССР предложения по развитию художественных промыслов республики и по организации производства национальных изделий-сувениров.

Предложения предусматривали восстановление, в первую очередь, якутского народного искусства резьбы по дереву, изготовления берестяных изделий, резьбы по кости; оказание всесторонней помощи новым организованным в Якутске производствам национальных художественных изделий из дерева и кости — при Горпромкомбинате и из оленьего меха и камуса — при Кожзаводе (финансирование, снабжение сырьем, материалами и оборудованием, подбор кадров); организацию производств (цехов по изготовлению национальных изделий и сувениров) в поселках Нюрба, Сунтар и в г. Олекминске; поиск мастеров народного искусства, взятие на учет Домом народного творчества, Министерством культуры, Министерством местной промышленности всех мастеров, владеющих в той или иной мере народными художественными ремеслами, с тем, чтобы в дальнейшем привлекать этих мастеров к изготовлению национальных художественных изделий и сувениров; подготовку молодых мастеров якутского народного декоративного искусства (резчиков по дереву и кости, специалистов по шитью берестяных изделий, по национальной вышивке) на базе художественного училища в г. Якутске; упорядочение торговли национальными художественными изделиями и сувенирами, открытие в г. Якутске специализированного магазина «Якутский сувенир».

Большая часть этих предложений легла в основу постановления Совета Министров Якутской АССР о развитии художественных промыслов республики и об организации производства национальных изделий-сувениров, принятого уже после отъезда участников экспедиции из Якутии.

Народное декоративное искусство, художественные промыслы Якутской АССР до настоящего времени живы, и это создает предпосылки для их успешного восстановления и дальнейшего развития.

Э. Е. Фрадкин

ПОЛИЭЙКОНИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ КОСТЕНКИ 1

Материалы раскопок палеолитической стоянки Костенки 1 давно стали достоянием широких археологических кругов. Монографии, статьи, публикации, выполненные по материалам Костенок 1, составляют обширный список, содержащий десятки названий¹.

Особой известностью пользуются скульптурные и резные изображения животных и людей. Многие советские и зарубежные ученые при решении различных вопросов истории культуры, идеологии и мышления человека эпохи верхнего палеолита использовали в своих трудах замечательные находки из Костенок 1.

Первый памятник искусства из Костенок 1 — скульптурное изображение женского торса — был найден в 1915 г. известным польским археологом Стефаном Круковским. Однако отчет С. Круковского так и не был напечатан, и находка долго оставалась неизвестной. Поэтому мы до сих пор не знаем, увидел ли он в небольшом куске мергеля, обнаруженном вместе с кремневыми орудиями, произведение искусства.

Первые сведения о скульптуре и других находках С. Круковского были опубликованы в работе С. Н. Замятина о первобытной истории Воронежского края².

Женский торс из Костенок 1 является первой палеолитической скульптурой, обнаруженной на территории СССР. Она положила начало большой коллекции скульптурных и резных изображений людей и животных, добытых в ходе систематических раскопок на стоянке Костенки 1. В 1923, 1931—1936 годах раскопки производились под руководством П. П. Ефименко³.

В 1953 г. коллекция предметов искусства из Костенок 1 была пополнена А. Н. Рогачевым. В Костенковско-Боршевском районе он обнаружил новый участок культурного слоя и нашел здесь скульптуру обнаженной женщины, вырезанную из бивня мамонта⁴.

Памятники искусства и художественные поделки из Костенок 1 (кроме находки А. Н. Рогачева) изучены П. П. Ефименко, который посвятил им ряд работ. Наиболее подробная характеристика их содержится в его монографии⁵, где наряду с описаниями и рисунками имеются сведения о местоположении находок на плане раскопа, а также приводятся полевые шифры.

В 1960-е годы предметы искусства из Костенок 1 были рассмотрены в работах З. А. Абрамовой, посвященных проблемам палеолитического искусства⁶.

Местом хранения памятников искусства из Костенок 1 является археологический отдел Музея антропологии и этнографии АН СССР (Ленинград). Основная часть собрания зарегистрирована под № 6223. К коллекции № 6223, как следует из сопроводжающей ее описи, прилагается «резерв», дополнение — три группы образцов мергеля, из которого выполнено большинство памятников искусства из Костенок 1. Общее число кусков камня в трех группах — 65 экземпляров.

¹ Подробная библиография по стоянке Костенки 1 дана в монографии П. П. Ефименко «Костенки 1» (М.—Л., 1958).

² С. Н. Замятин, Очерки доистории Воронежского края. Каменный и бронзовый век в Воронежской губернии, Воронеж, 1922, стр. 4, 6—7, рис. 1—3.

³ П. П. Ефименко, Указ. раб.

⁴ А. Н. Рогачев, Многослойные стоянки Костенковско-Боршевского района на Дону и проблема развития культуры в эпоху верхнего палеолита на Русской равнине, «Материалы и исследования по археологии СССР», № 59, т. 3, М.—Л., 1957, стр. 27, рис. 3.

⁵ П. П. Ефименко, Указ. раб.

⁶ См. З. А. Абрамова, Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии, М.—Л., 1966 и др.

Первая группа кусков мергеля носит в описи наименование «неопределенные подделки», вторая — «куски мергеля со следами обработки», третья — «куски мергеля без следов обработки»⁷. В монографии П. П. Ефименко нет никаких описаний, равно как и рисунков, фотографий и других материалов, касающихся кусков мергеля. И это вполне понятно, поскольку П. П. Ефименко не видел среди них памятников искусства.

Однако именно эти куски мергеля стали предметом нашего исследования. Мы обнаружили более чем на 30 кусках камня⁸ целую серию скульптурных изображений.

Изучение материала позволило увидеть неожиданное и до сих пор неизвестное для искусства эпохи верхнего палеолита явление. В то время как на некоторых камнях выполнено одно изображение, на других их оказалось по два, три и даже больше. Мы называли их полизйконическими, произведя этот термин от греческих слов: *поли* — много, *эйкон* — образ, изображение⁹.

В настоящей работе мы рассмотрим четыре камня с полизйконическими изображениями.

1. На куске мергеля серого цвета неправильной формы (4,8×3,8×3,0) изображены три головы животных. Первое изображение — голова зверя с антропоморфными чертами¹⁰. Интересная особенность скульптуры заключается в фантастическом сочетании в ней признаков различных животных с антропоморфными чертами.

Левый профиль (рис. 1, 1) напоминает обезьяню морду с углубленно переданным глазом и набухшим веком. Морда животного живописно промоделирована игрой светотени. При повороте головы и рассмотрении ее в фас (рис. 1, 2) перед нами возникает изображение верблюда или барана со слегка отделенной лобной частью, мягкими ноздрями, широкой нижней губой и свисающими складками на шее. Продолжая поворачивать камень с изображением влево, мы увидим правый профиль скульптуры (рис. 1, 3) с выпуклым глазом, производящим впечатление подслеповатого и к тому же расположенного ниже левого. Эта скульптура дает нам очень яркий пример умелого использования природной формы камня, а также его поверхности. На правом профиле морды зверя, в нижней части мощной и широкой шеи, видны глубоко прорезанные вертикально идущие желобки — один короткий, немного больше 1 см, второй длиннее — почти 3 см. Эти глубоко прорезанные желобки, неоправданные в данном изображении, становятся понятными и необходимыми, если мы повернем камень с изображением на 90°, взяв его за нижний край (рис. 1, 4).

Шея зверя с антропоморфными чертами тогда превращается в вытянутую морду, напоминающую рыло кабана, а глубоко прорезанные линии создают рельеф формы. Пасть зверя показана косой прерванной линией. Обратная сторона камня не является вторым профилем этого же животного, а представляет собой самостоятельное изображение (рис. 1, 5), напоминающее собаку или льва с четко промоделированным мясистым носом.

2. Второй камень — плоская, неправильной формы плитка желтого мергеля с необработанной обратной стороной (3,0×3,5×1,0). На ней имеются два изображения — человека и льва, являющихся скорее скульптурными силуэтами с прорисованными деталями лица и морды.

Лицо человека изображено в профиль; сильно вытянутый нос как бы продолжает линию лба (рис. 2, 1). Прямые губы почти касаются носа. Маленький подбородок отделен тонкой прерванной линией. Изображение завершается дугообразной линией, напоминающей головные уборы американских индейцев.

На изображении головы человека привлекают внимание несколько штрихов, казавшихся на первый взгляд, случайными, лишними. К ним относятся: косая прерванная линия за скулой, вертикальная, идущая от лба к скуле, короткие параллельные штрихи на шее (на рисунке они не видны). Однако, если мы развернем плитку мергеля с изображением человеческого лица вокруг ее оси на 180°, «лишние» линии станут необходимыми и дадут нам второе изображение.

Линия контура подбородка и шеи превращается в контур лба и носа звериной морды (рис. 2, 2). Прерванная линия, очерчивавшая рот человека, обрисовывает теперь нос льва. Линия, являвшаяся человеческий нос, передает нижнюю губу зверя, а

⁷ Музейная опись Музея антропологии и этнографии АН СССР, стр. 27.

⁸ Коллекционные номера на предметах, естественно, отсутствуют, поскольку они не вошли в состав основной коллекции. На части их есть полевые цифры, но к сожалению, небрежно выполненные и поэтому плохо поддающиеся расшифровке. См.: Э. Е. Фрадкин, Новые антропоморфные и зооморфные скульптурные изображения по материалам раскопок П. П. Ефименко на палеолитической стоянке Костенки I (1931—1936), «Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Института этнографии АН СССР (Ленинградское отделение) за 1966 год», Л., 1967.

⁹ Автор пользуется случаем поблагодарить С. В. Иванова за помощь в поисках термина.

¹⁰ Называя изображения 1, 2, 3..., мы здесь и в дальнейшем допускаем условность, поскольку нельзя определить, какое из них было выполнено первым. Также невозможно судить о том, было ли у авторов произведений намерение выделить какое-то изображение как главное или основное.

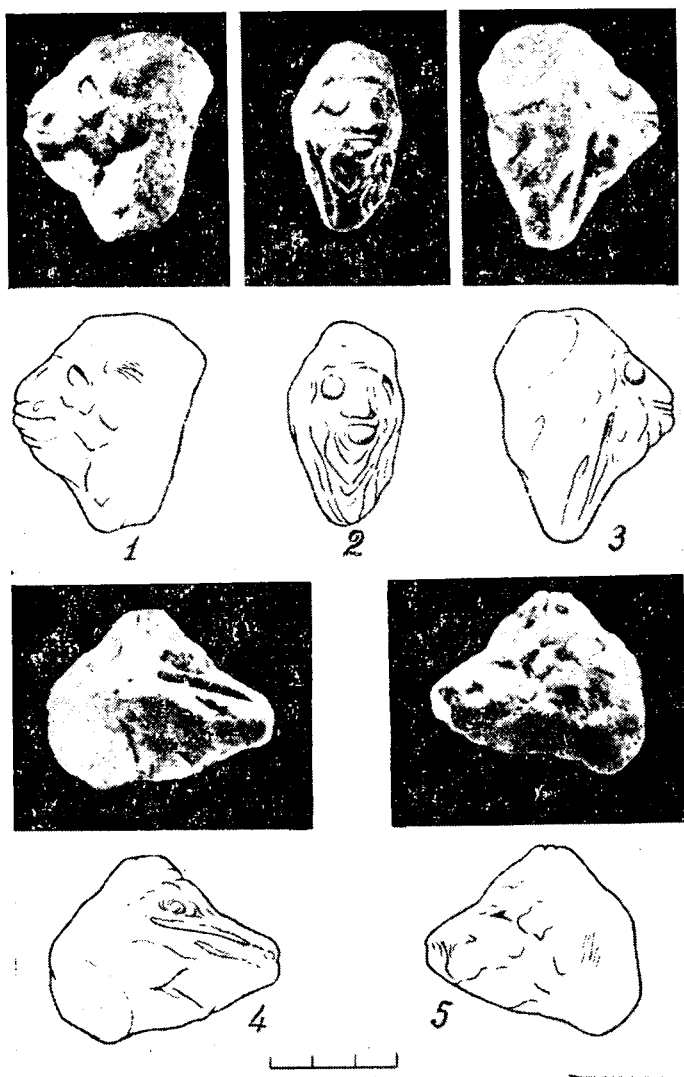


Рис. 1. Полиэконическая скульптура с тремя изображениями: 1—3 — голова зверя с антропоморфными чертами; слева направо — левый профиль, фас, правый профиль; 4 — голова животного (кабан?); 5 — голова животного (лев?)

«лишняя» косая врезанная линия за скулой — глаз животного. Непонятная вертикальная линия, проходившая от лба к скуле в изображении человека, здесь выявляет скулу зверя. И, наконец, короткие параллельные штрихи, «лишние» на шее человека, превращаются в условное изображение шерсти на лбу льва.

3. На куске мергеля серого цвета неправильной формы (3,3×2,8×2,4) имеются два изображения. Одно из них — голова льва (рис. 3, 1, 2, правый профиль и фас), второе — голова медведя (рис. 3, 3, 4).

Левый глаз льва передан глубокой выемкой неправильной формы, правый менее глубоко врезан и смещен по отношению к левому. Широкий толстый нос, промоделированный на конце, в целом трактован уплощенно. Скулы слегка промоделированы. Пасть, показанная глубокой и широкой выемкой, производит впечатление открытой. Чуть выступающим контуром обозначены уши. Слишком острый подбородочный выступ, неоправданный в изображении головы льва, заставляет искать объяснения. И действительно, при повороте камня почти на 180° мы различаем второе изображение — голову медведя, где подбородок льва превращается в левое ухо медведя (рис. 3, 3). Правое ухо зверя, очевидно, никогда не было очерчено, хотя при поверхностном осмотре камня может показаться, что на этом месте есть облом. Внимательно

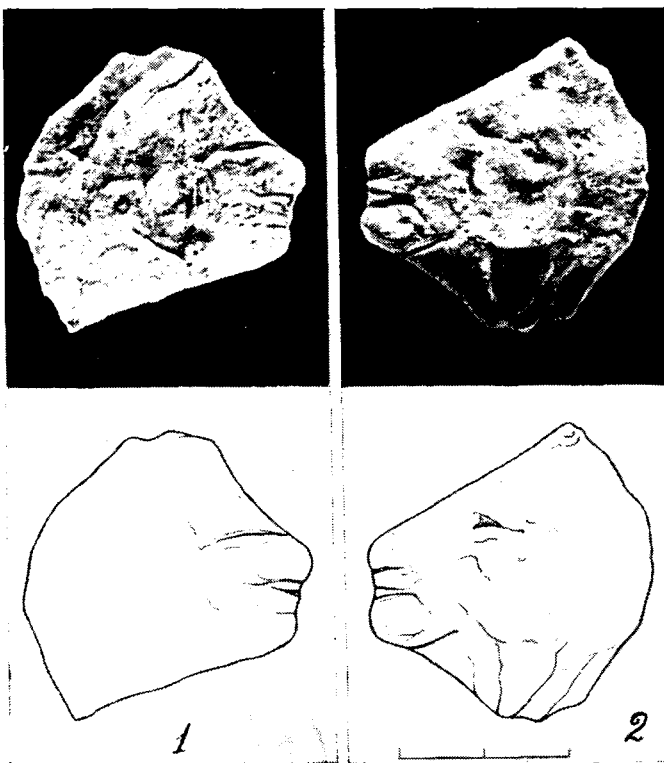


Рис. 2. Полиэйконическая скульптура с двумя изображениями:
1 — лицо человека в профиль; 2 — голова льва в профиль

рассматривая «облом», убеждаемся, что на нем нет следов обработки. Следовательно, учитывая этот естественный облом камня, мастер не сделал никаких попыток вырезать второе ухо. Лоб, глаза и нос промоделированы обобщенно, но в то же время более объемно, чем в первом изображении. В этой голове легко узнается медведь по широкому выпуклому лбу и вытянутому носу. Особенно выразителен левый профиль (рис. 3, 4).

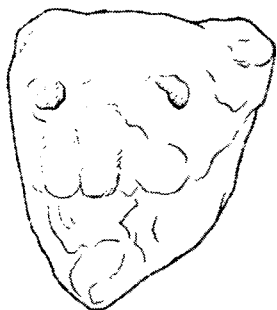
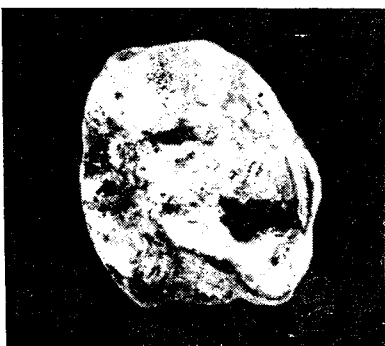
4. Скульптуры на камне серого цвета ($2,8 \times 1,7 \times 2,0$) изображают (кроме одной) не реальных, а фантастических существ. Два больших рельефных круглых выпуклых глаза и маленький нос или клюв напоминают сову или какую-то фантастическую птицу (рис. 4, 1, 2, 3). Поражает обилие деталей на таком небольшом куске мергеля. Набухшие веки под глазами делают их еще более выразительными.

На левом профиле отчетливо видны дугообразные прорезанные штрихи (рис. 4, 1), которых явно слишком много для такой маленькой головки. Размещение их за возможными пределами головки (надо иметь в виду, что контур ее на камне ничем не ограничен), равно как наличие косой врезанной линии и выступа неправильной формы, указывают нам путь для поисков следующего изображения.

В самом деле, лишь слегка повернув камень (рис. 4, 4), мы видим профильное изображение совершенно фантастического существа. Глазом ему служит левый глаз птицы, а косая врезанная линия передает плотно сжатый широкий рот. «Борода» под тупым носом выполнена вертикальными параллельными линиями.

В той части камня, где изображена «борода», камень резко сужается, и, вглядываясь в эту часть и одновременно поворачивая камень книзу единственной уплощенной стороной, мы различаем еще одно изображение — голову собаки или льва (рис. 4, 5, 6). Глаз собаки менее глубоко врезан, лоб промоделирован и отделен от морды. Неглубокая выемка выявляет и моделирует скулу. Нос и ноздри врезаны. Мелкие штрихи отчетливо и живописно рисуют шерсть (рис. 4, 6). Необходимо отметить, что правый профиль собачьей морды (рис. 4, 6) гораздо богаче деталями по сравнению с левым ее профилем (рис. 4, 5). В то же время, поскольку вся голова выполнена на скошенном куске камня, изображения в фас она не имеет.

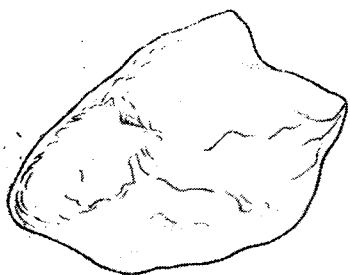
Все описанные камни имели неправильную форму, которая, очевидно, и подсказывала возможность создания нескольких художественных образов на одном куске мергеля.



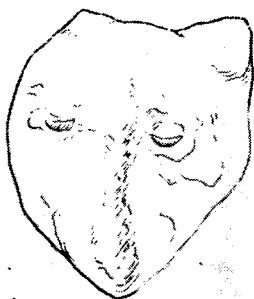
1



2



3



4

Рис. 3. Полиэконическая скульптура с двумя изображениями:
1, 2 — голова льва (фас и правый профиль); 3, 4 — голова медведя (левый
профиль и фас)

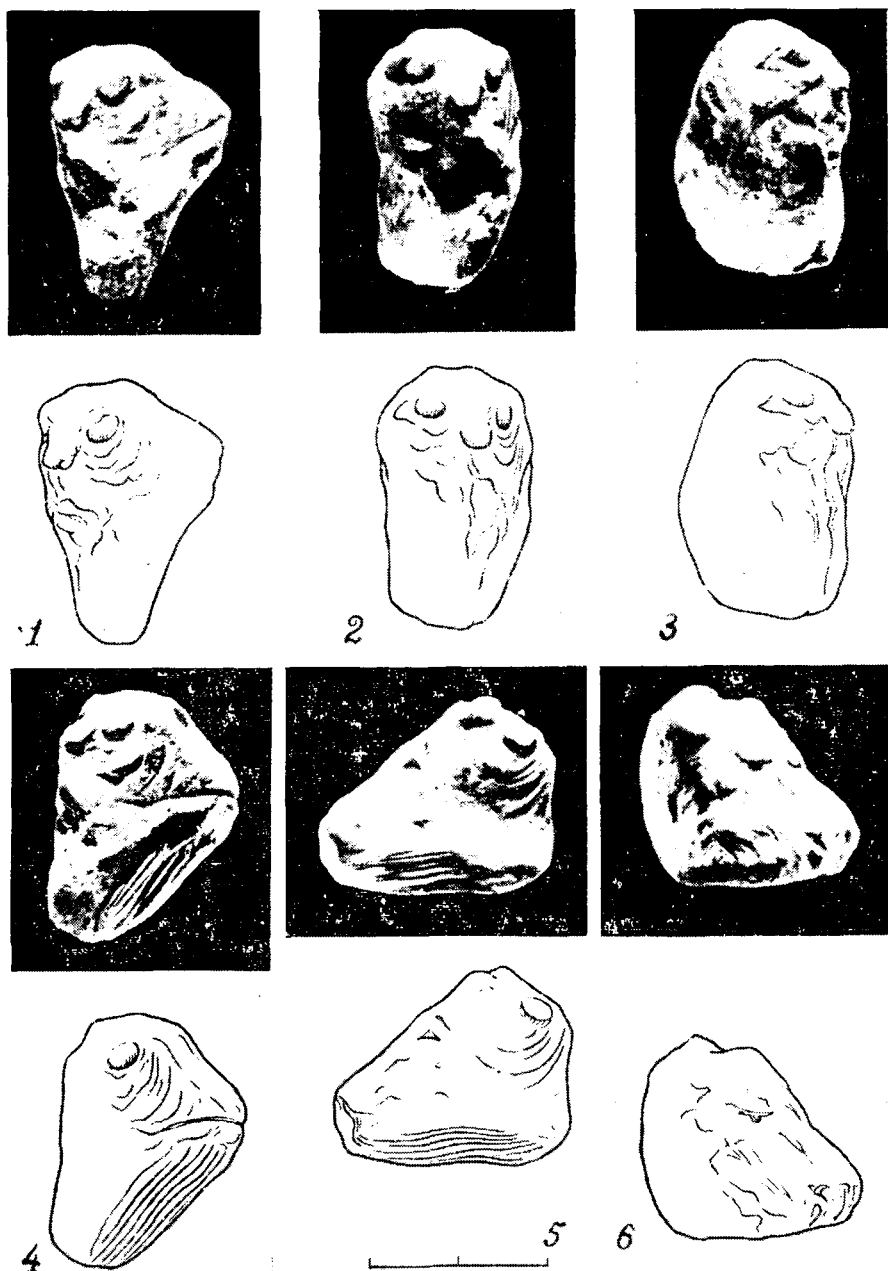


Рис. 4. Полиэikonическая скульптура с четырьмя изображениями:
1—3 — голова фантастической птицы (слева направо: левый профиль, фас, правый профиль); 4 — голова фантастического существа; 5—6 — голова зверя (собака? лев?), левый и правый профиль

Полиэikonические изображения выявляются далеко не сразу. На первом этапе, когда в резервах коллекции перед нами открывались новые изображения, мы обратили внимание на «лишние линии» и «лишние объемы», имеющиеся почти на половине всех найденных нами изображений. Это заставило нас более тщательно исследовать камень, чтобы найти объяснение этому явлению, найти в нем свои закономерности.

Однако полное отсутствие опыта в изучении подобных явлений поставило нас в тупик. В этнографической литературе известны факты порчи изображений, в том числе и скульптурных, в процессе выполнения различных обрядов. Например, у ряда народов Сибири в прошлом недовольство поведением «духа» вызывало уничтожение

или порчу его изображения. Вот почему мы вначале были склонны видеть в «лишних линиях» результаты подобного обращения со скульптурой. Но как тогда объяснить «лишние объемы»? Почему «лишние линии» и «лишние объемы» встречаются только на камнях неправильной формы? В то же время характер врезанных «лишних линий» показывает, что на их создание требовалось довольно много времени и сил, и появление их не могло быть случайностью. Так первое объяснение пришлось отвергнуть как несостоятельное. Закономерности этого явления надо было искать в самом характере скульптуры, в законах художественного творчества.

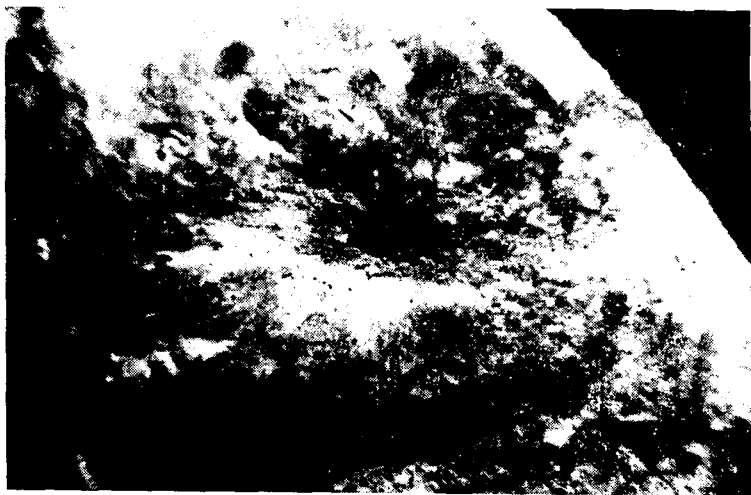


Рис. 5. Скульптурное изображение животного под бинокулярным микроскопом при 9-кратном увеличении. Виден выполненный процарапыванием глаз животного

Мы стали поворачивать камень и рассматривать «лишние линии» и «лишние объемы» с разных точек и в различных ракурсах в условиях разного, главным образом бокового, освещения. Ибо только боковое освещение может выявить сравнительно неглубокие рельефы, которые, как это теперь стало понятно, столь характерны для костенковской скульптуры вообще и полиэikonической в частности. И тогда нашли свое объяснение «лишние линии» и «лишние объемы». Именно они-то и создают многочисленные изображения на одном куске камня. Таким образом, одной из главных особенностей полиэikonической скульптуры является обостренное чувство материала, умение увидеть и превосходно использовать весь камень — его форму и поверхность. Так открылся перед нами новый мир художественных образов, ранее неизвестных не только для эпохи верхнего палеолита, но и вообще для истории искусств всех времен и народов.

В чем же причина возникновения полиэikonизма? В настоящее время мы можем высказать лишь предположение. Вслед за многими исследователями мы склонны считать, что скульптура, как и все искусство эпохи верхнего палеолита, создавалось прежде всего в утилитарных практических целях. Именно полиэikonические изображения могли обеспечить достижение этих целей наилучшим образом.

Имея в руках камень с несколькими изображениями людей и животных, первобытный охотник мог легче и проще передавать свои знания, опыт или мифы во время различных обрядовых действий, в том числе и при обряде инициаций. Не случайно для создания полиэikonических изображений выбирали камень неправильной формы. Такой камень сам подсказывал мысль об этом, так как разные его объемы могли быть по своей природной форме похожи на зверя, человека или птицу. Делом мастера было отыскать камень, удовлетворявший его потребность в том или ином художественном образе, и, «подправив» его, получить полиэikonическое изображение. Кроме того, камень неправильной формы гораздо легче обработать.

Полиэikonизм известен пока только по материалам Костенок 1, но можно утверждать, не боясь быть «смелым», что это явление будет открыто и среди материалов других стоянок эпохи верхнего палеолита, если они будут пересмотрены в соответствии с предлагаемой нами методикой.

Исследуя куски мергеля с изображениями, нельзя не увидеть, что все они сильно окатаны. Естественно возникает вопрос о времени появления окатанности. Мы обратились с этим вопросом к петрографу Г. М. Ковнурко. Он любезно согласился просмотреть камни в нашем хранилище. Г. М. Ковнурко подтвердил, что почти все камни с изображениями представляют собой мергель, несколько камней — известняк. В при-

родных условиях мергель встречается в виде обломков довольно правильных геометрических форм с острыми гранями. Окатанность кусков камня нашей серии, по мнению Г. М. Ковнурко, возникла до того, как они попали в руки первобытного мастера. Такой вывод целиком согласуется с нашими наблюдениями. Как мы уже отмечали, художниками, выполнявшими изображения, использовалась в ряде случаев естественная поверхность камня, и даже окатанность включалась ими в создаваемый художественный образ.

Мы решили проверить наши наблюдения при помощи методики бинокулярного исследования, созданной С. А. Семеновым. Просмотр камней под биноклем мог, кроме того, помочь в определении типов и видов орудий труда, которыми пользовались мастера-скульпторы. Последнее обстоятельство само по себе представляло большой интерес.

По нашей просьбе С. А. Семенов и сотрудник Лаборатории первобытной техники сектора палеолита Института археологии АН СССР (Ленинградское отделение) Г. Ф. Коробкова под биноклем при 16- и 32-кратном увеличении просмотрели около 30 камней. Как мы и ожидали, все линии и углубления на поверхностях камней оказались искусственного происхождения. Древние мастера из Костенок I употребляли кремневые ножи с различной шириной лезвия, резцы и проколки. Исследование под биноклем показало, что в ряде случаев поверхность, казавшаяся нам нетронутой, естественной, на самом деле несет на себе следы человеческой деятельности — срез, процарапывание. Сглаженность, появившаяся под влиянием длительного пребывания в земле, и известковые натёки не всегда позволяют видеть эту обработку невооруженным глазом.

В настоящей работе мы ограничились характеристикой только четырех камней, ибо размеры статьи не позволяют описать все исследованные камни равно как и все остальные одиночные изображения.

Открытие большой серии скульптурных изображений, в том числе и полизйконических, в материалах Костенок I настоятельно требует пересмотра характеристики ранее исследованных произведений искусства и проверки правильности их определения. Нужна также новая классификация памятников искусства Костенок I. Частично эта работа нами уже выполнена¹¹.

¹¹ Э. Е. Фрадкин, Опыт изучения палеолитических изображений из Костенок I в кн.: «Тезисы докладов годичной научной сессии. Ленингр. отд. Ин-та этнографии АН СССР. Май 1968 г.», Л., 1968, стр. 65—66.

Г. Ф. Коробкова

РЕЗУЛЬТАТЫ БИНОКУЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРГЕЛЯ ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ КОСТЕНКИ 1

(МАТЕРИАЛЫ РАСКОПОК П. П. ЕФИМЕНКО
1931—1936 гг.)

По просьбе Э. Е. Фрадкина в Лаборатории первобытной техники Сектора палеолита Института археологии АН СССР (Ленинградское отделение) С. А. Семенов и Г. Ф. Коробкова изучили более 30 кусков мергеля при 16- и 32-кратном увеличении под бинокулярным микроскопом (большая часть камней просмотрена автором настоящей заметки).

Мы приводим здесь результаты исследования только трех кусков мергеля с изображениями, которые публикуются в настоящей работе Э. Е. Фрадкина. На четвертом камне следы обработки настолько хорошо видны невооруженным глазом, что не нуждаются в изучении под биноклем.

На первом камне под бинокулярным микроскопом отчетливо видно, что при вырезывании пасти зверя у первобытного художника несколько раз срывался резец. Ноздри зверя процарапаны кремневым ножом. Эффект выпуклого века получен здесь благодаря срезам и оконтуриванию части поверхности камня ножом. Длинные глубокие линии, выемка (глаз) и косая линия (пасть) второго изображения процарапаны кремневым резцом. Пасть зверя третьего изображения образована срезом края камня и процарапанной линией. Глаз и ноздри также процарапаны резцом.

На втором камне глаза животного процарапаны резцом, а затем более тонким острием кремневой проколки. Пасть прорезана, очевидно, резцом, но позднее заплывла известковым натёком, что мешает точному определению инструмента. Глаз, пасть и ноздри второго изображения процарапаны ножом.

На третьем камне имеются многочисленные следы человеческой деятельности. В первом изображении глаза и клюв вырезаны ножом. Детали другого изображения процарапаны резцом и ножом. Третье изображение получено в результате последовательно проведенных двух операций: а) срезов по всей поверхности камня кремневым ножом с широким лезвием — эти срезы образовали форму; б) процарапывания деталей резцом (глаза, нос, ноздри).

Мы опускаем здесь результаты изучения остальных кусков мергеля и приведем лишь общие выводы, сделанные на основании бинокулярного исследования всего материала.

На всех просмотренных под бинокулярным микроскопом камнях отчетливо видны следы искусственной целенаправленной человеческой деятельности. Эти следы оставлены различными кремневыми орудиями труда: ножами с различной шириной лезвий, резцами, проколками и коническими сверлами.

Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет выделить три технических приема изображения глаз: 1) для получения выпуклых глаз процарапывали веко, отлекая его от глазного яблока; 2) глаза процарапывали без выделения глазного яблока; 3) последний прием, повторенный лишь дважды, — глаза просверливали кремневым коническим сверлом. Отметим, что этот прием был использован только для изображения глаз мамонтов.

Как справедливо отмечает Э. Е. Фрадкин, все изображения выполнены при помощи сравнительно небольших затрат труда, они действительно отличаются необычайно лаконичным художественным языком и несут характер «подправок» и «добавлений» к естественной форме и поверхности камня. Однако в ряде случаев поверхность, казавшаяся необработанной невооруженному глазу, под бинокуляром выявляет следы обработки. Более того, можно проследить определенную последовательность в операциях. Вначале делали срезы камня — «обстругивание», затем процарапывали и просверливали детали. Углубления в камне производили резцами, часто в несколько приемов. Если же не удавалось сделать углубления резцом, использовали острие проколки, которая употреблялась для наиболее тонких операций.

И. К. Федорова

О ДЕСЯТИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РАПАНУЙСКОГО ЯЗЫКА

(ИЗ СЛОВАРЯ АГУЭРЫ)

Остров Пасхи был открыт в 1722 г. голландским мореплавателем Роггевеном. От него и члена его экипажа К. Ф. Беренса были получены первые сведения о жителях острова, их обычаях, домах, плантациях, о каменных статуях, моаи, увенчанных «корзинами»¹.

Но вскоре об о. Пасхи было забыто и только 48 лет спустя к берегам его снова подошли европейцы — на двух испанских военных кораблях под командованием Ф. Гонсалеса, который присоединил остров к владениям испанского короля.

Во время шестидневной стоянки кораблей Гонсалеса у берегов острова одним из офицеров фрегата «Санта Росалия» (очевидно, лоцманом Франсиско Антонио де Агуэра-и-Инфансон) был составлен первый краткий словарик рапануйского языка². Словарь насчитывает 94 слова. Это в основном слова, обозначающие части человеческого тела и внутренние органы, географические и астрономические термины, несколько глаголов и числительные от одного до десяти. Как сообщал составитель, словарь был составлен при помощи знаков, рисунков и демонстрации самих предметов. Но автор, совершенно не знавший полинезийских языков, записал многие слова неверно: или искажен «звуковой образ» слова, или сам термин заменен по ошибке другим. Например, вместо *uka* — 'молодая женщина' в словаре Агуэры стоит слово *tatagui* — 'чрево', вместо *ariki mau* — 'верховный вождь' дано *teguetegue* (ср. рап. *teketeke* — 'гребень, вершина'), вместо *vae* — 'ступня ноги' записано *mangamanga* (ср. рап. *maga* — 'палец') и т. п.

Хотя нет сомнений в том, что перед нами словарь рапануйского языка, исследователей, однако, смущало наличие числительных, отличных от тех, что употребляются в современном рапануйском языке:

1 — <i>Coyana</i>	6 — <i>Feuto</i>
2 — <i>Corena</i>	7 — <i>Fegea</i>
3 — <i>Cogojui</i>	8 — <i>Moroqui</i>
4 — <i>Quiroqui</i>	9 — <i>Vijoviri</i>
5 — <i>Majana</i>	10 — <i>Queromata</i>

Эти числительные привлекали внимание известных исследователей тем более, что уже в 1774 г. участниками экспедиции Дж. Кука (всего лишь через четыре года после Гонсалеса) были записаны общезвестные числительные рапануйского языка, сходные с числительными других малайско-полинезийских языков³. От Пикерсгилла⁴, посетившего остров, Кук получил краткий словарь, который указывал на «сходство этого языка с языком народов других островов». По мнению английского мореплавателя, числительные рапануйцев (все, кроме обозначения числа 10) — такие же, как на Таити:

¹ J. Roggeveen, Extracts from the official log of Mynheer J. Roggeveen (1721—22), в кн.: F. Gonzales, The voyage of Captain Don Filipe Gonzalez... to Easter Island in 1770—71 (translated by B. C. Vorney), Hakluyt Society, 2d ser., vol. 13, London, 1908, pp. 12—20.

² «Journal of the principal occurrences during the voyage of the Frigate Santa Rosa-lia... in the year 1770. By an officer of the said Frigate», в кн.: F. Gonzalez, Указ. раб., стр. 109—110.

³ Дж. Кук, Второе кругосветное плавание капитана Джемса Кука. Плавание к Южному полюсу и вокруг света в 1772—1775 гг., пер. с англ., М., «Мысль», 1964, стр. 313.

⁴ Сам Кук из-за болезни не смог побывать на острове.

<i>Ta hie</i>	1 (ср. <i>tahi</i>)	<i>Hetu</i>	7 (ср. <i>hitu</i>)
<i>Roua</i>	2 (ср. <i>rua</i>)	<i>Wharrou</i>	8 (ср. <i>varu</i>)
<i>Toru</i>	3 (ср. <i>toru</i>)	<i>Heva</i>	9 (ср. <i>iva</i>)
<i>Aha</i>	4 (ср. <i>ha</i>)	<i>Co-be-hu</i> }	10 (ср. <i>agahuru, kauatu</i>) ⁵
<i>Rema</i>	5 (ср. <i>rima</i>)	<i>Co-tu-ono</i> }	
<i>Honu</i>	6 (ср. <i>ono</i>)		

Написание и значение терминов, обозначающих 10 (*Co-be-hu, Co-tu-ono*), пока, к сожалению, остаются неясными.

В июне 1963 г. в журнале «Ман» была опубликована небольшая статья А. Росса, посвященная десяти числительным из словаря Агуэры. Автор полагал, что не может быть и речи об ошибочной записи. Но так как эти числительные не имели ничего общего с первыми десятью числительными полинезийских, меланезийских и папуасских языков, то Росс робко высказал предположение, не являются ли эти лексемы следами нерапануйского языка на о. Пасхи в конце XVIII в.⁶

В ноябре 1936 г. в статье, напечатанной в том же журнале под названием «Числительные с острова Пасхи», на вопрос, поставленный Россом, ответил А. Метро. Не соглашаясь с Россом, Метро, побывавший на о. Пасхи в составе франко-бельгийской археологической экспедиции, отмечал, что нет никаких фактов в пользу существования двух разных культур в этой части Тихого океана. Вполне возможно, считал Метро, что на о. Пасхи (как и на Туамоту, например) существовали две разные системы счета: одна — общеполинезийская, другая — местная, созданная островитянами с определенной целью⁷.

Мнение о том, что приведенные в словаре Агуэры числительные являются неполинезийскими, теперь отстаивает Тур Хейердал. В 1961 г. в первом томе Трудов Норвежской экспедиции он писал, что «они (испанцы.—И. Ф.) составили словарь местного языка, который содержит некоторые явно полинезийские слова, в то время как другие, включая числительные, отличаются от иных полинезийских диалектов»⁸.

О неполинезийском характере этих числительных Хейердал говорил на VII МКАЭН (Москва, август 1964 г.) и на XI Тихоокеанском конгрессе в Токио (август — сентябрь 1966 г.).

В этой маленькой заметке нам хотелось бы показать, что так называемые числительные в словаре Агуэры вообще не являются таковыми: за числительные ошибочно приняты другие слова рапануйского языка, не имеющие никакого отношения к десятичной системе счета рапануйцев⁹.

Нет необходимости доказывать, что, знакомясь с неизвестным языком, труднее всего записывать глаголы, наречия, числительные и служебные слова, а в отличие от участников экспедиции Кука¹⁰ испанцы не были знакомы с полинезийскими языками и не могли проверить материалы, полученные от информаторов-рапануйцев.

Обратимся теперь к анализу «числительных» Агуэры. В более правильной записи (хотя и не окончательной) эти слова будут иметь такой вид:

1 — <i>iana</i>	6 — <i>uto</i>
2 — <i>rena (renga)</i>	7 — <i>hea</i>
3 — <i>ngohui</i>	8 — <i>moroki</i>
4 — <i>kiroki</i>	9 — <i>he viri he viri</i> (?)
5 — <i>mahana</i>	10 — <i>kero mata</i>

⁵ В издании 1777 г. второго путешествия Дж. Кука в качестве числительного 10 приводится общеполинезийская форма *atta'hooroo, anna'hooroo*; см., например: A. S. Ross, Preliminary notice of some late eighteenth century numerals from Easter Island, «Ман», vol. XXXVI, 1936, № 120.

⁶ A. S. Ross, Указ. раб.

⁷ A. Métraux, Numerals from Easter Island, «Ман», vol. XXXVI, 1936, № 254.

⁸ Th. Heyerdahl, Ed. Ferdon (ed.), Reports of the Norwegian archaeological expedition to Easter Island and the East Pacific, vol. I, Chicago, New York, San Francisco, 1961, p. 50.

⁹ В 1962 г. Бартель вскользь отметил, что термины из словаря Агуэры (*ko hana, ka rena, ko koku, kiroki, mahana, to uto, te hea, moroki, vuhoviri, keromata*) или представляют собой особую систему счета, или не являются числительными вообще. В качестве примеров он приводил такие слова: мангареванск. *hanga* — 'мерить, сикок', *rena* — 'растягивать', *uto* — 'бакен'; маорийск. *kowhanga* — 'гнездо'; *korengarenga* — 'переливающийся через край'; *kokoku* — 'сваренный'; *mahenga* — 'ловушка, близнецы'; *moroki* — 'слово для выражения длительности' (см. Th. Barthel, Zahlweise und Zahlenglaube der Osterinsulaner, «Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde, Dresden», Bd. 21, Berlin, 1962, S. 3).

¹⁰ Кук посетил о. Пасхи во время своего второго кругосветного путешествия, побывав до этого (во время первого и второго путешествий) на Таити, Тонга, Новой Зеландии и других островах. Во время экспедиции англичане пользовались услугами переводчика-таитянина.

Первое слово *iana* может быть истолковано как местоимение «его» (ср. рап. *aana* — 'его, её'; маорийское *ana* — 'его, её'; рап. *iaia* — 'его', досл., 'в нём').

Слово *rena* в рапануйском языке нет, а *renga* не относится к разряду числительных. Это скорее прилагательное со значением «красивый, хороший»; оно может иногда употребляться и в качестве существительного в значении «красотка, крошка, малютка». В маорийском языке морфема *rena* означает «полный, обильный».

Gohu в рапануйском языке имеет лишь значение «жадно есть». В данном случае, возможно, приведена искаженная глагольная форма *he (ka) gohu i (te uhi, te kahi, te moa и т. д.)* — он ест (ямс, рыбу, тунца, цыпленка).

В маорийском языке есть лексема *ngohungohu* со значением «кустарники *Leucopogon fasciculatus* и *Gyathodes juniperina*».

Лексемы *kiroki* в рапануйском языке нет. Очевидно, перед нами неправильная запись какого-либо слова, скорее всего слова с удвоенной морфемой: *kirokiro* или *rokiroki*. Сравним такие слова: рап. *kerokiro* — 'темный'; *pokirokiro* — 'темнота'; маор. *rokiroki* — 'скопление, ряд предметов'.

Mahana — в рапануйском языке тоже может быть отнесено к разряду прилагательных (отвлечемся здесь от значения «день»), со значением «слабый, вялый» (ср. маор. «теплый») ¹¹.

В рапануйском языке слово *uto* означает «веха, буй», хотя вполне возможно, что в данном случае речь шла о ядре кокосового ореха (или о плодах хлебного дерева). Сравним, например, маркизское *uto* — 'ядро кокосового ореха'; мангареванское *uto* — 'ядро кокосового ореха, мозг, желток яйца'; фиджийское *uto* — 'сердцевина дерева, хлебное дерево, костный мозг'.

Слово *hea*, состоящее из двух морфем (*he-a*) означает в рапануйском языке «где?» (ср. также маорийское *hea* — 'множество, большинство').

Лексема *moroki* в языке о. Пасхи есть: этим словом обозначается маленькая рыбка — живец, которого целиком насаживают на крючок удочки.

Труднее всего понять слово *vijoviri*, состоящее из двух морфем. Вторая морфема *viri* может быть глаголом (ср. рап. (*he*) *viri* — 'вить, крутить, закручивать'); морфема *viho* в полинезийских языках не зарегистрирована. Скорее всего перед нами глагол *he viri*, повторенный дважды.

Слово *queromata* представляет собой сочетание двух слов (*keramata*) со значением «мигать, моргать глазами; умирать» ¹².

Приведенные выше значения свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что записанные Агуэрой термины не являются числительными.

Не исключены, конечно, иные толкования этих десяти слов, но и приведенные значения, думается, говорят не в пользу тех, кто отстаивает возможность существования на о. Пасхи реликтов иного (неполинезийского) языка.

Изложенные выше соображения не могут полностью опровергнуть положение Метро о двух различных системах счета у рапануйцев. Однако нам не известны факты, подтверждающие эту гипотезу.

¹¹ В маорийском языке есть и лексема *mahana* — 'день', а также форма *māhana* — 'для него, для неё'.

¹² *Mata* — 'глаза' (слово, общее для малайско-полинезийских языков); ср. также маор. *kerō* — 'мигать, моргать, мертвый'; *kekero* — 'умирать'; рап. *kerō* — 'кончать (работу), кончатся'.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Н. Р. Гусева

ТЕЧЕТ ДЖАМНА

(ОЧЕРК НАРОДНОГО ИНДУИЗМА)

Древняя и чрезвычайно разветвленная религия индуизм, и сейчас играющая большую роль в жизни и быту каждого индуса, давно заслуживает самого тщательного исследования. Однако ни у нас в стране, ни на Западе индуизм еще не только не изучен во всех своих проявлениях, но даже просто не описан во всем своем многообразии.

Мне довелось провести в Индии два года (с 1962 по 1964 г.) и неоднократно наблюдать молитвенные церемонии и жертвоприношения. В данной статье делается попытка обрисовать хотя бы в самых общих чертах некоторые моменты религиозной обрядовой практики индуизма в среде так называемых средних и низких слоев городского населения страны. Я не касаюсь в столь небольшой статье всех остальных сторон этой религии, во многом противоречивой, частично уже изживающей себя, но все же до наших дней оказывающей значительное влияние на жизнь индийского общества в целом, влияние особенно отрицательное в силу того, что кастовый строй опирается на правовые институты индуизма.

* * *

На берегу древней Джамны, которая несет свои воды мимо Дели в течение тысячелетий, как и на берегу каждой индийской реки, можно наблюдать совсем особую жизнь, жизнь молитв и религиозных церемоний. Эта жизнь мало менялась в течение тысячелетий. Сюда люди приходили молиться своим богам, когда Дели, по преданию, носил гордое и прекрасное название Индрапрастхи — столицы великих и непобедимых героев древности, героев эпической поэмы «Махабхараты», пяти братьев Пандавов. Здесь стояли храмы во времена кровавых битв со многими и многими захватчиками, врывавшимися в Индию с севера и запада и стремившимися захватить Дели — крепость страны, город, многократно воскресавший из праха, центр сильнейших империй, ключ к овладению всей территорией Индии.

Сюда, на берег священной реки, из года в год, из столетия в столетие в дни праздников стекались паломники, чтобы совершить омовение, принести жертву утреннему солнцу и душам предков.

Много раз сменялись правители на делийском троне, но жизнь простого народа оставалась прежней. Он продолжал упорно цепляться за веру своих предков, видя в ней единственную поддержку, единственное

прибежище. Он тоже жил своей жизнью безымянных героев, созидателей, великомучеников и фанатиков, он сражался в армиях всех императоров, погибал в стихийных и бесплодных восстаниях, возводил дивные города и страстно умолял богов о помощи во всех случаях, когда не мог помочь никто на земле, а из таких случаев складывалось почти все его существование.



Рис. 1. Богиня Кали (это и остальные фото сделаны автором в 1964 г.)

Вера предков была незыблема, особенно вера в богинь-покровительниц. Она передавалась из поколения в поколение без изменений. Те, кто сменил ее, приняв другое вероисповедание, вообще ушли из ее лона и во многом забыли ее заветы, но те, кто сохранил ее, хранили, ревностно веря, что «мать» спасет от любой беды (слово «мать» прибавлялось к имени каждой богини, и таких богинь-матерей у индийцев столько, сколько деревень на индийской земле).

Богини рек, прудов и колодцев, богини дорог и перекрестков, богини болезней и страхов, богини угрожающие и благие, милостивые и карающие царили в душах людей и в храмах, требуя безоговорочной веры и почитания, готовности приходить в ужас и приносить жертвы.

Древнейшие эти культы живы и сейчас. Простой народ стекается к храмам богинь, жаждая, веря, умоляя и надеясь...

Я как-то приехала в храм богини Кали на берегу Джамны. Цветные флажки на высоких шестах развеваются у ворот этого храма, выходящих на людное шоссе. По одну сторону ворот проносятся тысячи современных автомобилей, по другую — стоит простой глинобитный дом под соломенной крышей — храм Кали. Перед ним во дворе крытый алтарь-часовенка с изображением богини, а вокруг этого алтаря с четырех сторон взрыхленная земля — место, где приносят кровавые жертвы — режут козлят и петухов. В самом храме тоже изображение богини — черная многорукая статуя в ожерелье из черепов и с высунутым позолоченным языком — масса мелких статуэток у ее ног и яркоцветных литографий по стенам, изображающих других богов индуизма.

Чисто внешнее использование элементов современной цивилизации — электрических ламп, озаряющих белые глаза Кали на черном лице, или целофана, укрывающего литографии от пыли, — не оказывает никакого явного влияния на молитвенное состояние прихожан. Я смотрела, как

они садятся на земляной пол перед жрецом — длинноволосым плотным мужчиной лет пятидесяти, и с непоколебимой верой исполняют все, что он велит. Подходят к нему поочередно, пьют воду, которую он наливает им в ладони, излагают в двух — трех скупых горьких фразах суть своей беды, и словно истинное озарение, словно божественную панацею от всех скорбей, принимают слова его короткой молитвы. Этот жрец считается великим святым, говорят, ему уже сто пятьдесят лет и он якобы ничего никогда не ест. Один из молящихся сказал мне, что нет того горя, от которого не смог бы избавить этот святой, что к нему приходят не только жители Дели, но и люди из других городов, и что лет десять назад он еще вкушал земную пищу, но только то, что откусывала от лепешки или плода змея, которую он всегда носил вокруг своей шеи.

Почти каждая религия требует от своих приверженцев, чтобы ее принимали всю целиком. А те, кто не хотел или не мог принимать ее всю, становились сектантами, учили воспринимать «отсюда и досюда». Их преследовали, сжигали на кострах (или они сами себя сжигали) и боролись с их неправдами всячески. Каждая религия требовала особого к себе отношения, особого расположения духа. А если не было этого отношения и расположения, то полагалось сделать вид, что оно есть. Почти каждая религия приучает верующих к лицемерию, и поэтому против каждой религии искренние люди поднимали бунт, призывали к чему-то, более соответствующему их внутренней прямоте и правде. И рождались новые вероучения, которые снова надо было или принимать целиком, или фальшивить. Троны религий постоянно раскачивались, и, прежде всего, их расшатывало требование принятия всей религии, всего вероучения в целом.

Не таков индуизм, этот сложнейший религиозно-философско-социальный комплекс. Индуизм — не система, а набор систем, не философия, а ряд философий, даже не вероучение, а механическое соединение самых разных вероучений, не догма, а обилие догм. Каждый человек может почерпнуть в нем для себя то, что соответствует укладу его жизни, его внутренней сущности, его целям и запросам. Если вы склонны к точному исполнению религиозных обрядов, их предписано и описано в индуизме такое множество, что вы можете выбрать для исполнения любые. Если вы не склонны к этому, вы найдете в индуизме же предписанный путь жизни без всяких обрядов, путь созерцания и размышления. Людям, по натуре своей склонным к экзальтации и иступленным проявлениям фанатизма, индуизм может предложить целый ряд культовых отправлений, невозможных без фанатического экстаза, а тем, кто склонен видеть в богах членов своей семьи или мало замечаемую принадлежность повседневной жизни, он говорит: «боги — это вы, они присутствуют в каждом проявлении вашей жизни, не уделяйте им специального внимания».

Индуизм никогда и ни от кого не требовал, чтобы его принимали целиком и безоговорочно. Любой культ — это индуизм. Отрицание одних богов во имя других — это индуизм. И даже отрицание всех богов во имя абстрактной идеи божества — это тоже индуизм. В древних религиозных гимнах проросли первые семена научной мысли и получили свое развитие в комментариях к этим религиозным гимнам. В религиозных же гимнах отразилось и зарождение атеизма. И все это вошло в понятие индуизма.

Религиозно-сектантские вероучения, отвергавшие те или иные догмы индуизма, тоже с течением времени вошли в состав индуизма. Он многогранен, многочислен, лишен единой формы. не может быть уложен в единую систему, и в этом залог его неистребимости в течение такого огромного исторического периода.

Бывала я много раз на пуджах — церемониях почитания божества — и в храмах, и в домах, и в молельнях, и просто на улицах. И всегда меня

поражала та особенная атмосфера непринужденности в обращении со святынями, которая характерна для индуизма.

Шла как-то Вишну-пуджа. Вишну в эпоху средневековья был знаменем антикастового движения бхакти. Это демократическое божество. На его пуджу обычно приглашают и слуг, и всех соседей. Мы все сидели — кто на стульях, а кто на полу — вокруг алтаря. Алтарем служила низкая скамеечка, к ножкам которой были привязаны банановые побеги, на ней стояла медная чаша с маленьким светильником, рисом, и чем-то еще, лежали кокосовый орех и цветы. На полу возле скамейки стояли крохотные сосудики с цветными порошками, с ароматными жидкостями, прасадом — сладкой ритуальной едой. Перед ней на еще более низкой скамеечке сидел брахман, главный пуджари. Священный шнур был переброшен через его левое плечо. Лицо у него было светское — он улыбался, живо смотрел вокруг, разговаривал с присутствующими о совсем посторонних вещах.



Рис. 2. Отшельники-садху на берегу Джамны

За его спиной на полу сидел молодой брахман — его ученик, младший жрец, перебирая листки санскритских молитв — мантр. Он их читал почти так, как в русских церквях читают молитвы или евангелие. Тот же речитатив, те же распевы на концах абзацев, те же интонации. Это заставляло снова и снова думать о давней арья-славянской этногенетической близости (или общности?) и о том, что, конечно же, не только греческие молитвенные распевы пришли в русско-христианские богослужения, а и дохристианская мелодика языческих треб, принесенная, возможно, древними арьями и сюда, в Индию.

В разгар молитвы пуджари вдруг обратился ко мне и спросил на хорошем английском языке.

— Вы были в Агре? Я из Агры.

Мы поговорили об Агре, и в разговоре приняли участие почти все присутствующие, а младший жрец продолжал в это время читать мантры.

Отношение к богам самое домашнее. Все естественно, просто, как в своей семье, без выпренных чувств и слов. В любую минуту можно прервать молитву, в любую минуту начать снова — боги не осудят. Кто хочет — разговаривает, кто хочет — улыбнется или засмеется, а потом опять молится, никто не посмотрит с укором.

А однажды, зная, что я занимаюсь изучением индуизма, для меня устроили пуджу в храме Шивы. У символа божества — каменного фаллоса, именуемого шивалингам, сидел пуджари, молился. Прерывая молитву, он деловито объяснял, что я должна делать — вот сейчас посыпать на изображение бога красный порошок, а сейчас — лепестки цветов, а затем — трилистную траву «билва», посвященную Шиве. Опять молился. Из сосуда, висевшего над шивалингамом, тонкой струйкой тихо лилась вода и, омывая его, стекала по желобку. Время от времени кто-нибудь из присутствующих собирал ее в ладонь, плескал на губы, смачивал лоб, волосы. Все вдруг начинали болтать о чем-то постороннем, смеяться, и пуджари, отрываясь от молитв, тоже втягивался в разговор, смеялся, шутил, потом опять молился, как ни в чем ни бывало. Затем меня попросили обратиться к присутствующим с речью.

— Да, помилуйте, о чем же я здесь могу говорить? — удивилась я.

— А о чем хотите. Все эти люди пришли послушать вас. Вот вам микрофон, расскажите что-нибудь о вашей великой стране. И что у вас знают об Индии.

И я выступила в этом храме, рассказала о нашей жизни, о системе образования и многом другом, что остро интересует индийцев. Слушали внимательно и задали потом много вопросов, выступали с ответными речами. После этого был концерт. Прямо тут же в храме. Исполняли на разных музыкальных инструментах классические мелодии, пели молитвенные гимны — бхаджаны.

И это не единичный случай. Храмовые праздники и церемонии, на которые собираются толпы народа, постоянно используются общественными деятелями или организациями для выступлений — это давняя традиция.

Как-то я купила на базаре литографии, изображающие богов и героев разных мифов. Лежали они у меня на столе. И вот однажды в комнату набилось множество хозяйских и соседских детей. Они мгновенно расхватали эти картинки и стали их рассматривать. Я слышала, как они тихонько бормотали имена всех персонажей, изображенных на картинках, споря о том, кто лучше и полнее произносит не только все имена, но и титулы. Они без запинки разъяснили мне содержание всех литографий.

Национальная культура сохраняется в недрах семьи. Как родители воспитывают детей, так и проявляет себя весь народ.

Взять, например, то особое отношение к животным, которое предписывают все религии Индии.

В Индии вы нигде не почувствуете того, что животные имеют какие-то другие виды на жительство, чем люди. Раз и навсегда им выдана лицензия на право существования рядом с людьми. И не только животным, но и птицам и даже насекомым. Убить или не убить муху или муравья — это вырастает для индийца в нравственную проблему, или даже не так — не вырастает в проблему, а просто не существует как проблема. Существует один всем известный ответ — не убивать. Если проблема и была, то она давно разрешена древними мудрецами, и готовый рецепт поведения выдан людям на тысячелетия вперед. Не убивать! Жизнь священна во всех ее проявлениях. Слово «ахимса» значит «неубийство». Доктрина ахимсы господствует во всех индийских философиях. Есть к ней только одна оговорка, внесенная мудростью жизненной практики, — «без нужды». Не убивай без нужды.

Под этой нуждой понимаются две главные вещи — пища и жертва богам. В этом вопросе нравственная проблема нашла два разрешения: одно — не убивай ни ради пищи, ни ради жертвы богам, а другое — убивай только ради пищи и жертвы. Сторонников первого решения очень много, а в древности было и еще больше, — это буддисты, джайны, и вегетарианцы разных толков в лоне индуизма. Но сторонниками второго решения являются почти все простые люди Индии, которые верят в любовь богини-матери к живой крови и плоти. Они приносят и приводят десятки и сотни тысяч петухов и козлят на заклание у подножий ее алтарей, особенно в дни посвященных ей праздников.

Вопрос о пище частично решается в ходе этих же церемоний, так как мясо обезглавленных животных в тот же день будет сварено или изжарено и съедено.

В другие дни режут мелкий скот и птиц уже без религиозных побуждений, а просто для еды. Но не так уж много, потому что это могут позволить себе только люди со средствами.

При этом каждый, кто ест, например, «кари» из баранины или курицы, тут же осторожно снимет муравья со стола на пол, постараясь не повредить его. И вот в этом уже Индия. Животно-насекомо-птичий мир живет здесь своей полнокровной жизнью, рядом с людьми и вокруг людей, не испытывая перед ними страха. И в целом это все же очень украшает жизнь.

За храмом богини Кали на берегу Джамны стоит храм бога Шивы, недалеко от него храм бога-обезьяны Ханумана, рядом еще храм и еще, и еще. Вблизи них и вокруг них — лачуги, лачуги, лачуги. Это районы бедняков — прихожан этих храмов. Здесь живут дорожные рабочие, дельйские мусорщики, стиральщики. Здесь же и жилища служителей шмашана — места сожжения мертвых. Сам шмашан расположен тут же, ниже по течению Джамны.



Рис. 3. Жрец у храма бога-обезьяны Ханумана

На этом печальном месте стоит много невысоких каменных платформ. Некоторые из них под каменными же крышами, опирающимися на четыре столба, некоторые открыты небу. На каждой из платформ — куча золы. И то, что эти кучи не круглой, а удлиненной формы, и то, что в дотлевающих углях можно увидеть белые, рассыпающиеся кости, говорит о скорбном назначении этих платформ.

Умершего, обернутого пеленой и привязанного к носилкам, вносят на плечах в ворота шмашана, оттуда направляются к реке, окунают тело прямо на носилках в воду — последнее омовение, а потом отвяывают, снимают верхнюю пелену (ее заберут себе служители шмашана) и перекладывают на длинные поленья на одной из платформ. Отбрасывают с лица край савана, кладут к губам кусочек дерева, смоченный в воде, снова закрывают лицо, присыпают тело землей и воздвигают над ним высокое сооружение из толстых сухих дров, похожее на двускатную крышу. Обкладывают эту крышу сухими щепками и соломой и дают в руки «главному плакательщику» палку с горящим пучком соломы на конце.

И вот этот человек — обычно самый близкий по мужской линии родственник покойного — должен обойти костер и своей рукой поджечь его со всех сторон.

А когда завершится сожжение, родственники соберут в зоне несогrevшие кости, зубы, остатки ногтей и отвезут это все к Гангу — чаще всего в Хардвар, городок, близкий к его истокам, и там с помощью брахмана своей семьи бросят эти останки в воду. А затем в определенные дни будут справлять церемонии, предписываемые традициями культа предков, древнейшего из культов.

Мне не раз приходилось присутствовать на шраддхах — поминальных церемониях — и наблюдать, как легко индийцы вызывают в себе ощущение реального общения с душами усопших. Совершая множество мелких обрядов, кладя для душ предков на домашний алтарь кусочки плодов, цветы и ароматные вещества, читая молитвы, подобные одностороннему разговору с ушедшими навсегда, вовлекая детей в эти обряды, люди входят в круг иллюзорного контакта с теми, кого больше нет, с такой простотой, как будто этот круг вполне реален.

У каждой индусской семьи, кроме низкокастовых бедняков, есть свой священнослужитель-брахман, хранящий генеалогические списки, а вме-

сте с ними и разные семейные предания об ушедших навсегда. От такого брахмана каждый член семьи еще с детства узнает о жизни и добродетелях всех родственников по восходящей линии, иногда до десятого колена, а если семья знатна, то и на много столетий назад. Предки этого брахмана служили домашними жрецами предков той семьи, с которой он теперь связан, а его дети и внуки будут выполнять ту же функцию для детей и внуков этой семьи. Поэтому уважение к домашнему жрецу и привязанность к нему очень велики. Он — гуру, духовный учитель, наставник, хранитель семейных традиций, посредник в общении с богами и душами предков, свершитель всех обрядов и церемоний. Без него практически немислима жизнь индусской семьи. И вот он-то и является главным лицом, поддерживающим в своих клиентах с детства и до старости мысль о том, что умершие не умерли, и что надо всю жизнь служить их вечным душам, помогая им пребывать в блаженстве.

Кроме культа предков, существует еще вера в переселение душ. Цикл возрождений, возвратов на землю, практически бесконечен. Эти возвраты могут быть карой и могут быть наградой. Если вы своими делами заслужите наказания в будущей жизни, вы будете возрождены в виде осла, собаки, червя или еще чего-нибудь более низкого, и будете владеть жалким существованием во искупление своих грехов. Если же ваша жизнь праведна, вы сможете вернуться в облике еще более праведного человека и даже брахмана — «высшего среди живых существ».

Так сказано в священных книгах. В это верят. А значит — к чему бояться смерти, ведь она не навек?

Что же касается примирения со смертью, то эта цель в значительной мере достигается. Хотя в идеале индийских философий должна быть достигнута другая цель — навсегда избавиться от перерождений, добиться того, чтобы душа стала совершенной и навеки слилась с мировым духом — с Брахманом, который един, неделим, вечен, спокоен и незыблем и служит началом всех начал, основой всех основ, ядром всего сущего. Но считается, что это слияние требует такого сложного самоусовершенствования, такой неимоверно трудной тренировки духа, такого подвижничества, что мало кто из смертных к нему способен. Поэтому такой путь предоставляется обычно избранным душам. Простые же люди стараются жить так, чтобы возродиться в виде какого-нибудь хорошего существа и, умирая, верят в то, что вернутся. Их близких успокаивает та же мысль.

* * *

Выше Дели по течению Джамны стоит Матхура — город-сказка, город-легенда, город, насыщенный преданиями до такой степени, что кажется, будто их слова, материализовавшись, образовали стены его домов и храмов.

Матхура, город Кришны — самого популярного из всех индийских богов. Кришны — бога, Кришны — возлюбленного богинь и смертных женщин, Кришны — Леля, звуком своей флейты сзывавшего пастушек на пляски и игры под луной, Кришны — мудрого правителя, вошедшего в «Махабхарату» в качестве одного из главных ее персонажей. Неисчислимы предания, которые народная традиция связывает с именем Кришны, и до сих пор сильна и повсеместна народная любовь к этому многогранному, многоликому, противоречивому и, может быть, именно из-за этого такому привлекательному и по-человечески разнохарактерному божеству.

Слово «кришна» (или крушна) значит «черный». Итак — «черный» бог? Мог ли он появиться в Индии в эпоху нашествия арьев, светлокожих кочевников прикаспийских и среднеазиатских степей? Видимо, нет. Но, судя по многим источникам древнеиндийской литературы, арьи в

Индии знали Кришну и поклонялись ему. И буквально насытили свой эпос описаниями его подвигов.

Очевидно, они встретились в этой стране с сильным и распространенным культом некоего бога, которого местное население сотворило темнокожим по своему образу и подобию. Мы не знаем его давнего исконного имени, мы знаем, что он был известен в пантеоне арьев главным образом под именем Кришны, а кроме того,— еще под тысячей имен.

А дело, если судить по преданиям, обстояло, возможно, так. Некий арийский правитель, по имени Канса, воцарился в области современной Матхуры на реке Джамне. Воцарился в окружении местных народов и, пытаясь замирить их, решил заключить династический брак, отдав свою сестру, по имени Дэваки, за одного из местных князьков. И забыл (или не знал?) о том, что у этих местных народов действовал обычай, некогда порожденный матриархальным обществом, обычай, по которому имущество и общественное положение мужчины наследовал не его сын, а сын его сестры. А возможно, что и знал, да решил своевременно убивать детей от этого брака, чтобы дело не дошло до захвата его трона одним из них.

Согласно легенде, Кансе было предсказано, что его ожидает опасность со стороны сына его сестры. И тогда прекрасная Дэваки была заключена в темницу, а детей ее безжалостно лишали жизни. Но когда родился Кришна — избранник богов, жестокие стражи были охвачены сном, и отец мальчика беспрепятственно вынес его из темницы. Когда он пришел на берег Джамны, воды реки расступились, чтобы пропустить его на другую сторону, и он унес сына к пастухам и отдал им на воспитание.

И вот с этого момента вокруг имени Кришны сплетается такая сеть мифов, притч, преданий и поверий, что и одну сотую их долю пересказать невозможно.

Кришну часто называют богом женщин. И это верно. Все рассказы и песни о его детстве, все изображения сцен из его детства, а также фигурки Кришны в виде маленького голого ребснка-ползунка вызывают в сердцах индийских женщин прилив умиления и материнской любви. В доме каждой индусской семьи на домашнем алтаре вы найдете эти фигурки из бронзы или меди. Они бывают совсем маленькие, и их можно купить за бесценок на базаре, а бывают и большие, прекрасно выполненные и украшенные поддельными, а иногда и настоящими драгоценностями, и тогда их могут приобрести только очень богатые люди.

Помню, как я долго стояла на базарной улице Матхуры у одной из бесчисленных лавок, где торговали изображениями Кришны, и очень жалела о том, что не взяла с собой достаточно денег, чтобы приобрести такую фигурку. Сделанный из меди, он сиял как солнце, этот мальчик-ползунок. Он упирался в землю одной рукой и одним коленом, а другую ножку уже ставил на стопу, как бы стремясь встать прямо. Его голову украшал обруч с тонко вырезанным из меди павлиньим пером — отличительным знаком Кришны. И все краски на этом **пере были воспроизведены искусно подобранными драгоценными камнями.** Такие же богатые яркие ожерелья охватывали его шею и ниспадали на грудь. Толстошеекое детское личико хранило плутовское выражение, и все это очаровательное медное существо действительно заслуживало того, чтобы приобрести его любой ценой и любоваться мастерством, с каким оно было сделано.

Помню еще, как в одном доме молодая хозяйка показывала мне свою коллекцию декоративных фигурок и свой домашний алтарь. А потом открыла дверцу маленького стенного шкафчика, и там я увидела игрушечный столик с едой на крохотных тарелках, а возле него кровать, в которой на вышитой подушке и под вышитым покрывалом покоил-

ся маленький бронзовый Кришна. Она достала его из шкафчика, нежно покачала на руках и заботливо уложила опять в постель.

Религия ли это? Или потребность выражать себя при посредстве этих изображений?

В бесчисленных рассказах о любовных похождениях юного Кришны не скрыта ли вечная жажда женщины говорить о любви? В условиях индийской семьи о любви не поговоришь ни до брака, ни, тем более, после замужества. И возник образ юного бога, возлюбленного каждой женщины, властно призывающего ее страстной мелодией своей флейты и безотказно стремящегося на зов ее любви. Возникли рассказы о том, как он похищал одежду у купающихся пастушек, как он любил их под колдовским сиянием луны, как он заключал свои многочисленные браки и вместе с тем был верным возлюбленным прекрасной Радхи, нежной пастушки, к которой стремился неустанно. Возникла особая ветвь литературы, известная под названием религиозно-эротической. В ее произведениях, авторами которых часто были женщины, воспевается неутомимая страсть Радхи и Кришны как никогда не насыщаемое стремление человеческой души к божеству.

Во всех материалах — в камне и дереве, в роге и кости, в металле и глине — бесконечное множество раз повторяют ремесленники Индии образ бога-флейтиста, стоящего с непринужденно скрещенными ногами, с флейтой у губ и с обязательным павлиньим пером на головном уборе. Его вышивают, ткут и рисуют на тканях, его образ лег в основу широкого направления миниатюрной живописи, его изображают на стенах домов, воплощают во всех видах народного театра.

В Матхуре — цитадели кришнаизма — и в близлежащем городке Бриндабана ежедневно идут в течение многих столетий (а многие индийцы говорили мне, что и тысячелетий) религиозно-мистериальные представления — раслилы или кришналилы. Мне не удалось выяснить, сколько именно трупп играют здесь эти лилы, но, видимо, довольно много, потому что каждый день даются представления — то на площади, то у храма, а то и во дворе дома какого-нибудь богатого человека, который может оплатить выступление труппы.

В составе этих трупп только мальчики до 15—16 лет. Они исполняют и женские и мужские роли. Каждая труппа выступает в сопровождении своих взрослых музыкантов и певцов. Певцы распевают и речитативом излагают текст, а мальчики исполняют пантомиму.

Одевание, массаж и наложение грима начинаются за час до выступления. С приближением темноты артисты настраивают себя, как скрипки, на религиозно-театральное вдохновение, на экстатическое состояние, и, когда спускается вечерний мрак, они появляются при свете ярких ламп во дворе, убранном гирляндами цветов, уже внутренне уплотнившись в образы кришнаитских мифов.

Не зная всех тонкостей этого процесса, я попросила мальчика, которому предстояло изображать Кришну, сыграть при свете закатного солнца какой-нибудь этюд из предстоящей лилы, чтобы я могла отснять фильм. Он отказался, объяснив мне очень серьезно и даже строго: «Я не могу, я еще не Кришна. Не просите меня, пожалуйста». И пришлось мне снимать лилу при лампах, что придало фильму настроение затаенности и мистерийности, т. е. того, чем в сущности и было полно представление. При свете дня этого, вероятно, не получилось бы.

После наступления 15—16 лет мальчики этих трупп становятся музыкантами или гримерами для таких же трупп, или начинают заниматься изготовлением фигурок Кришны на продажу.

Слово «Бриндабан» значит «густой лес», но густого леса там сейчас нет. Есть редкий прозрачный лес вдоль дороги, в котором бродят павлины, птицы Кришны, великолепные ярко-синие пятна на блекло-желтом фоне мелкой сухой травы. В Бриндабана, как и в Матхуре, хра-

мы, храмы, храмы. В один из них — Золотой — европейцев не пускают, и нам неизвестно, как он выглядит внутри, в других — то меньших, то больших — нарядные статуи Кришны и Радхи, а на стенах пучки павлиньих перьев.

В Бриндабане есть прославленный сад Кришны, воспетый во всей кришнаитской литературе. Он, вопреки моим ожиданиям, совсем небольшой и густо зарос колючими путаными кустами. Так и кажется, что под ними должно быть много змей. Сад обнесен высокой каменной стеной.

Многие верят, что Кришна приходит сюда каждую ночь, чтобы встречаться с пастушками. Рассказывали, что, если кто-нибудь, не верящий в это, останется на ночь в саду, его утром обязательно найдут мертвым. И якобы так недавно и случилось с одним студентом.

В саду у самого входа растет невысокое дерево. На нем небольшая вмятина — говорят, что это след ладошки Кришны-мальчика. Люди приходят к этому дереву, молитвенно кланяются ему, обходят его вокруг, держась к нему правым плечом, и уходят, оставив возле него денежную лепту.

На стенах храмов и храмиков можно видеть роспись — всевозможные сценки из жизни Кришны. В реке плавают множество черепах. Они зеленовато-серые, с длинными лапами. Плавают, тычутся носами в мокрые ступени берега, просят еды.

Рис. 4. Нищий, собирающий милостыню во имя бога Кришны

Паломники безотказно кормят их — это заслуга перед Кришной. И возле храмов, и в самих храмах, и на галереях ходят и лежат коровы — стадо бога-пастуха.

А во время праздников, связанных с Кришной, — в день его рождения и в веселые дни Холи — все улицы Матхуры заполняют такие густые толпы людей, что пройти трудно. Богато украшенные волы везут повозки, на которых укреплены огромные щиты с картинами, повествующими о подвигах и подвигах юного бога-героя, проходят факельные шествия садху — полуобнаженных или почти обнаженных отшельников с раскрашенными лицами и с высокими пучками волос на голове, в лавочках все ночи напролет торгуют изображениями Кришны, и повсюду играют лилы — все трупы актеров в эти дни нарасхват.

Особенно ярко протекает Холи в деревне Варсаве (или Варсове) недалеко от Матхуры и Бриндабана. Это — место рождения Радхи, и здесь происходят настоящие мистериальные игрища, воспроизводящие в очень наглядных символах древние обряды культа плодородия. В их число входит и широко распространенный обычай осыпания всех присутствующих цветными порошками или поливание подкрашенной водой.

От тюрьмы, в которой, по преданию, родился Кришна, сохранился только фундамент, на котором уже несколько веков возвышается мечеть. Сотрудники Матхурского музея сказали, что по соображениям этики нельзя производить раскопки на этом месте, хотя каждый индийский археолог страстно мечтает об этом.

Матхура — это такое средоточие древности, такое напластование столетий, что там сама почва состоит из обломков и остатков разных памятников. Говорят, что во время муссонов дожди постоянно вымывают из земли то старые терракотовые статуэтки, то осколки или головки каких-то каменных фигурок. Значительное количество этих находок попадает на базары и скупается туристами, а некоторые поступают в музеи, в том числе в Матхурский.



Рис. 5. Бог маратхов Кхандоба и его жена Рукмини. Штат Махараштра

Направляясь в этот музей, я ожидала, что увижу большое здание, вроде нашего Эрмитажа, доверху наполненное всеми своими прославленными коллекциями. И была удивлена, когда увидела одноэтажный дом с закругляющимися крыльями, возле которого в саду играла небольшая стайка детей, а внутри почти никого не было. Но коллекции были. И меня охватило чувство отсутствия времени, неправдоподобности нашего трехмерного мира, когда я ходила по этой экспозиции и встречалась глазами со всеми статуями, которые до малейшей складки на одежде были знакомы мне, как и каждому индологу, по книгам и фотографиям. Так знакомы, словно я и в жизни знала и этих богов, и этих полубогов и героев, которые воплотились здесь в камень и существуют в таком застывшем обличье уже много-много веков.

Сотрудники музея сами как бы несут на себе печать истории. Они очень много знают и охотно и интересно рассказывают о культе Кришны, о всемирном значении коллекций их музея, о месте их города в индийской культуре и о той научной работе, которую ведут ученые Матхуры, исследуя прошлое своей страны.

Матхура — один из стыков арийской и доарийской культур, один из городов, где родилась цивилизация Индии, — не может не привлекать каждого, кто хоть немного интересуется историей этой страны и ее религиями. И особенно — индуизмом, сохранившим в своих обрядах и церемониях следы такого далекого прошлого страны, которые не запечатлелись ни в памятниках материальной культуры, ни в литературе или искусстве.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ «ЛИЧНОЕ ИМЯ»

Для русской антропонимики, имеющей давние и славные традиции (у ее истоков мы встречаем имена М. В. Ломоносова и Н. М. Карамзина), всегда было характерно три направления исследований: а) общетеоретическое, б) поэтико-стилистическое и в) историко-лингвистическое¹. Однако антропонимика развивалась у нас прежде всего как лингвистическая дисциплина. И лишь за последние годы, по мере заметной активизации исследований в области ономастики, личные имена начинают привлекать внимание все большего количества специалистов самых различных отраслей знания. Уже сейчас можно говорить о том, что изучение личных имен формируется у нас в качестве раздела самостоятельной науки, имеющей свой специфический предмет и метод. Состоявшееся 28—26 апреля 1968 г. в Москве Всесоюзное совещание «Личное имя» (Проблемы антропонимики) было призвано подвести итоги и наметить первоочередные задачи наших исследований в области изучения личных имен.

Успешная работа совещания, подготовленного Институтом этнографии АН СССР совместно с Институтом языкознания АН СССР и отделом ЗАГС юридической комиссии при Совете Министров РСФСР, явилась значительным научным событием. Совещание показало широкий размах антропонимических исследований практически во всех союзных республиках нашей страны: из 115 зачитанных докладов 38 были представлены учеными Москвы, остальные — антропонимистами РСФСР, Украины, Азербайджана, Латвии, Белоруссии, Туркменин, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Грузии, Киргизии и Эстонии. На совещании были представлены многие автономные республики — Башкирская, Удмуртская, Татарская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Карельская, Марийская, Мордовская, Якутская.

Другой отличительной чертой совещания была широта затронутой проблематики. Помимо двух пленарных заседаний, доклады зачитывались и обсуждались на 7 секциях: «Методологические проблемы антропонимики» (9 докладов), «Личные имена сегодня» (38 докладов), «Из истории личных имен» (35 докладов), «Фамилии» (13 докладов), «Формы личных имен» (12 докладов), «Антропонимия в художественной литературе» (5 докладов), «Антропонимы в топонимии» (3 доклада).

Пленарное заседание 23 апреля открылось вступительным словом заместителя директора Института этнографии АН СССР Л. Н. Терентьевой, подчеркнувшей большую теоретическую и практическую важность изучения личных имен. Второму аспекту антропонимических исследований был посвящен доклад Н. А. Белька (Москва) «Некоторые правовые и социологические вопросы антропонимики». Большой интерес и оживленный обмен мнениями вызвал доклад В. А. Никонова (Москва) «Задачи и методы антропонимики». Докладчик специально остановился на проблемах выявления социального значения имени и высказал в связи с этим мнение о том, что наблюдающееся сокращение набора личных имен — это положительный, здоровый процесс. Иная точка зрения была представлена в докладе И. В. Бестужева-Лады (Москва) «Исторические тенденции развития личных имен и формирование современных антропонимических зон». Предприняв попытку сформулировать общие закономерности в эволюции систем личных имен, И. В. Бестужев-Лада обосновал тезис о том, что сокращение количества употребительных личных имен является выражением кризиса современной антропонимической системы.

Как и следовало ожидать, одной из ведущих тем совещания стала проблема изучения современной антропонимии у народов Советского Союза. Динамика личных имен, мотивы выбора имени, характеристика именика у различных народов, населяющих нашу многонациональную Родину, — вот далеко неполный список проблем, которые ставились и обсуждались на совещании. Характеристике современного русского именика, а также анализу динамики имен у русских за последние пять—шесть десятилетий были посвящены доклады А. Я. Шайкевича (Москва) «Русские имена в XX в.»,

¹ С. И. Зинин, Антропонимика. Библиографический указатель литературы на русском языке, Ташкент, 1968.

В. Д. Бондалетова (Пенза) «Динамика личных имен в XX в.», Т. И. Окороковой (Горький) «Личные имена в Автозаводском р-не г. Горького в 1967 г.» М. Г. Свотиной и М. Т. Сураченко (г. Балашов Саратовской обл.) «Личные имена в г. Балашове и Балашовском р-не за 1956—1965 гг.», Т. А. Коротковой (Свердловск) «Имена свердловчан, родившихся в 1966 г.», Г. И. Кондратенко (Ульяновск) «Из наблюдений над личными именами в Ульяновске» и др. Все эти доклады были основаны на значительном фактическом материале и сопровожались демонстрацией диаграмм и таблиц, наглядно иллюстрирующих динамику личных имен.

Большой интерес вызвали доклады, посвященные современной и исторической антропонимии украинцев (Р. И. Керста, М. Л. Худаш, белорусов (Н. В. Бирило), молдаван (М. А. Косничану), латышей и литовцев (В. Ф. Дамбе, В. Э. Сталтмане), грузин (Г. В. Бедошвили), азербайджанцев (Б. Г. Таирбеков, Ш. М. Саадиев, А. Р. Махмудов), казахов (Т. Жанузаков, О. А. Султаняев), туркмен (Ш. Аннаклычев, Г. Сапарова), татар (Г. В. Юсупов, Г. Ф. Саттаров), башкир (Т. Х. Кусимова, В. Г. Ураксин), марийцев (Ф. И. Гордеев), удмуртов (Г. А. Архипов, С. К. Бушмакин, Д. Л. Лукьянов и др.), нанайцев (А. В. Смоляк), эвенков (Г. М. Василевич), тувинцев (С. И. Вайнштейн), калмыков (В. П. Дарбакова).

В настоящее время данные антропонимии приобретают особое значение в связи с расширением работы по изучению этнических процессов у народов нашей страны. Наряду с увеличением роли и значения русского языка и русской культуры происходит бурный процесс распространения русского имени. Перед исследователями встает в этой связи немало вопросов, ждущих своего решения. К их числу относятся такие проблемы как соотношение традиционного и русского имени; появление фамилий у народов, не имевших их ранее; оформление отчества; роль второго имени, в некоторых случаях восходящего к традиционному, а в некоторых — к русскому имени. Все эти вопросы были в той или иной мере затронуты в докладах К. З. Закирьanova (Уфа) «Личные имена у башкир, возникшие в советскую эпоху», Н. П. Бутенко и К. Мамбеталиевой (Фрунзе) «Строительство социализма и личные имена у киргизов», И. Х. Абдуллаева (Махачкала) «Некоторые вопросы дагестанской антропонимии», А. Н. Мирославской (Уфа) «Русские «календарные» имена у башкир», Р. Ш. Джарылгасиновой (Москва) «Антропонимические процессы у корейцев Средней Азии», М. К. Шарашовой (Магадан) «Русские имена у народов Крайнего Севера», В. В. Леонтьева (Магадан) «Процессы, протекающие в современном чукотском имени», Е. И. Рудных (пос. Кулар Якутской АССР) «Вторые имена у якутов» и т. д.

Несмотря на то, что подавляющее большинство участников совещания представило доклады, посвященные антропонимическим системам, бытующим у народов Советского Союза, важно отметить также и соответствующие исследования по другим народам мира. К их числу относятся доклады И. М. Семашко (Москва) «Антропонимия у народов Западной Индии», А. Н. Седловской (Москва) «Обряд наречения имени у племен Центральной Индии», Л. В. Никулиной (Москва) «Антропонимия даяков», И. И. Хван (Москва) «Корейские личные имена», а также зачитанный А. С. Илизаровым доклад Б. А. Старостина, А. С. Илизарова и А. Хейри (Москва) «О внутренней форме и происхождении арабских имен и фамилий» и др.

Проблемы исторической антропонимии составляли предмет дискуссии на второй крупной секции совещания — «Из истории личных имен». Особое место здесь заняли доклады по истории русских, украинских и белорусских личных имен. Весьма важными по своим выводам представляются доклады И. Г. Добродомова (Москва) о болгарском вкладе в славянскую антропонимию, А. М. Членова (Москва) о происхождении имени Святослав, Е. Н. Баклановой (Москва) о личных именах вологодских крестьян по переписи 1717 г. Динамику личных имен на территории бывшей области Войска Донского и Ростовской области на протяжении более 350 лет проследил в своем докладе Л. М. Щетинин (Ростов-на-Дону).

Содержательным по материалу и интересным по выводам был доклад Н. Ф. Мокшина (Саранск), в котором рассматривалась этимология имен мордовских и марийских божеств. В докладе Н. Р. Гусевой (Москва) была предпринята попытка расшифровки имен славянских языческих богов на основании данных санскрита. К указанным докладам тематически примыкали сообщения М. В. Крюкова (Москва) «Личные имена в иньском Китае (Проблема классификации)», В. С. Старикова (Ленинград) «Мужские личные имена киданей», Н. Л. Жуковской (Москва) «О соотношении титула и личного имени у монголов», Р. Ш. Джарылгасиновой «Исторические проблемы корейской антропонимии», А. Е. Лопушинской - Бучко (Черновцы) «Структура личного имени у Гомера» и др.

Одна из ведущих проблем антропонимии — вопрос о времени и закономерностях возникновения фамилий у различных народов мира. Оживленная дискуссия разгорелась по докладам В. А. Никонова (Москва) «До фамилий», Н. А. Баскакова (Москва) «Русские фамилии тюркского происхождения», Н. М. Шанского (Москва) «Отражение дохристианских имен в русских фамилиях», М. Л. Худаш (Львов) «К вопросу о возникновении украинских фамилий», В. Ф. Барашкова (Ульяновск) «Фамилии с календарными именами в основе», З. П. Соколовой (Москва) «О происхождении обско-угорских фамилий», О. М. Ким (Ташкент) «К морфологии корей-

ских фамилий в русском языке», Г. И. Анохина (Москва) «Почему у исландцев нет фамилий» и др.

Для традиционной русской антропонимики всегда был характерен интерес к изучению антропонимов в художественной литературе и фольклоре. Этому аспекту исследования личных имен были посвящены заслушанные на совещании доклады Р. И. Таиш (Черновцы) «Опыт антропонимического словаря писателя (Салтыков-Шедрин)», Б. П. Кирдан (Москва) «Антропонимы в украинских народных думах» и др.

Часть докладов на совещании была посвящена лингвистическому анализу форм личного имени. Среди них надо отметить доклады А. В. Суперанской (Москва) «Личные имена в официальном и неофициальном употреблении», В. Д. Бондалетова и Е. Ф. Данилиной (Пенза) «Средства выражения уменьшительности и ласкательности в русских личных именах», Ю. П. Чумаковой (Горький) «Особенности личных наименований в дер. Осиповка, Выксунского района Горьковской области» и др.

Специальное заседание конференции было посвящено обсуждению докладов по теме: антропонимы в топонимии (А. С. Кривошекова-Гантман, Л. А. Тюменцева, П. И. Морозов).

К сожалению, лишь в очень немногих докладах были подняты общетеоретические проблемы антропонимики. Секция «Методологические проблемы антропонимики» не заняла на совещании ведущего положения; она объединила весьма разнохарактерные и неравноценные доклады. Так, наряду с докладом М. В. Карпенко (Черновцы) о построении и проблематике спецкурса «Русская антропонимика» и сообщением С. И. Зинина (Ташкент) «Из истории русской антропонимической терминологии» был заслушан, например, доклад В. А. Московица (Москва) о машинном конструировании личных имен. Проблемам теории личного имени были посвящены в сущности лишь три доклада: А. П. Евдощенко (Кишинев) «О системной типологии личных имен», М. Н. Морозовой (Москва) «Взаимодействие антропонимической и нарицательной лексики» и Т. Н. Кондратьевой (Казань) «Значение, обозначение, понятие в именах собственных». Некоторые юридические аспекты антропонимики были освещены в докладе Э. Раянди (Таллин) «Имя и право».

Первое Всесоюзное совещание по проблемам антропонимики показало, что в настоящее время эта отрасль ономастики переживает период своего подъема. Резко увеличился объем фактического материала, введенного в научный обиход. В то же время обобщение этого материала с целью выявления не только частных, но и более общих закономерностей функционирования личных имен в различной этно-социальной среде продолжает оставаться недостаточным. Можно надеяться, что работа совещания, а также публикация его трудов явится существенным стимулом для дальнейшего разветвления исследовательской работы в этой области.

Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков

ДЕСЯТАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЭСТОНСКОЙ ССР

В г. Тарту с 24 по 27 апреля 1968 г. проходила X научная конференция, организованная Государственным этнографическим музеем Эстонской ССР. На повестке дня стояли вопросы изучения народного искусства. В работе конференции приняли участие этнографы и искусствоведы из музеев и научных учреждений Тарту, Таллина, Риги, Каунаса, Москвы, Ленинграда, Кишинева, Еревана, Тбилиси, Уфы, Перми и Владивостока.

Открывая конференцию, директор Государственного этнографического музея Эстонской ССР А. Петерсон подчеркнул необходимость усиления координации исследований в области народного искусства. Затем он сделал отчет о работе музея в 1967 г. А. Петерсон отметил большую научную и культурно-просветительную работу, проведенную музеем. В фонды музея поступило около 24 тыс. новых наименований материала по этнографии эстонцев и других финно-угорских народов. Вышел в свет XXI том «Ежегодника» музея.

После отчета А. Петерсона были оглашены итоги организованного музеем очередного конкурса по сбору этнографического материала. На конкурс 1968 г. было представлено 77 работ (около 4700 стр.) по разной тематике. Первой премии была удостоена работа учительницы-пенсионерки Л. Пихлапуу «Эстонское поселение „Ливония“ на Северном Кавказе» (около 800 стр.). Три работы удостоены третьей премии и 31 — поощрительной.

На конференции был заслушан 21 доклад. Об изучении народного искусства в разных музеях говорили в своих докладах В. Калитс (Государственный этнографический музей Эстонской ССР), К. Кайрукштите (Каунасский государственный художественный музей), Н. Тарановская (Государственный Русский музей). И. Богуславская (Государственный Русский музей) остановилась на принципах экспозиции народного искусства. С докладом «Художник и народное искусство» (по материалам выставки Музея народного искусства в Москве) выступила Т. Попова.

Группа докладов была посвящена выявлению соотношения между народным и профессиональным прикладным искусством. Х. Юпрус (Таллин) в докладе «Эстонское народное искусство в аспекте искусствоведения» показала влияние европейских стилей барокко, рококо и ампир на разные области народного искусства. К. Кирме (Таллин) проследил связь эстонского прикладного искусства с народным; он подчеркнул, что в период формирования профессионального прикладного искусства (конец XIX в.—1920-е годы) художники механически копировали произведения народного искусства. В годы буржуазной республики (1920—1940 гг.) отдельные мастера профессионального прикладного искусства творчески использовали в своих работах образцы народного искусства. М. Слава (Рига) в докладе «Народное искусство в Латвии периода капитализма» отметила, что в развитии народного искусства Латвии этого времени наблюдается много общего с аналогичным процессом в Эстонии. Х. Кума (Таллин) в подробном обзоре современного эстонского прикладного искусства (1945—1968 гг.) подчеркнула, что оно постоянно обращается к наследству народного искусства. М. Ратас (Таллин) рассказала о характерных чертах развития эстонского самодельного прикладного искусства. На республиканских выставках, в которых постоянно участвует около 600—700 человек, ведущее место принадлежит текстильным изделиям (ковры, покрывала, вязаные вещи и т. д.). Большинство народных мастеров, как отметила М. Ратас, стараются подражать специалистам-профессионалам, и лишь незначительная их часть (в основном представители старшего поколения) остались верными традициям народного искусства. В настоящее время, в связи с созданием объединения народных мастеров «Уку» для производства сувениров, непрофессиональное прикладное искусство в республике получило широкие перспективы развития.

Больше всего на конференции было сделано докладов по конкретным вопросам народного искусства разных народов, особенно финно-угорских. С интересом был прослушан доклад С. Иванова (Ленинград) «О научном значении народных названий в геометрических узорах». На материалах по искусству хантов и манси докладчик доказал, что народные названия орнамента отражают природную среду (флору и фауну), а также быт и духовный мир человека, создающего узоры. Большое внимание вызвали и другие хорошо иллюстрированные доклады по народному искусству отдельных народов: В. Белицер (Москва) «Набедренные украшения мордвы», Н. Королевой (Москва) «Древние истоки народного искусства пермских финно-угров», М. Браун (Ленинград) «Коллекции Государственного музея этнографии народов СССР по искусству народов коми», Н. Мальцева (Ленинград) «Атрибуция произведений деревянной скульптуры», Н. Кочешкова (Владивосток) «Головные уборы монголов».

Интересный обзор об использовании эстонской народной одежды на певческих праздниках, начиная с 1869 г. до наших дней, сделала А. Воолмаа (Тарту). Она отметила, что Государственный этнографический музей Эстонской ССР всегда боролся против искажения и модернизации народной одежды. Теперь в музее проводятся научные консультации, семинары и т. д., связанные с подготовкой юбилейного певческого праздника (1969 г.), на котором каждый коллектив должен быть одет в народный костюм своего края. А. Воолмаа иллюстрировала свой доклад показом народных костюмов. Х. Сильд (Тарту) в докладе «Старинные эстонские народные женские головные покрывала» анализировала весь комплекс этого своеобразного элемента народного женского костюма по материалам музейных фондов. Э. Астель (Тарту) говорила об организации годового цикла работ в области женских ремесел в эстонской деревне XIX — начала XX в. Т. Хабихт (Тарту) сообщила о декоративных элементах в эстонской народной архитектуре, Т. Выти (Тарту) сделала по музейным материалам доклад об эстонских крестьянских стульях.

В конце работы конференции ее участникам была предоставлена возможность ознакомиться с богатыми фондами Государственного этнографического музея ЭССР. С интересом были приняты этнографические кинофильмы, снятые сотрудниками музея. В фильмах воспроизводились, в частности, разные процессы труда, например, молотба цепами в северной Эстонии, подсека у вепсов Ленинградской области и т. д.

Конференция была полезной как для этнографов, так и искусствоведов, способствовала широкому обмену опытом между исследователями народного искусства. Они познакомились с результатами работы многих музеев и научных учреждений по изучению народного искусства. Участники конференции подчеркнули необходимость координации исследований, систематического и широкого обсуждения на семинарах и симпозиумах методики и наиболее важных теоретических вопросов народного искусства.

Л. Х. Феоктистова

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКЕ, ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН И ФИНЛЯНДИИ

Советские скандинависты регулярно собираются на научные конференции для обсуждения докладов по общественно-историческим проблемам. Первая из таких конференций, организованная по инициативе Ларгуского государственного университета в Тарту в мае 1963 г.¹, собрала 80 делегатов, причем 54 из них выступили с докладами.

Вторая и третья конференции, в каждой из которых участвовало по 150 делегатов и было прочитано по 90 докладов, были организованы Институтом истории АН СССР совместно с Ленинградским, Московским и Ларгуским университетами².

В организации IV Всесоюзной конференции по скандинавистике, состоявшейся с 28 мая по 1 июня 1968 г. в Петрозаводске, принял участие также ряд других учреждений — Институт языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР, Петрозаводский университет и Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. В конференции приняло участие до 200 делегатов, из них 110 выступило с докладами.

Очень отродни при этом отметить, что постепенно расширяются и усиливаются позиции этнографии в советской скандинавистике. Так, среди пяти секции последней конференции самой многочисленной и насыщенной докладами была секция истории, археологии и этнографии. Из 35 докладов этой секции более 20 было прочитано на темы, представляющие интерес для этнографов, занимающихся проблемами этногенеза, этнической истории, социальной психологии, связей между народами Восточной и Северной Европы. Именно этой группы докладов мы и коснемся здесь.

Прежде всего нужно сказать, что в докладах, заслушанных на секции истории, археологии и этнографии, много внимания было уделено варяжско-норманнской проблеме. На пленарное заседание был вынесен доклад доктора исторических наук В. И. Машута о «русско-скандинавские отношения и их место в истории раннесредневековой Европы». Рассматривая древнюю Русь, как выросшее из объединения земель-княжений этнически неоднородное государство, докладчик показал, что на Руси скандинавские наемники встречали решительный отпор, когда они пытались действовать вразрез с ее политическими интересами. Русские князья активно противоборствовали завоевательным устремлениям норманнов в Европе, но в то же время они укрепили и расширили экономические и дипломатические отношения со странами Северной Европы, особенно после падения созданных грозными викингами скандинаво-английских союзов.

Старую, но по-прежнему актуальную проблему поднял М. А. Алпатов (Москва) в докладе «Что такое «варяжский вопрос» в историографии XVIII в.». Интересно истолковав историографические позиции различных ученых в России, докладчик отметил, что если сторонник бирюзовщины Байер создал антирусскую теорию, то уже у Миллера норманизм теряет антирусский характер; у Шлецера же он вообще приобретает не националистический, а социальный смысл. М. А. Алпатов приходит к выводу, что в научном отношении академики-немцы сыграли прогрессивную роль, так как они покончили с легендарным периодом в русской историографии, и содействовали тем самым становлению русского источниковедения. Но подлинными основателями русской исторической науки были Татищев и Ломоносов. «Ломоносов и его последователи», — говорил докладчик, — были правы, ополчившись против теории привнесения русской государственности извне, но ошибались, отстаивая мирный характер варяжских вторжений и отрицая скандинавское происхождение варягов»³.

Исключительное внимание привлек доклад О. И. Давидан (Ленинград) на тему «К вопросу о контактах древней Ладоги со Скандинавией (по материалам нижнего слоя Староладожского городища), в котором был приведен не опубликованный до сих пор полевой материал большой ценности. Известно, что вопрос о связях древней Ладоги со Скандинавией исследован в настоящее время еще недостаточно, хотя эти связи прослеживаются по находкам вещей скандинавского происхождения. До недавнего времени господствовало мнение, что подобные вещи появляются в Ладоге с X в. и отсутствуют в более раннее время. Перечисленные же О. И. Давидан вещи, найденные в нижнем слое городища (горизонт Е₃), указывают на то, что Ладога с момента своего возникновения, т. е. не позднее, чем с VIII в. н. э., была включена в сферу международной балтийской торговли, где в VII—VIII вв. главенствующую роль играли фризцы,

¹ Отчет о ней см.: М. Н. Морозова. Научная конференция по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии, «Сов. этнография», 1964, № 2.

² Г. И. Анохин. Вторая и третья советские научные конференции по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии, «Сов. этнография», 1967, № 4, стр. 157—159.

³ «Тезисы докладов Четвертой Всесоюзной конференции по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии», ч. 1, Петрозаводск, 1968, стр. 120.

а затем — скандинавы. Можно предполагать, что вместе с торговцами в Ладогу прибывали и ремесленники, оседая здесь на длительное время. Контакты со Скандинавией не исключают других направлений торговых и культурных связей Ладоги в период до X в., но выявление этих связей должно стать предметом дальнейших исследований.

М. Б. Свердлов (Ленинград) посвятил свой доклад русско-датским связям в XI в. Г. И. Анохин (Москва) в докладе «Вклад Е. А. Рыдзевской в советскую скандинавистику» поднял вопрос о научном наследии одного из первых советских скандинавистов и о необходимости издания ее основных трудов. Докладчик говорил о вкладе Рыдзевской в исследование варяжской проблемы и, кроме того, об ее исследованиях в области этнической ономастики и проблем этнографии скандинавских народов.

Группа докладов была посвящена древнейшим этнографическим и культурно-хозяйственным процессам в Скандинавии и в Восточной Европе. Это — доклады Г. А. Панкрушева (Петрозаводск) «Некоторые аспекты вопроса о древнейших этногенетических процессах в Карелии и Финляндии», Э. А. Симоновича (Москва) «Культура полей погребения и готская проблема в первой половине I тысячелетия н. э.», М. А. Тихановой (Ленинград) «К вопросу о связях Скандинавии с Восточной Европой в первой половине I тысячелетия н. э.».

На объединенном заседании трех секций (истории, археологии и этнографии; литературоведения; языка) было заслушано несколько докладов на социально-психологические темы. Первый доклад был сделан А. Я. Гуревичем (Москва) на тему: «Пространственно-временные представления средневекового скандинава». В докладе «К поэтике заголовка в древнеисландской литературе» М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград) показал, что заголовки, в частности, восходящие к древнеисландской традиции, позволяют сделать некоторые заключения о том, как представляли себе современники жанровую принадлежность данного произведения, его содержание и т. д., а тем самым и специфику данного жанра и литературы вообще. Большой интерес вызвал блестящий как по содержанию, так и по форме доклад Е. М. Мелетинского (Москва) «Народно-поэтические элементы стиля „Старшей Эдды“».

Большой фактический материал, почерпнутый из архивов, был положен в основу докладов группы эстонских этнографов: А. А. Лутса «Народные формы торговли эстонцев с финнами в XIX — начале XX в.», В. А. Калитс «Торговые связи населения о. Кихну (Эстонская ССР) с прибалтийскими странами в XIX и в первые десятилетия XX в.», Э. Э. Эпика «Финские поселенцы в сельской местности северо-восточной Эстонии по материалам земельных ревизий 30—70-х годов XVIII в.». Большой сравнительно-этнографический материал был использован в докладе латышского этнографа А. К. Крастыня «О некоторых общих чертах в латышском и скандинавском народном жилище». Привлек внимание доклад М. Н. Морозовой (Москва) на тему «Вклад трудов С. Эриксона в шведскую этнографию».

Внимание этнографов привлек интересный доклад Е. А. Савельевой (Ленинград) «Россия на карте 1539 г. Олауса Магнуса» — о карте, изобилующей этнографическими деталями. Доклад М. А. Когана (Ленинград) «Иельская карта. За и против» представлял интерес для скандинавистов, потому что исследуемая карта содержит не только первые довольно точные очертания острова Гренландия, но и текст, сообщающий об открытии норманами Винланда (Америки). Однако докладчик построил свой доклад крайне тенденциозно, показав лишь доводы против достоверности Иельской карты, но так и не коснувшись вынесенного в подзаголовок «за».

Привлекли внимание этнографов также доклады З. А. Куранчевой (Москва) «Положение женщины в современной Швеции» и В. П. Беркова (Ленинград) «Система народного образования в Норвегии».

Проведение V конференции советских скандинавистов намечено на июнь 1969 г. в г. Тарту.

Г. И. Анохин

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

РУССКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В ОСВЕЩЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ ЭТНОГРАФОВ

В 1967 г. в США вышла книга Стефана и Этел Данн «Крестьянство Центральной России»¹. Это значительный труд, затрагивающий многие вопросы социологии, экономики и этнографии русского колхозного крестьянства. Ст. и Э. Данны известны советским этнографам как авторы многих статей, обзоров, рецензий, а также переводов советских исследований в области этнографии народов СССР. Ст. Данн — редактор журнала «Советская археология и этнография» и «Советская социология», выходящих в США.

Рецензируемая книга любопытна тем, что она является попыткой на основании советских этнографических исследований дать самостоятельное обобщение процессов, происходивших в жизни крестьянства центральной полосы России за последние 50—60 лет. К сожалению, настоящая работа, как и предыдущие работы тех же авторов, не свободна от многих тенденциозных, субъективистских, а зачастую и глубоко ошибочных рассуждений и выводов, создающих в конечном итоге неверное представление о советской действительности. Это в свое время было отмечено советскими этнографами и в отношении одной из последних работ Ст. и Э. Даннов, посвященной народам Средней Азии и Казахстана².

Сама концепция книги не нова. Она уже была сформулирована Даннами и в вышеупомянутой статье и в рецензиях на исследования советских этнографов. Заключается эта концепция в утверждении, что в жизни сельского населения народов СССР за годы Советской власти произошли не коренные преобразования, а лишь поверхностные культурные изменения³.

В книге «Крестьянство Центральной России» Ст. и Э. Данны прежде всего пытаются определить, что представляет собой русское крестьянство на современном этапе. При этом отправным моментом для авторов является теория Г. М. Фостера с его моделью чистого крестьянства как общности, в значительной мере изолированной от воздействия других социальных слоев и основанной на непосредственном личном общении ее членов. Авторы стремятся показать, насколько и в чем современное русское крестьянство соответствует этой модели или же, наоборот, как далеко отходит от нее. И хотя в конечном итоге авторы приходят к выводу, что современное русское крестьянство не укладывается в модель, доктрина эта господствует над книгой.

Авторы затрагивают важные стороны социально-экономической и культурной жизни русского народа.

Книга состоит из введения и шести глав: 1 — География и история; 2 — Колхоз, деревня и семья как социальные единицы; 3 — Образование и социальная мобильность; 4 — Народные институты; 5 — Материальная культура и ее социальные корни; 6 — Заключение и выводы. Книге предпослано предисловие А. Вукиничича с развернутой положительной оценкой работы.

¹ S. P. Dunn and E. Dunn, *The peasants of Central Russia*, New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London, 1967.

² S. P. Dunn and E. Dunn, *Soviet regime and native culture in Central Asia and Kazakhstan: the major peoples*, «Current Anthropology», 1967, June, vol. 8, № 3; там же помещены комментарии к этой статье советских ученых.

³ S. P. Dunn, E. Dunn, *Directed culture change in the Soviet Union: some Soviet studies*, «American Anthropologist», 1962, vol. 64, № 2; и х же, *The Great Russian peasant: culture change or cultural development*, «Ethnology», 1963, vol. 11, № 3.

Как свидетельствуют уже сами названия глав, книга разработана в социологическом аспекте. Авторы строят свои теоретические обобщения на материалах о крестьянстве «Центральной России». Понятием «Центральная Россия» Ст. и Э. Данны пользуются в историческом и этнографическом смысле, а не в географическом: это ареал великорусов⁴. Отметим, что они игнорируют при этом деление великорусов на две большие этнографические группы (северных и южных великорусов), значительно отличающиеся по особенностям материальной и духовной культуры, следствием чего явился ряд неточностей и ошибок при рассмотрении ими этнографического материала. Что же касается географического (и особенно экономико-географического) принципа выделения территории, то игнорирование его в подобной работе вряд ли правомерно, поскольку авторы акцентируют свое внимание в основном на проблемах социально-экономических. Но к этим вопросам мы еще будем возвращаться.

Хронологически авторы ограничивают себя 1920-ми годами (как исходным моментом) и 1950-ми годами, на которых и сосредоточено их основное внимание. В ряде случаев они пользуются материалами, относящимися к 1960 годам, а для характеристики отдельных явлений культуры обращаются также к материалам дореволюционного прошлого.

Основой фактических материалов для книги Ст. и Э. Даннов послужили три монографии: М. Я. Феноменов «Современная деревня» (М.—Л., 1925); «Село Вирятино в прошлом и настоящем» (М., 1958); Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева «Культура и быт колхозников Калининской области» (М., 1964). В некоторых случаях, особенно в заключительных главах, они пользуются материалами статей научных журналов, а также прессы (газета «Известия»). Следует отметить, что статистические сборники, вошедшие в библиографический список, приложенный к книге, по существу почти не использованы.

Таким образом, фактическая база рецензируемой книги довольно ограничена и вряд ли может служить основой для столь широких и далеко идущих обобщений, на которые авторы претендуют. Приходится сожалеть, что обширный труд «Народы Европейской части СССР», т. I (серии «Народы мира», М., 1964), содержащий всестороннюю и обобщающую характеристику культуры и быта русского народа в дореволюционное и советское время, который мог бы в значительной мере восполнить пробелы в доступных Ст. и Э. Даннам источниках, используется ими весьма слабо. И это не случайно.

Исследования советских авторов, придерживающихся метода исторического материализма, Данны рассматривают как проявление известного «доктринерства», ошибок которого они якобы стараются избежать. Отсюда и использование ими советских работ лишь с точки зрения содержащегося в них фактического материала. В этом отношении характерно высказывание А. Вукинича (в предисловии к книге), который ставит в особую заслугу Даннам именно то, что они якобы включили эмпирические материалы советских этнографов в современную концепцию «культурных изменений» (стр. XI—XII). Между тем, преднамеренно отбросив освещение материалов советскими учеными, дающими всегда целостную картину взаимосвязанных явлений и процессов, и произвольно выхватывая из этой картины отдельные, часто хронологические, территориально и социально разнородные факты, авторы лишаются критерия, позволяющего судить о типичности тех или иных явлений, об их удельном весе, о том, какие из них угасают или развиваются, и, таким образом, теряют возможность объективно судить о сущности происходящих в современных процессах. К тому же отбор исследуемых явлений и фактов большей частью тенденциозен. Характерно, что внимание Даннов всегда привлекают пережиточные, архаические, отрицательные моменты, за которыми они не видят того нового, развивающегося или имеющего тенденцию к развитию, что в конечном итоге и приводит к коренным социальным и культурно-бытовым изменениям. Авторы рассматривают явления статично, не улавливая динамики их развития. В результате получается не только искаженная картина действительности, но и ставится под удар сама выдвинутая ими концепция. Более уважительное отношение Ст. и Э. Даннов к работам советских ученых избавило бы их книгу от многих фактических неточностей, ошибок, а в ряде случаев — неверных истолкований по таким сложным вопросам, как община, семья и брак, обрядность, материальная культура и др.

Как уже указывалось, Ст. и Э. Данны затрагивают весьма серьезные социологические проблемы. Они начинают свое исследование с попытки социально-экономической характеристики крестьянства Центральной России в дехолхозный период. Высказанные авторами в этом разделе положения являются, на наш взгляд, ключом к раскрытию их концепции в целом. Следует при этом сказать, что «дохолхозный период» рассматривается Даннами весьма «широко»: в единый поток включены изменения, вызванные и крестьянской реформой 1861 г., и столыпинской реформой, и советским законодательством о земле, которое, как мы знаем, положило начало новой эре в истории русского крестьянства. Ограничиваясь весьма беглой характеристикой изменений, происшедших в жизни крестьян в дореволюционное время, авторы основное

⁴ Это территория от Новгородской области на севере до границы с Украиной — на юге, от Смоленской области — на западе до Волги — на востоке (стр. 1).

внимание уделяют 1920-м годам, охватывая при этом целый комплекс вопросов, связанных с хозяйством и социально-экономической структурой доколхозной деревни, ее традициями и обычаями. В основу этой характеристики положена книга М. Я. Феноменова «Современная деревня», посвященная описанию деревни Гадыши Новгородской губернии. Как подчеркивает сам М. Я. Феноменов, эта лесная деревня Северо-Западного края резко отличается по условиям хозяйства и быта от центральной русской. Ст. и Э. Данны, однако, следуя во всех подробностях описанию Феноменова и опираясь почти исключительно на это исследование, стремятся распространить сделанные Феноменовым наблюдения и выводы на все крестьянство Центральной России. Чтобы показать «типичность» тех или иных явлений, они в ряде случаев обращаются и к другим источникам: «Село Вирятино в прошлом и настоящем» (Тамбовская обл.) и «Культура и быт колхозников Калининской области». При этом, однако, отдельные явления, обусловленные местными особенностями и отнюдь не типичные для той или другой области в целом, приобретают в их изложении несоразмерно большое значение, не позволяющее правильно видеть действительную картину развития. Например, характеризуя крайнюю рутинность и отсталость системы ведения хозяйства в Гадышах и, в частности, указывая на наличие подсечно-огневого земледелия, они в качестве аналогии приводят данные по Тверской губернии, в северных лесных районах которой частично сохранялось так называемое лядинное хозяйство вплоть до 1920-х годов. При этом Данны упускают из виду, что в той же Тверской губернии, как и в других губерниях нечерноземного центра Европейской части России, еще в конце 1880-х годов появилось травосеяние, означавшее уже развитие специализированного товарного хозяйства. Еще в большей степени это относится к южным районам Тверской губернии, где развитие льноводства приобрело ярко выраженный капиталистический характер⁵.

Типизируя, таким образом, отсталые формы хозяйства и распространяя их на всю Центральную Россию, Ст. и Э. Данны дают сугубо примитивизированную характеристику крестьянского хозяйства в предреволюционные годы, в действительности гораздо глубже и разносторонне затронутого капиталистическим развитием страны. Это тем более досадно, что доступные Даннам источники, вышеназванные монографии и, особенно, обобщающий труд «Русские» (в серии «Народы мира») при желании дали бы им возможность получить более правильное и детальное представление о разнообразии типов хозяйства, распространенных на исследуемой территории в интересующий их исторический период.

Недоучет всего разнообразия форм капиталистического развития в сельском хозяйстве России конца XIX — начала XX в. привел авторов к неверным суждениям о путях социальной мобильности дореволюционной русской деревни. Ст. и Э. Данны, следуя за ошибочной концепцией М. Я. Феноменова, полагают, что дореволюционная деревня не имела «стабильной классовой структуры и фиксированных путей классовой мобильности» (стр. 22), что не было твердых границ между бедными и богатыми, между хорошо обеспеченными землей и малоземельными. Основным фактором социально-экономического расслоения, авторы, как и М. Я. Феноменов, считают соотношение между процветанием хозяйства и количеством рабочих рук. Данны отбрасывают возможность социальной мобильности для дореволюционного крестьянства на базе самого сельского хозяйства (земледелия, животноводства), считая, что она возможна лишь на почве торговли и промышленности. При рассмотрении этого вопроса Данны совершенно обошли имеющуюся обширную историческую и экономическую литературу. А между тем, как это установлено авторитетными исследованиями, и в первую очередь капитальным трудом В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», собственность на землю в условиях развивавшегося капитализма являлась одним из наиболее существенных источников классового расслоения деревни. Принцип уравнительного землепользования в сельской общине отнюдь не препятствовал фактически неравномерному распределению земли между общинниками. Прежде всего это нашло свое выражение в огромном росте в конце XIX в. различных видов аренды, о которой Ст. и Э. Данны, кстати сказать, даже и не упоминают.

Отсюда вытекает и неправомерная архаизация Даннами сельской общины конца XIX — начала XX вв., ее экономических основ, порядков и традиций. Свое представление об общине они основывают на явлениях и фактах, которые для второй половины XIX в., не говоря уже о первом десятилетии после Великой Октябрьской социалистической революции, были редкостью или под влиянием новых социально-экономических условий находились в процессе разложения. Об этом свидетельствует вся обширная этнографическая литература как дореволюционного, так и советского времени. Ст. и Э. Данны, однако, специальным отбором пережиточных моментов волюн или неволюн уводят общину в далекое прошлое. Недаром они при характеристике брачных отношений в деревне оперируют понятиями «экзогамия» или «эндогамия», ошибочно утверждая при этом, что круг возможных браков определяется общиной. Также и при описании ими общинных порядков и традиций (сходы, помочи, посиделки, «улица», праздники, обряды, гадания и др.) приводимые ими факты даются в таком ракурсе, который позволяет авторам создать впечатление о единстве общины в ее от-

⁵ См. Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Культура и быт колхозников Калининской области, М., 1964, стр. 16—19.

ношении к духовным ценностям, об архаичности и чрезвычайной устойчивости древних общинных институтов в России. Между тем детально собранный этнографический материал свидетельствует, что сельский коллектив уже давно не был столь единым ни экономически, ни в своих общественных традициях, ни даже в обрядовой жизни. Один из примеров тому — помочи, бывшие когда-то ярким выражением общинного коллективного начала и ставшие под влиянием развивавшегося капитализма замаскированной формой эксплуатации кулаками своих односельчан. Можно было бы привести и много примеров из обрядовой жизни, сильно менявшейся уже с 1880-х годов под воздействием классового расслоения, городских влияний, общего развития культуры. Процесс разрушения и отмирания традиционных обрядов и обычаев выражался в сокращении и упрощении семейной и особенно календарной обрядности, в переосмыслении многих ее архаических элементов, приобретающих зачастую характер развлечения и т. п.

Мы уделили большое внимание разбору концепции Даннов в ее части, касающейся прошлого, поскольку она во многом определяет и их интерпретацию современности. Какой бы вопрос ни затрагивали авторы, они всегда рассматривают его сквозь призму старых порядков, придавая непомерно большое значение традиции и пережиточным явлениям.

С этой точки зрения характерна их трактовка вопросов семьи. Ст. и Э. Данны, уделив большое внимание семье как социальной единице, подходят к этой проблеме несколько однобоко — лишь с точки зрения экономических и правовых отношений. Правильно подметив коллективистские начала в быту современной крестьянской семьи, они истоки этого коллективизма ищут в общинных порядках, что приводит к неверному истолкованию явлений, большей частью не имеющих ничего общего со старым бытовым укладом. В значительной мере это происходит потому, что они совершенно опускают весь круг вопросов, связанных с областью внутрисемейных отношений, в которых, быть может, с наибольшей наглядностью проявляется то новое, что определяется советской действительностью.

Таков, например, вопрос о главенстве в семье. Конечно, нельзя отрицать, что многое здесь идет от старых традиций, но, ведь главное в том, что изменилось само понятие «глава семьи», что сейчас почтение о главенстве в семье все более стирается, и это становится определяющим моментом современных семейных взаимоотношений. Данны же сводят всю суть вопроса к рассмотрению сходства или различия в понятиях «глава семьи» и «глава колхозного двора». Первое они связывают с продолжением старых семейных традиций, а второе, хотя и считают новым явлением, но видят в нем дальнейшее закрепление старых порядков, основанных на коллективном владении собственностью и коллективном ведении хозяйства. Через признание государством колхозного двора как самостоятельной хозяйственной единицы само государство, по их утверждению, поддерживает эту идущую от старого систему. Следует отметить при этом, что авторы неправомерно отождествляют личное хозяйство современной колхозной семьи с хозяйством дореволюционного крестьянина. Если в прошлом хозяйство крестьянина являлось почти единственным источником его существования, то в условиях колхозной действительности приусадебный участок и все личное хозяйство колхозников играют исключительно подсобную роль. Об этом наглядно свидетельствуют приводимые этнографами семейные бюджеты колхозников (с. Вирятино), которые, кстати сказать, Данны подробно анализируют, но в ином аспекте.

В своей переоценке значения личного подсобного хозяйства в экономике колхозной семьи авторы заходят очень далеко, что приводит их, как указывалось, и к неправомерному отождествлению функций главы семьи в дореволюционное и советское время.

Вместе с тем Данны недоучитывают процесса развития и совершенствования самой колхозной системы, в ходе которого отношения (имущественные и прочие) между членами семьи, работающими в колхозе, и самим колхозом делают все более непосредственными, не требующими какого-либо вмешательства со стороны главы колхозного двора или главы семьи. Так, с начала 1960-х годов, что было отмечено, в частности, в монографии о калининских колхозниках, стала уже нормой выплата колхозом заработка лично каждому работнику, в то время как в начале 1950-х годов (с. Вирятино) такой порядок еще только зарождался. Эта система оплаты труда колхозников, а также отказ от семейной сдельщины в колхозной работе, наделение колхозного двора приусадебным участком из расчета числа работающих членов семьи, установленный минимум трудовой, предоставление пенсий нетрудоспособным колхозникам — все это способствует окончательному изживанию пережитков патриархальщины в современной крестьянской семье. Однако Ст. и Э. Данны при своих обобщениях пользуются исключительно примерами таких семей, в быту которых патриархальные традиции сказываются наиболее сильно. При этом они не считают ни с временными, ни с территориальными различиями. Так, если приводимые ими факты были более или менее характерны для Тамбовской обл. (с. Вирятино), то для Калининской обл., откуда они черпают аналогичные примеры, чтобы показать широту и типичность явлений, такие семьи не только не характерны, но являются редкостью⁶.

⁶ См. Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Указ. раб., стр. 195.

Отождествление современной колхозной семьи с дореволюционной крестьянской привело авторов к искусственному раздвиганию вопроса об отдельном женском имуществе. Эта черта, столь характерная для большеимейного уклада дореволюционной деревни, при новых правовых имущественных отношениях в советское время перестала играть сколько-нибудь существенную роль в быту колхозной семьи. Тем более нелепо приравнивать к женским доходам, наряду с доходами от сбора грибов и ягод, пенсию, которую вдова получает на воспитание детей (стр. 50). Это явление новое и никак не соотносится со старой традицией.

Преувеличивая роль приусадебного участка в экономике колхозной семьи, Данны переоценивают и значение фактов фиктивных разделов, которые, как отмечали советские исследователи, действительно имели место в первые годы советской власти и в начальный период коллективизации. Переноса это явление без каких-либо оснований на современную колхозную семью, авторы превратно истолковывают и самый процесс естественного деления семьи и наличие тесных родственных связей между разделившимися семьями. Все примеры, которыми они оперируют как фиктивными разделами, на самом деле имеют совсем иную природу — это фактически разделенные семьи, продолжающие, однако, сохранять естественные родственные связи. Удивляющее Даннов отделение от родителей их последнего сына или дочери (или наоборот, матери или отца от женатых детей) имеет гораздо более глубокие причины, чем предполагают американские авторы. И эти причины кроются не столько в экономике, сколько в сфере духовных отношений, различии привычек и вкусов, желании сохранить свою самостоятельность. Все эти тонкости семейного быта были бы точнее поняты авторами книги, если бы они обратились к анализу внутрисемейных отношений.

Много путаницы и неточных формулировок допущено Ст. и Э. Даннами в определении колхоза и деревни, а также соотношения между ними.

Известно, что колхоз — это добровольное объединение трудящихся для совместного ведения крупного общественного высокомеханизированного сельскохозяйственного производства и никаких политических функций, как то утверждают Данны (см. стр. 39), он не имеет. Органом же государственной власти в селе является сельский совет депутатов трудящихся.

Противопоставляя колхоз деревне, понимаемой в сугубо традиционном смысле, Данны совершенно не учитывают той новой общественной организации, которую получила русская деревня за годы Советской власти. Общественная жизнь современной деревни весьма многогранна и по своему богатству и разнообразию не идет ни в какое сравнение с общественной жизнью старого крестьянского «мира». В процессе развития новых форм общественной жизни в современном сельском коллективе сложились и продолжают складываться новые эмоциональные связи, новые общественные традиции. И те рудименты старого быта, в которых Данны видят эмоциональные устои советской деревни, не играют в ней значительной роли и тем более никак не определяют ее общественного лица. Общественная активность сельского населения направляется по разным каналам в зависимости от тех сторон жизни, которых она касается, и в одних случаях (например, в хозяйственной деятельности) главную организующую функцию несет колхоз, в других (например, в вопросах культурно-просветительной работы или благоустройства села) — сельсовет. Но разделение этих функций отнюдь не дает оснований противопоставлять колхоз и деревню, как то делают Данны, ибо связь между ними глубоко органична.

Недоумение вызывает интерпретация авторами колхозной бригады как социальной единицы, стоящей над семей (стр. 44). Во всех случаях (и там, где бригада и деревня совпадают) бригада всегда является производственной ячейкой колхоза и никак не может рассматриваться в одном плане с семьей. Материалы монографии о калининских колхозниках, на которых, видимо, они основываются, не дают право на такое утверждение⁷.

Сама характеристика производственной жизни колхоза (организация труда, продолжительность рабочего дня и пр.) дана в сгущенных отрицательных красках. Данны прибегают при этом к своему обычному методу использования источников — замалчиванию одних фактов и чрезмерному выпячиванию других, что при кажущейся документальности сообщаемого материала создает в целом искаженную картину действительности. Так, ссылаясь на монографию о Калининской области, авторы (стр. 44) утверждают, что длительность рабочего дня колхозников — 10 часов, забывая упомянуть, что это бывает лишь в наиболее напряженные сезоны года⁸, или сообщают, что труд животноводов длится с пяти утра до девяти вечера, не указывая при этом на наличие длительных перерывов в работе⁹.

Тенденциозное использование источников особенно ярко проявилось в трактовке Даннами вопроса о роли подсобного хозяйства в экономике колхозной семьи. Авторы возводят этот вопрос в дилемму, якобы стоящую перед колхозниками: «Посвятить ли все усилия колхозному хозяйству и попытаться жить на это, или делать минимум работы в общественном хозяйстве — необходимый минимум для поддержания общественного статуса, а основное внимание уделить частному хозяйству» (стр. 58). Более

⁷ См. Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Указ. раб., стр. 57, 58.

⁸ Там же, стр. 59.

⁹ Там же, стр. 60.

того, Данны говорят о якобы существующей конкуренции между общественным и личным хозяйством колхозников (стр. 58), видимо, перенося понятие, присущее капиталистическому обществу, на социалистическое. При этом авторы дают превратную картину подсобного хозяйства, характера его использования, чрезмерно превеличивают получаемый от него доход. В советской этнографической и экономической литературе подробно освещаются вопросы соотношения общественного и личного хозяйства, и делается это на основе анализа массового материала, собранного в различных районах страны¹⁰. Из него явствует, что личное хозяйство колхозников носит сугубо подсобный потребительский характер; приусадебный участок используется под посадку картофеля и овощей (а отнюдь не зерновых культур, как это можно заключить из характеристики Даннов), которые идут в основном на питание семьи. Продаются лишь незначительные их излишки. Развитие денежной части в бюджете колхозной семьи идет в первую очередь не за счет ее личного хозяйства, а за счет поступлений от общественного хозяйства (денежных и натуральных). Об этом свидетельствует как раз и тот пример, который приводят в своей книге Данны, придавая ему, однако, прямо противоположное истолкование. Так, если авторы монографии о Вирятине указывают, что повышение уровня благосостояния колхозной семьи связано с устойчивым, полноценным в течение ряда лет трудоднем, то Данны, прибегая к недобросовестному использованию источника, приписывают это процветание вирятинских семей успехам частного хозяйства¹¹.

Ст. и Э. Данны пытаются дать характеристику состояния культуры и культурно-бытового обслуживания в русской колхозной деревне. Они касаются вопросов электрификации, радиофикации, водоснабжения, транспорта, снабжения населения предметами народного потребления и т. п. Но поскольку авторы пользуются для своей характеристики произвольно выбранными частными примерами, взятыми, как правило, из газетных статей, нацеленных на борьбу с отдельными недостатками¹², то картина получается весьма дробная, в основном отрицательная, не дающая никакого представления о действительном уровне развития этих сторон быта колхозного села и в целом о тех коренных культурных преобразованиях, которые произошли за последние 50 лет. Авторы проходят мимо всего опыта социалистического строительства. В погоне за отдельными отрицательными фактами, которые, конечно, имеют место в повседневной действительности, они не замечают развития новых явлений, в корне изменяющих старую русскую деревню.

Внедрение механизации в сельское хозяйство, совершенствование хозяйственного планирования и учета, рост культурного строительства привели и приводят к существенным социальным изменениям на селе, в частности, к изменениям в профессиональном составе сельского населения. Современное село все более поглощает кадры интеллигенции и квалифицированных специалистов колхозного производства¹³. Это явление заслуживает особого внимания, поскольку оно означает расширение путей социальной мобильности внутри самого села.

Ст. и Э. Данны придают большое значение проблеме социальной мобильности¹⁴; однако, подходя к современному русскому селу со старыми мерками, они считают, что социальная мобильность возможна главным образом вне села (стр. 81), чему и посвящено все дальнейшее рассмотрение этой проблемы. Отсюда их чрезмерное преувели-

¹⁰ «Народы Европейской части СССР», т. I («Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1964, стр. 201; «Село Вирятино в прошлом и настоящем», стр. 177; Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Указ. раб., стр. 76—77.

¹¹ Ср.: «Благодаря устойчивому и полноценному в течение ряда лет трудодню (разрядка наша), вирятинские семьи не только полностью обеспечены продуктами питания, но имеют и значительные хлебные излишки, реализация которых позволяет семьям из года в год повышать материальный уровень жизни» (Село Вирятино, стр. 177) и «Подытоживая данные по частному хозяйству (разрядка наша), авторы исследования о селе Вирятине, утверждают, что колхозные семьи не только полностью обеспечены питанием, но имеют и значительные хлебные излишки, реализация которых позволяет семьям из года в год повышать материальный уровень жизни» (S. P. and E. Dunn, *The peasants of Central Russia*, p. 59). Таким образом, утверждение советских авторов о первенствующем значении трудодня в экономике колхозной семьи подменено Даннами прямо противоположным положением о ведущей роли личного хозяйства в благосостоянии семьи.

¹² Так, состояние водоснабжения в Центральной России характеризуется только примером Липецкой области, в некоторых деревнях которой падает уровень воды (стр. 62). Из раздела о транспорте (стр. 62) можно понять, что во всех деревнях Центральной России дороги непригодны для проезда. Абсолютизированы также и сведения отрицательного характера о банях (стр. 61), о телефонизации (стр. 62), а в разделе о радиофикации мимоходом высказано совершенно необоснованное замечание, что колхозники газет не читают из-за занятости и недостаточного образования (стр. 60—61). Подобные приемы «исследования» вряд ли могут помочь выяснению истинного положения вещей.

¹³ См., например, Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Указ. раб., стр. 67—70.

¹⁴ S. P. Dunn and E. Dunn, *The peasants of Central Russia*, ch. 3 — «Education and Social Mobility».

чение роли отходничества, которое они рассматривают как явление, традиционное для крестьянской центральной России не только в прошлом, но и в настоящем. Эту концепцию они основывают на отдельных фактах, встречавшихся в некоторых местах РСФСР в силу сложившейся там в определенный момент ситуации, и возводят их в явление типическое. При этом они совершенно отбрасывают интерпретацию этих явлений советскими этнографами¹⁵.

Затрагивая такой сложный вопрос как отток населения из колхозов, Данны правильно отмечают многие стороны этого явления, но как и во всем, рассматривая деревню статично, они не замечают развития новых факторов, воздействующих на жизнь сельского населения и, в частности, на расширение путей его социальной мобильности, о чем мы уже говорили. И хотя авторы как будто бы и признают, что советская власть открыла большие возможности для социальных изменений, они в то же время считают, что «деревня подвержена этим великим социальным изменениям меньше, чем должно было бы быть в идеале, в условиях советского строя» (стр. 93). Самый же подбор материала, весь пафос книги направлен на то, чтобы показать, что современная деревня не подверглась коренным социальным изменениям — положение, как мы уже говорили, неоднократно высказываемое Даннами и в их предшествующих работах.

Утверждение о весьма слабом изменении жизненного уклада русской деревни Ст. и Э. Данны пытаются проиллюстрировать примерами из области материальной и духовной культуры. К сожалению, эти по существу наиболее этнографические главы написаны слабо, фрагментарно, без знания предмета. Недопустимым является игнорирование авторами региональных различий в материальной и духовной культуре, без учета которых невозможно правильно осветить и проблему культурных изменений, поставленную Даннами в качестве основной (стр. 113). Сделанная, например, авторами попытка поставить в единый эволюционный ряд различные типы жилища без точного знания их характерных признаков¹⁶, без учета социально-экономических особенностей отдельных регионов и их традиций не может быть рассмотрена как серьезный аргумент в пользу какой бы то ни было научной концепции и менее всего дает право судить о характере и направлении происходящих изменений в культуре и быту сельского населения.

В этнографических разделах, как, впрочем, и в других, авторы стремятся показать застойность русского крестьянского быта, господство в нем примитивных форм. Так, подчеркивая устойчивость планировки сельских поселений, Данны считают, что сколько-нибудь заметные в них изменения произошли лишь в результате войны, в непосредственно охваченных ею районах, или же в связи с созданием новых водохранилищ, когда на новые места переносились целые селения (стр. 45, 46). Между тем, как это неоднократно отмечалось советскими этнографами, именно в этой области материальной культуры еще в довоенный период произошли существенные преобразования. Уже тогда созданием новых поселений и перепланировкой старых стали заниматься специальные архитектурно-строительные организации. За 10 лет (с 1930 по 1940 гг.) в колхозных и совхозных селениях РСФСР было построено свыше 3 млн. различных общественных и производственных зданий; свыше 300 тыс. колхозных сел и деревень подверглись реконструкции. К концу 1950-х годов произошло выделение отдельных зон застройки по их целевому назначению, разделение поселения на жилую и производственную зоны. Сложился, таким образом, новый по сравнению с прошлым тип села с учетом требований социалистического быта. Весьма сложный вопрос о перепланировке селений (укрупнения или рассредоточения отдельных населенных пунктов) решается в нашей стране в связи с общим планированием экономического развития конкретных районов.

Нет смысла подробно останавливаться на сделанной Ст. и Э. Даннами характеристике отдельных сторон материального и духовного быта, поскольку она поверхностна. Целый ряд ошибочных утверждений вытекает, видимо, из недостаточного знания авторами русского быта. Например, из абзаца о напитках следует, что любимым напитком русских является чай, часто с лимоном; чай, как утверждают авторы, — еще роскошь, но употребление его по сравнению с кофе и какао сильно возросло; другие излюбленные напитки — водка, квас и солодовая брага (стр. 121). Здесь явная путаница. Если уж говорить о традиционных напитках русских крестьян, то прежде всего необходимо назвать квас, имевший всегда исключительное значение в повседневном пищевом режиме крестьянства. В значительной мере его заменил чай, который в современном быту отнюдь не является роскошью. Потребление кофе и какао никогда не было характерно для сельского быта и не может быть сопоставлено с чаем. Из алкогольных напитков традиционны пиво и брага.

Пренебрежительное отношение к исследовательскому методу советских авторов при недостаточном знании жизни русской деревни (что вполне естественно) приводит Даннов к неправильной трактовке материалов о семейной обрядности. Например, опи-

¹⁵ См., например, «Село Вирятино в прошлом и настоящем», стр. 173—174.

¹⁶ Например, признаком севернорусского жилища Данны считают бревенчатые стены и двускатную крышу, а южного — кирпичные стены и четырехскатную крышу с усеченным скатом (стр. 111—112), видимо, не представляя, что каждый из двух типов характеризуется целым комплексом присущих ему признаков.

сывая обряды, сопровождающие рождение и крещение ребенка, Данны путают их с обычаями, связанными с церковным праздником богоявления 6-го января ст. ст. (стр. 95). При описании свадьбы (в целом правильном) Данны несколько раз упоминают об обряде осыпания молодых монетами, что абсолютно несвойственно русскому свадебному обряду (стр. 98, 99). В изложении похоронных обрядов принятые церковью поминальные дни «родительские субботы» — почему-то названы «родительскими воскресеньями» (стр. 104) и т. п.

Характерно, что, идя вслед за советскими этнографами и отмечая те или другие изменения в обряде (в частности, в свадебном), Данны тем не менее не уясняют себе сути этого процесса, не понимают того, что под влиянием изменяющихся условий меняется и сама традиция. Традиционный обряд переосмысливается, теряет наиболее архаичные свои элементы и впитывает новые. При всей своей преемственности традиция не закостеневает — она постоянно обновляется. В ней одновременно существует старое и зарождающееся новое, и в этом залог ее живучести. Не ощущая этой жизни традиции, Данны приходят к глубоко ошибочному выводу, что семейные обряды, бытующие в наши дни, почти не отличаются от традиций XVIII—XIX вв. (стр. 94).

Подытоживая свою работу («Заключение и выводы»), Ст. и Э. Данны кратко формулируют ее основные положения. Здесь дается ответ на главный вопрос книги — о сути культурных изменений, происшедших в жизни русского крестьянства за последние 50—60 лет. Авторы приходят к заключению, что изменения эти не являются коренными для самого крестьянства. Существенные изменения в культуре и быту крестьян, по их мнению, происходят лишь тогда, когда те меняют свой социальный статус, т. е. подвергаются урбанизации. «...Жизнь показывает, — пишут Данны, — что индустриализация означает урбанизацию и влечет за собой вырывание крестьянина из его среды; а это, в свою очередь, означает, что тем, кто остается в сельском хозяйстве (а некоторые должны остаться), достается только то, что осталось после выплаты за индустриализацию» (стр. 131). Из этой фразы, очевидно, следует понимать, что в деревне почти все остается по-прежнему. И хотя Ст. и Э. Данны признают, что крестьянин наших дней совершенно не похож на своего дореволюционного предшественника (разницу эту они видят не только в изменении его образа жизни, но и в более стабильном и напряженном контакте с некрестьянским внешним миром); он, по их мнению, продолжает оставаться крестьянином по самой своей социальной природе. Социальную же природу крестьянина Данны видят в его принадлежности к общине, замкнутому небольшому коллективу внутри общества в целом. Именно это имеет в виду А. Викунич, автор предисловия к книге, говоря, что, по мнению Даннов, изменилась социальная организация русского крестьянства, но не его социальная структура (стр. XI). Чтобы доказать неизменность природы русского крестьянства, Данны и стремятся «вдохнуть жизнь» в старую крестьянскую общину, пытаясь подчеркнуть стойкость ее бытования в наши дни. Проявление ее традиций они пытаются проследить в колхозе и, особенно, в деревне, сохраняющей якобы на основе эмоциональных связей старые общинные обычаи и обряды. Важнейшим после общины связывающим звеном между крестьянством дореволюционного времени с современным колхозником Ст. и Э. Данны считают семью с ее экономической целостностью и вытекающими из нее бытовыми порядками, якобы также идущими от общины. Как уже отмечалось, американские авторы не только неправильно арханизируют общину XIX в., но и преувеличивают роль пережиточных моментов в современном быту, в семье — они не в состоянии видеть явления в их развитии.

Остановимся кратко еще на одном моменте книги. Ст. и Э. Данны построили целую схему общения малого крестьянского общества с обществом в широком смысле слова. По их утверждению, это общение происходит через «ширму» («заслон») — особый механизм (в основном отрицательного свойства), образованный социальными, экономическими, географическими факторами (стр. 129). Этот механизм способствует сохранению специфических крестьянских черт культуры путем полного или частичного исключения аналогичных черт городской культуры. Через «заслон» некоторые элементы городской культуры никогда не доходят до крестьян, или доходят в измененном виде или слишком поздно. По мнению Ст. и Э. Даннов, эта «ширма» («заслон») существовала в дореволюционное время, существует и теперь. Влияние ее непосредственно обусловлено политикой государства и определяется количеством отпускаемых на нужды сельского населения средств в масштабе нации. Избежать влияния этой «ширмы» может только тот, кто уходит из деревни в город. Этот вопрос смыкается, таким образом, с проблемой социальной мобильности, понимаемой Даннами, как мы уже говорили, весьма односторонне, лишь как мобильность вне села.

Выводы книги Даннов находятся в полном противоречии с конкретной социалистической действительностью. Период, на котором они сосредотачивают свое внимание, является периодом величайшей социальной ломки и становления нового общества. Советские исследователи рассматривают изменения, происходившие в жизни советского народа за это время, как коренные, касающиеся всего советского общества, в том числе и крестьянства как его части. В новых социально-экономических условиях изменилось само крестьянство, его социальная природа. Вопреки попытке Даннов изобразить крестьянство как некую отсталую пассивную массу внутри советского общества, советское крестьянство являлось и является активным строителем новых общественных отношений, новых форм быта и культуры.

Ст. и Э. Данни игнорируют процесс сглаживания различий между городом и деревней, а между тем он начался с первых лет революции и особенно широко развернулся в наши дни. Сближение труда сельскохозяйственного с трудом индустриальным, кооперативно-колхозной собственности с государственной создает предпосылки для преодоления существенных различий в культуре и быте между городом и деревней, между сельским образом жизни и городским. Процесс механизации сельского хозяйства, совершенствование его экономического управления (что сближает его с промышленным производством, а труд крестьянина с трудом рабочего) протекает одновременно с повышением уровня образования сельского населения, с ростом его профессиональной подготовки, с развитием его культурных запросов и потребностей. Вместе с этим из города в деревню направляется мощный поток культуры, которая по самым различным каналам может дойти до каждого сельского жителя. Советское государство, общественность, сами колхозники прилагают огромные усилия для преобразования колхозной деревни. Конечно, процесс этот сложный, длительный, трудный, но на этом пути у советского общества имеется уже много достижений, и пройти мимо них — значит не понять сущности культурных изменений в жизни русского крестьянства.

Л. А. Анохина, В. Ю. Крупянская,
М. Н. Шмелева

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

В. Е. Гусев. *Эстетика фольклора*. Л., 1967, 319 стр.

Вышел фундаментальный труд видного советского фольклориста В. Е. Гусева, подытоживающий и обобщающий многолетние усилия автора по созданию стройной теории народного поэтического творчества. Вместе с тем следует отметить, что это — новый тип теоретического исследования в области фольклора. Новизна его заключается в том, что здесь впервые теоретические вопросы решаются на столь широком материале. Автор свободно оперирует фактами, почерпнутыми из научной литературы буквально всех стран и континентов. Сопоставительный анализ этих фактов на основе марксистско-ленинской философии делает выводы В. Е. Гусева глубоко аргументированными и доказательными.

Новаторская сущность рецензируемой книги проявляется и в удивительно разнообразном и полном охвате рассматриваемых проблем. Опираясь на все достижения современной советской фольклористики, автор стремится исследовать именно те вопросы, которые вызывали наиболее ожесточенные споры в современной науке и которые по природе своей являются весьма сложными, противоречивыми, исторически подвижными.

Главная цель, которую ставит перед собой автор, заключается в том, чтобы показать своеобразие народного искусства в комплексе его «словесно-музыкально-хореографических и драматургических» форм выражения. Таким образом, В. Е. Гусев впервые в нашей науке вышел за пределы «плоскостного» рассмотрения фольклора. Хотя синкретизм фольклора признавался в трудах многих ученых, все же вопросы теории решались всегда на материале устного словесного творчества. Когда же к фольклору обращались музыковеды, хореографы, каждый из специалистов интересовался только либо музыкальной, либо танцевальной стороной дела.

Стремление исследовать объект во всей его сложности сказывается на структуре всей книги. Изучая материал, автор постоянно имеет в виду: 1) «социальную природу явления (творчество народных масс), 2) его «качественную специфику» (коллективное художественное творчество) и 3) его историческую перспективу.

Выясняя социальную природу фольклора, автор повторяет известное положение о том, что народное искусство возникает в процессе трудовой деятельности человека и что во все времена творцами сказаний, песен, преданий, пословиц и прочих жанров фольклора были «производители материальных ценностей» (стр. 16). Но Гусев учитывает при этом, что «социальная структура народа на разных этапах истории человеческого общества» не остается неизменной. Исторические сдвиги, происходящие в социальном составе народа, обуславливают появление в фольклоре разнородных идейно-художественных элементов. Он пишет: «Культура и искусство народа в классовом обществе, «народное творчество» является классовым по своей природе не только в том смысле, что оно противостоит идеологии господствующего класса в целом, но и в том, что само оно является сложным, а подчас и противоречивым по своему классовому, идеологическому содержанию» (стр. 20).

Очень запутанным в нашей науке был вопрос о соотношении «народного» и «национального» в фольклоре. Даже в последнее время находились ученые, которые под народным творчеством разумели «все художественные ценности, созданные

нацией»¹. В. Е. Гусев проводит очень резкую грань между обоими понятиями. Он указывает, что «фольклор как народное творчество — это абстрактное понятие, приобретающее реальный смысл лишь тогда, когда оно наполняется конкретно-историческим социальным содержанием, когда оно воспринимается как творчество тех классов и групп, которые составляли народ на разных этапах его развития. Этим вовсе не отрицается существование фольклора как общенародного творчества, а лишь утверждается мысль, что общенародным оно становится в результате взаимодействия творческих традиций, сложившихся в разных социальных слоях» (стр. 21). Именно в связи с этим ставится вопрос о народности. Углубляя и по-новому освещая известный тезис о том, что не все народно, что бытует в народе, В. Е. Гусев считает «высшей мерой народности фольклора» его революционность. Отметив идейность и демократизм системы образов как важные показатели народности фольклорного произведения, исследователю особое внимание уделяет национальным художественным традициям, складывающимся в результате длительного исторического процесса (стр. 53). Интересной и плодотворной представляется мысль Гусева о постепенном формировании в фольклоре каждого народа элементов интернациональной культуры, что обусловлено прежде всего «сближением и сотрудничеством разных народов в борьбе за общие социальные идеалы, за мир и социализм» (стр. 56).

Вскрыв социальные корни фольклора, Гусев далее исследует его как самостоятельный вид народной культуры и показывает несостоятельность теорий, которые видели специфику фольклора в «безыскусственности», в «примитивности», в одной лишь «традиционности», либо слишком расширительно понимали фольклор, как соединение всех народных традиций, включая сюда и материальную культуру, либо непонемно сужали его, говоря о нем лишь как о народном искусстве слова. По мнению автора, «фольклор должен рассматриваться как комплекс сложных полиэлементных видов синкретического искусства, пользующихся художественно-образными средствами, рассчитанными на непосредственно слуховое, сочетающееся со зрительным восприятие в момент исполнения» (стр. 93). Это определение, как нам кажется, страдает известной односторонностью и не указывает на качественную сторону художественно-образной природы фольклора. Правда, этот недостаток восполняется рассуждениями автора, сопровождающими данное определение. Так, он, в частности, отмечает функциональное своеобразие фольклора, который является «одновременно искусством и неискусством», в котором «познавательная, эстетическая и бытовая функции составляют одно неразрывное целое» (стр. 79).

Следуя раз избранному принципу рассматривать изучаемые вопросы в их диалектической сложности, В. Е. Гусев показывает как специфические стороны отдельных видов и жанров народного творчества, так и то общее, что характеризует их как произведения именно народного творчества (стр. 89).

Исходя из марксистского положения о том, что у каждого вида искусства имеется свой предмет познания, автор показывает исторически непреходящее значение фольклора, видя его в следующем: «Поскольку фольклор есть искусство коллективное, то предметом художественного познания становится то, что затрагивает интересы коллектива» (стр. 94). Немаловажным фактором, поддерживающим существование фольклора, Гусев считает и «особенность психологии коллективного творчества» — присущую народным массам потребность в непосредственном выражении коллективных эмоций, потребность в непосредственном общении в процессе творчества, что и делает «исполнение фольклорного произведения творческим актом, в котором принимают участие исполнители и слушатели».

Из выводов В. Е. Гусева о специфике фольклора вытекает прежде всего необходимость организации комплексного изучения фольклора литературоведами, музыкантами, искусствоведами, что потребует пересмотра существующих принципов изучения произведений народного творчества и методики их полевого исследования.

Важное практическое значение будет иметь глава «Классификация произведений фольклора», занимающая в книге чуть ли не главное место. Известно, какая путаница царит в нашей науке по вопросам родовой, видовой и жанровой классификации фольклора, что объясняется отсутствием единого, научно обоснованного принципа классификации. В. Е. Гусев, на наш взгляд, находит единственно верный принцип. Он пишет: «Поскольку категория жанра — эстетическая, а не этнографическая и не социологическая, то и собственно жанровая классификация может быть только эстетической классификацией, способствующей познанию эстетической природы данного рода фольклора, т. е. в данном случае — познанию характера и средств типизации эстетического отношения народных масс к действительности» (стр. 150). Предложенная им на этой основе классификация отличается стройностью, отвечает особенностям фольклора как синкретического вида искусства. Правда, некоторые пункты схемы вызывают возражение, но бывает это обычно тогда, когда автор «нарушает» установленный им самим принцип. Например, сущность предания как жанра заключается, по мнению автора, в том, что оно говорит о «более или менее отдаленных событиях». Следовательно, предание всегда связано с историей, и, видимо, поэтому, В. Е. Гусев употребляет в качестве синонима еще один термин — «историческое сказание» (стр. 122).

¹ Л. И. Емельянов, Понятие «фольклор» в советской фольклористике, «Русский фольклор», VI, М., 1961, стр. 26.

Уместно ли тогда среди разновидностей преданий (исторических сказаний) — таких, как экономические, топонимические и прочие — выделять еще и исторические? А именно так делает автор (стр. 162).

Конструктивное значение имеет и глава «Художественный метод фольклора». До недавнего времени фольклористы «боялись» и обходили стороной эту сложную проблему. Правда, сейчас уже есть ряд работ, посвященных художественному методу фольклора. Из них самые крупные и вместе с тем самые спорные — книги Н. Ф. Бабушкина и К. С. Давлетова.

Н. Ф. Бабушкин полностью отождествляет художественный метод народного поэтического творчества с романтизмом в его литературном выражении, причем жарождение реалистических принципов изображения действительности он видит еще в первобытном искусстве, о чем, по его словам, «вполне доказательно, с большим фактическим материалом в руках писали историки, этнографы, искусствоведы»². К. С. Давлетов говорит об отличии эстетики фольклора от эстетики литературы, но когда переходит к характеристике творческого метода фольклора, как бы забывает об этом. Он, хотя и оговаривается, что этот метод отличается от «настоящего» реализма XIX в., все же считает типизирование действительности в народном творчестве всех времен реалистическим³.

В. Е. Гусев избегает прямолинейности выводов своих предшественников. Он говорит о сменяющихся «типах художественного мышления народа», что обусловлено всем ходом исторического развития общества. Автор находит в фольклоре несколько «типов» творческого метода, которые отражают различные этапы в развитии художественного мышления народа. Вместе с тем он говорит о качественно отличающихся, по сравнению с другими видами искусства, принципах изображения действительности в фольклоре (стр. 219, 221).

Не во всем разделяя теорию В. Е. Гусева, мы вместе с тем считаем весьма плодотворным основные ее положения, а именно: идею о сменяющихся «типах художественного мышления»; понимание художественного метода как определенного «способа художественно-образного мышления»; тезис о своеобразном проявлении художественного метода в каждом виде искусства и, в частности, в фольклоре; последовательно проводимую мысль о принципиальном отличии художественного метода русского фольклора феодальной эпохи от реалистического метода, а также о постепенном накоплении в недрах «старого типа художественного мышления» элементов нового качества, что отражает разнообразные исторические сдвиги в самой жизни.

Говоря о художественном обобщении действительности, В. Е. Гусев считает исторически равноправными формами обобщения как типизацию, так и идеализацию. В то же время автор акцентирует внимание на том, что идеализация как форма художественного обобщения — специфичная и сильная черта творческого метода фольклора, и он, конечно, прав.

Несмотря на ряд спорных положений, книга В. Е. Гусева выгодно отличается от предшествующих работ доказательностью, последовательностью, разработанностью проблем до конца, практической приложимостью. В ней есть и дискуссионные положения, что, собственно, является не недостатком, а достоинством ее. Сам автор предупреждает, что «предлагаемая вниманию читателя книга — лишь один из возможных опытов теоретического изучения фольклора» (стр. 8).

Книга В. Е. Гусева подводит итоги многолетних изысканий в области теории фольклора не только одного ее автора, но и всей советской фольклористики, и, как всякий подытоживающий труд, намечает проблемы и пути развития науки на будущее.

² Н. Ф. Бабушкин, О марксистско-ленинских основах теории народно-исторического творчества, Томск, 1963, стр. 140.

³ К. С. Давлетов, Фольклор как вид искусства, М., 1966, стр. 17.

А. И. Лазарев

НАРОДЫ СССР

Е. П. Бусыгин. *Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры XIX — начала XX в.* Казань, 1966, 400 стр. с илл.

Рецензируемая книга — первая обобщающая этнографическая работа о русском населении Среднего Поволжья. Основой для нее послужили многолетние исследования автора, проводившиеся в экспедициях и архивах с 1947 по 1961 г. Работа Е. П. Бусыгина является значительным вкладом в советскую этнографию. Она имеет большое значение для разработки проблемы истории формирования культуры и быта русского народа.

На основании ценного и тщательно подобранного полевого материала, а также архивных, статистических и литературных источников автор прослеживает формирование русского населения Среднего Поволжья; скрупулезно описываются различные элементы быта, исследуется происхождение и развитие материальной культуры рус-

ских на данной территории, выявляются культурно-бытовые связи с местными поволжскими народами.

Среднее Поволжье — многонациональный край, где русские в течение многих веков живут в непосредственной близости с татарами, чувашами, марийцами, мордвой, удмуртами, — представляет большой интерес для этнографического исследования. Изучение быта русского населения Среднего Поволжья имеет важное значение не только для освещения этнической истории самого русского народа, но и для выяснения истории формирования материального быта и культуры инонациональных народностей этой территории.

Книга состоит из небольшого введения, восьми глав, каждая из которых имеет тематические подразделения и заключение. Во введении (стр. 3—9) рассматривается проблема исследования и очень кратко историография. Недостатком историографической части является отсутствие упоминания ряда работ по деревянному зодчеству Поволжья, например, труда И. В. Маковецкого «Памятники народного зодчества Среднего Поволжья» (М., 1954) и книги Н. А. Ковальчука «Деревянное зодчество Горьковской области» (М., 1955). Не упомянуты в историографии и работа Е. Э. Бломквист «Крестьянские постройки русских, украинцев, белорусов», опубликованная в Восточнославянском сборнике (М., 1955), хотя автор очень много раз ссылается на нее в тексте.

В первых двух главах — «Природные условия и население» (стр. 10—36) и «История заселения Среднего Поволжья и формирование поволжских великороссов» (стр. 37—84) — Е. П. Бусыгин, используя литературные данные и полевые материалы, показал современное размещение многонационального населения на территории Среднего Поволжья, а также историю заселения русскими рассматриваемой территории. Археологические материалы позволяют говорить о торговых связях русских купцов с населением Булгарии в IX в. и о русских поселениях XII—XIII вв. Более подробно в главе рассматривается заселение русскими Поволжья после его присоединения к России в XVI в. и на протяжении XVII—XIX вв. В книге впервые даны в последовательном хронологическом порядке история заселения и состав русского населения Среднего Поволжья. Выявляются места выхода переселенцев, что очень важно, так как переселенцы из разных мест приносили с собой разные традиции в материальной культуре и свои языковые особенности. Полевые материалы позволили автору рассмотреть и другой важный фактор, влиявший на сложение культуры поволжских великороссов, — длительное соседство с коренными поволжскими народами (татарами, чувашами, мордвой, марийцами, удмуртами, башкирами).

Глава III «Техника сельского хозяйства и промыслы» (стр. 85—140) содержит обстоятельные данные о сельском хозяйстве Среднего Поволжья XIX в. Здесь говорится о системе земледелия и землепользования, о сельскохозяйственных культурах и орудиях труда. В главе выделены разделы: садоводство, животноводство, пчеловодство, рыболовство, охота и др. Следует отметить излишнее дробление этой главы на разделы. Неясно, зачем нужны два раздела по животноводству за период с середины XIX в. до 1917 г. и в то же время очень обобщенно дано сельское хозяйство после 1917 г. Интересны по содержанию разделы «Распространение машин в сельском хозяйстве» и «Урожайность культур».

В целом в главе хорошо показано взаимовлияние культур смешанного населения. Однако автор не всегда дает верную трактовку влияний. Например, он считает, что обмолот зерновых лошадами у русских возник под влиянием татар и чувашей, тогда как обмолот зерновых лошадами очень распространен у русских Калужской и Смоленской областей, вовсе не соприкасавшихся с нерусскими народами. В главе недостаточно прослежено влияние социально-экономических и природных условий на те или иные элементы сельскохозяйственной техники.

В главе IV «Ремесла и промыслы» (стр. 140—184) рассмотрены все виды домашних промыслов и ремесел, когда-либо бывавших в Среднем Поволжье. Глава написана на большом полевом материале автора с привлечением литературных данных.

Материал убедительно показывает, что промыслы у русских Среднего Поволжья имели большое значение, составляя наряду с земледелием и животноводством существенное подспорье крестьянской семьи. В отдельных селах промыслы были основным источником существования (особенно обработка дерева, кож и гончарство).

Глава V «Поселение и жилища» (стр. 185—291) — одна из самых больших и интересных в книге. В ней исследуются типы и формы поселений, характер расположения их на местности, размеры селений, их топонимика, типы изгородей, колодцев. Описывается также общий вид селений. Все эти вопросы автор исследует на огромном фактическом материале, собранном им в многочисленных населенных пунктах. Привлечены также интересные материалы архивов — планы конца XVIII — середины XIX в. Следует лишь отметить, что развитие поселений в начале XX в. и в советское время дано очень схематично.

Большое научное значение имеет проведенное Е. П. Бусыгиным картографирование жилища; им составлены следующие карты: 1) карта распространения типов связи дома с надворными постройками, XIX в. (стр. 216); 2) карта распространения типов бань, XIX в. (стр. 237); 3) карта распространения типов домов (по высоте подполья, XIX в.) (стр. 252); 4) карта распространения типов планировки домов в Среднем Поволжье, XIX в. (стр. 269).

Поскольку автор собрал данные о годах постройки всех домов во многих селениях (стр. 207), очень жаль, что итоги этих данных не приведены в книге.

Несколько схематичен раздел «Общий вид селений в прошлом и настоящем» (стр. 206—212). Ничего не говорится об общественных постройках старой деревни, об отличиях крупных торговых и промышленных сел от мелких глухих деревень. Различаются по своему внешнему виду селения и в настоящее время. Распространение изгороди из плетня автор связывает с влиянием южновеликорусской культуры, занесенной сюда переселенцами, а с другой стороны — с древними местными традициями. На самом же деле ареал распространения плетня очень широк и границы его скорее связаны с природными и социально-экономическими условиями (недостаток и дороговизна досок, жердей).

Содержателен раздел «Типы связи дома с двором в XIX — начале XX в. и в настоящее время» (стр. 213—226). Е. П. Бусыгин рассматривает пять основных типов связи дома с двором, а также приводит различные варианты. Это разнообразие определялось как природно-географическими условиями, так и традициями русских переселенцев в Среднем Поволжье. Прослежены изменения, происходящие в типах жилых и хозяйственных построек за годы социалистических преобразований.

Автор выделяет два типа амбаров — северовеликорусский срубный и южновеликорусский из плетня (стр. 229). Не возражая против выделения этих типов, мы все же считаем необходимым отметить, что в Калужской и Брянской области строили амбары срубные, а не плетневые. Упоминаемые области входят в переходную зону между севером и югом. Эта переходная зона включает ряд центральных областей, что прослеживается очень наглядно в характере материальной культуры населения. Отметим также, что амбары с балконом характерны не только для поволжских народов (стр. 231), а поэтому сомнительно утверждение, что широкое распространение таких амбаров у русских Среднего Поволжья есть результат их связей с соседями. Двухэтажные амбары с балконом зафиксированы в Костромской области, были они и значительно севернее этой территории; широко распространены амбары подобного типа также в Западной и Восточной Сибири.

Совсем не обязательно объяснять украинским влиянием возведение жилого дома «закладным» способом (стр. 249). Ареал распространения этого способа очень широкий и связан с природно-географическими условиями и с отсутствием хорошего строительного леса.

В разделе «Форма крыши, техника ее сооружения в XIX — начале XX в. и в настоящее время» (стр. 255—258) приведен интересный статистический материал о количественном соотношении форм крыши по нескольким селам Среднего Поволжья.

В разделе «Украшение жилища» (стр. 259—267) автор прослеживает смену форм украшений на исследуемой территории с начала XIX в. до настоящего времени; вопрос о происхождении на данной территории долотной резьбы правильно связывается с долотной резьбой Верхнего Поволжья. Можно было бы более подробно рассмотреть этот вопрос, поскольку в Среднем Поволжье украшению жилища придавалось большое значение и оно отличалось значительным разнообразием. Мало внимания уделено в разделе более позднему украшению домов техникой выпилки, а здесь можно было бы провести интересное сравнение орнаментов русских и поволжских народов. Следует отметить бедность иллюстраций в рассматриваемом разделе.

Глава VI «Одежда» (стр. 292—359) написана очень живо и содержательно. Следует подчеркнуть, что в основу этой главы положен исключительно собранный автором материал, который позволил составить карту распространения разных типов женских рубаш в XIX в. (стр. 316). Е. П. Бусыгин проследил изменения в одежде русских крестьян на протяжении более ста лет вплоть до современности и попытался выявить причины, обусловившие эти изменения.

В главе VII «Пища и домашняя утварь» (стр. 360—384) приводится яркий материал, характеризующий состав продуктов питания крестьян в XIX в., приготовление блюд и утварь. Прослеживаются изменения в крестьянской пище и утвари к началу XX в.; описано также питание в современной деревне.

Глава VIII «Средства передвижения» (стр. 385—395) является завершающей в монографическом исследовании русского населения Среднего Поволжья. Здесь кратко рассмотрены сухопутные и водные средства передвижения, начиная с XVIII в. Заканчивается глава чрезвычайно краткой характеристикой современного транспорта Среднего Поволжья. В этой главе явно недостает иллюстраций.

Подводя итог, хочется подчеркнуть еще раз важное значение этой работы не только для этнографов, но и для каждого, интересующегося историей формирования и развития культуры и быта русского народа. Книга о русском населении Среднего Поволжья — часть большой истории русского народа. Значительную ценность имеют также составленные автором карты распространения отдельных элементов жилища, одежды и иллюстративная часть.

А. А. Лебедева

Gerhardt Heilfurt unter Mitarbeit von Ina-Maria Geverus. *Bergbau und Bergmann in deutschsprachigen Sagenüberlieferung Mitteleuropas* Band I — Quellen. Marburg, 1967, 1291 S.

Вышел в свет первый том огромного труда Герхардта Гейльфурта о народной горняцкой прозе («Источники»). Второй том («Исследования») готовится к изданию в Институте этнографии при Марбургском университете. Это итог почти сорокалетней деятельности известного западногерманского фольклориста, автора ряда статей и книг о песнях, устных рассказах, обычаях и поверьях, профессиональной лексике горняков. Рецензируемый том, существенно дополняя ранее опубликованные немецкие сборники местных горняцких «сказаний» XIX—XX вв.—Ф. Врубеля (1883), К. Ноттинга (1933, 1934), Г. Стётцеля (1936), Ф. Кирнбауэра (1954) и Г. Шрайберга (1962), отличается от них своей структурой и научной направленностью. В книге Гейльфурта 1210 немецких текстов, которые относятся к фольклорному и полufольклорному (причем не только к собственно германскому, но и средневропейскому) материалу разных периодов истории горного дела — от средневековья до нашего времени. В исторической последовательности здесь расположены, наряду со «сказаниями» всех горнопромышленных районов этнографической территории Германии, «сказания» Лотарингии, Вогезов, Альп, Тироля, Богемии, Закарпатья, Верхней Силезии.

Сказаниями (Sagen) Гейльфурт, как и другие немецкие фольклористы, называет различные по жанру, форме бытования и социальной функции произведения устного и книжного, очень древнего и относительно позднего происхождения: легенды-предания, которые преобладают среди опубликованных 1210 текстов, рассказы-воспоминания, а также «слуши-толки». Извлечены эти фольклорные тексты, литературные источники и переказы из старинных сочинений XVI—XVIII вв. (исторических хроник, богословских трактатов, руководств по горному делу, металлургии, географии, астрономии) и из периодических изданий, фольклорно-этнографических сборников, архивных фондов, в частности, из рукописного собрания самого автора-составителя. В примечаниях к текстам указаны сюжетные параллели в опубликованном немецком материале и в фольклоре соседних народов (номера по международному каталогу «Motif — Index» С. Томпсона), даются пояснения исторического и этнографического характера. Сопоставляя горняцкие легенды-предания немцев и других народов, Гейльфурт ссылается на труды Р. Гельгардта и А. Ионова (СССР), О. Сироватки (Чехословакия), Ю. Лигонзы (Польша), М. Филипповича (Югославия), К. Варги (Венгрия), П. Себильо (Франция), А. Гару (Бельгия), В. Ганды (США), Г. Лемена (Голландия), К. Тильхана (Швеция).

Обстоятельное (около двухсот страниц) «Введение» тесно связано с содержанием собранных в томе горняцких «сказаний» и с непосредственно следующими за каждым из них примечаниями. В первой части введения автор, обобщая опыт исследователей несказочной народной устной прозы (от Я. и В. Гриммов до многочисленных немецких современных фольклористов), ограничивается общими замечаниями по ряду важных проблем: о мифологических корнях фантастики традиционных народных «сказаний», ее многослойности, отражении в ней дохристианских и христианских верований; о сочетании в «сказаниях» вымысла и правды, исторического и современного социального содержания; о доминирующем коллективном и подчиненном ему индивидуальном творческом начале в фольклоре и влиянии на народных рассказчиков книжной культуры. Вместе с тем широко освещены современные научные концепции, дискуссии и новые конкретные наблюдения над процессом устного народного творчества, например, концепция А. Жолле о структуре устного рассказа как «простой формы»; концепция В.-Э. Пойкерта о «мифологическом климате» и «реальном зерне» сказания; полемика Л. Гонко с К.-В. Сидовым по вопросам морфологической классификации устной прозы; наблюдения И. Файге, О. Бринкмана и В.-Э. Пойкерта о влиянии на устную традицию социальной среды, в которой эта традиция живет. Интересны приводимые Гейльфуртом психологические наблюдения А. Фиеркандта и Г. Генца над типами народных рассказчиков.

Во второй части «Введения» особенности горняцкой устной прозы рассматриваются в связи с условиями труда и быта горняков. Вслед за Максом Лютхи Гейльфурт обращает внимание на то, что полная неожиданностей опасная и тяжелая работа в темноте под землей располагала к распространению в среде рудокопов, шахтеров фантастических представлений, которые отразились в их устном творчестве, преимущественно в прозе. Верные замечания делает автор о различии функций горняцкой песни и горняцкой прозы. Многие образы и мотивы горняцких «сказаний» сложились на основе традиций устного творчества крестьян и развивались под его влиянием. Гейльфурт анализирует горняцкие «сказания» в их взаимодействии с легендарными рассказами других общественных групп (о кладах, гномах, чертях, горных духах, привидениях, пришельцах), учитывая специфику устного творчества рабочих. Истоки таких древних мотивов горняцкой устной прозы, как например «Чудесное спасение рудокопов в обвалившейся шахте» и «Чудесная находка подземных сокровищ», прослеживаются по литературным памятникам (жития святых, хроники, акты, ученые трактаты)

и памятникам изобразительного искусства средневековья и эпохи реформации. Средневековые и более поздние памятники и иконографические материалы позволили Гейльфурту путем сопоставления их с фольклором, бытующим поныне, выявить процесс постепенной дифференциации образов злых и добрых горных духов, хозяев недр, и процесс формирования человекообразных фантастических образов Горного монаха, Горного черта, Горного короля, Хозяина горы, Рубецаля. На конкретных примерах автор показал, как в народной среде постепенно разрушалась вера в эти сверхъестественные существа, что сказывалось в юмористической трактовке фантастических образов.

Вторая часть «Введения» завершается обзором альпийских, закарпатских, рурских, саарских, аахенских, силезских «сказаний»; здесь главное внимание уделяется «региональным особенностям» образов горных духов, например, закарпатского Пергаме-нели и силезского Скарбника. Вызывает, однако, возражение то, что Гейльфурт отождествляет региональные различия в трактовке фантастических образов «сказаний» в отдельных областях с национальными различиями.

В третьей части «Введения» охарактеризован репертуар известных в записях или в литературных переложениях на немецком языке горняцких «сказаний» Средней Европы, определены принципы классификации их традиционных сюжетов и мотивов.

Тексты «сказаний» расположены в томе по тематическим разделам: А. Открытие полезных ископаемых и основание рудника, шахты. В. Чудесное происшествие в шахте или над нею. С. Духи оказывают помощь горнякам. D. Предвиденье и предупреждение беды. E. Чудесное спасение и сохранение. F. Наказание за нарушение правил поведения. G. Наказание за неосмотрительные поступки и оскорбительные слова. H. Оскудение рудника, шахты, причины этого. I. Заброшенный рудник, шахта — жуткое место. K. «Венецианец» — таинственный золотоискатель, разведчик недр. L. Сокровища гор и подводного мира. M. Появляющиеся из-под земли и исчезающие сокровища. В каждом из тематических разделов имеются подразделы; например, в разделе «F», где помещены рассказы, для которых характерна социально-этическая жестокость, имеются следующие подразделы: 1) проступок в присутствии горного духа; 2) наказание за свист, проклятия, хулу под землей; 3) наказание за работу в праздничные дни и в нерабочее время; 4) наказание за пренебрежение своими обязанностями; 5) несправедливость и злодеяния в жизни рабочих; 6) гнет и эксплуатация.

Классовые конфликты между рабочими и враждебными им владельцами, управляющими рудников, шахт, штейгерами отражаются только в немногочисленных рассказах последнего подраздела (№ 587—602). В легендарном рассказе из сборника Ф. Зибера «Harzland-Sagen», перепечатанном Гейльфуртом (№ 602), горный дух убеждает молодого энергичного бедняка-рудокопа освободить Гарц от угнетателя рабочих — горного мастера. Парень, женившись на дочери горного мастера, не выполняет своего обещания, и горный дух сжигает его в шахте. В другом рассказе (№ 590) из сборника Г. Ресселя «Das Erzgebirge in Sage und Geschichte», имеющем в немецком фольклоре несколько вариантов, довольно выразительно рисуется образ жадного и жестокого владельца рудника. В других рассказах бесчеловечных эксплуататоров карают сами горные духи или святые; действие относится иногда к весьма давнему времени, например к 1478 г. (№ 588), 1532 г. (№ 587). Сознательная организованная борьба пролетарских масс за свои социальные права и свободу в новое время в текстах рецензируемого тома не получила отображения. Но и в последних немецких сборниках горняцких сказаний социально-политические тенденции проявляются относительно слабо, слабее, чем, например, в опубликованных материалах по традиционному русскому горному фольклору Урала и Сибири.

Для сравнительно-исторического изучения устной горняцкой прозы данный том «сказаний» имеет существенное значение. В этих «сказаниях» нередко фигурируют в качестве добытчиков и хранителей подземных богатств гномы и «маленькие борода-тые люди», которые сродни «старым людям», чуди и суксунам уральских русских и башкирских горняцких легенд. Как в русских, так и в западных горняцких устных рассказах противоречиво, двойственно рисуются легендарные образы Хозяина и Хозяйки горы, шахты, отчасти справедливых и доброжелательных, отчасти же опасных и недружелюбных. Эти фантастические персонажи и в русском, и в западном фольклоре принимают облик людей и разнообразных животных, рассыпаются золотом. Имеются общие для русского и западного горняцкого фольклора сюжеты и мотивы. Круг традиционных фантастических персонажей и сюжетов, мотивов в западных, в частности, немецких горняцких легендах, шире, чем в русских, в которых не встречаются, например, горная фея, горная русалка, дикая женщина, горный великан, горный черт, горный король. Венецианец и многие другие. Кроме того, для русского горняцкого фольклора, традиции которого стали складываться не ранее второй половины XVIII в., совсем не характерна мистическая окраска, заметная во многих фантастических рассказах этой книги, имеющих средневековое происхождение.

Если во «Введении» автор уделил должное место художественности устного народного творчества и мастерству народных рассказчиков, то в основной части тома — «Sagen» — поэтические, подлинно фольклорные тексты как бы тонут в преобладающем полуфольклорном-полулитературном материале. Творчество выдающихся рассказчиков здесь, к сожалению, не получило определенного отражения.

Тщательно составлен ассистентом профессора Герхардта Гейльфурта Иной-Марией Геве-рус научный справочный аппарат тома (стр. 969—1291): указатели сюжетов-мотивов

и образов, профессиональных горняцких слов, географический и библиографический указатели. Книга богато иллюстрирована репродукциями со старинных миниатюр и лубочных картин, отражающих труд и быт европейских горняков, сюжеты их легенд, преданий, а также фотографиями наскальных рисунков и древних магических знаков, которые связаны с фольклором Гарца и Силезии.

Выход в свет рецензируемого фундаментального тома знаменует определенный этап в собирании и исследовании горняцкого прозаического фольклора Средней Европы и, надо полагать, привлечет внимание советских и зарубежных фольклористов к сравнительно-историческому изучению горняцкого фольклора народов мира, а также многонационального фольклора горняков Советского Союза.

Л. Г. Барар

НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

Lidio Cipriani. *The Andaman Islanders*. Edited and translated by D. Tayler Cox. assisted by Linda Cole. London, 1966, XII+159 pp.

Итальянец Лидио Чиприани, профессор антропологии Флорентийского университета, в 1952—1954 гг. вел полевые исследования на Андаманском архипелаге; он был в поле около двух лет, изучая две этнические группы андаманцев: ариото и онге. К третьей, джарава, ему попасть не удалось. Об ариото, жителях Северного и Южного Андамана, он сообщает лишь краткие сведения — их осталось всего 23 человека, к тому же о них написано несколько монографий (Мэн, Темпл, Портмэн, Рэдклиф-Браун). Основное внимание в книге он уделяет жителям Малого Андамана, онге. На этом острове до недавних пор не было пришлого населения, а когда оно появилось, то не вышло за пределы прибрежных участков. Внутренние районы остались во владении онге, примитивных охотников, рыболовов и собирателей, слабо затронутых внешними влияниями. О них известно очень мало, и численность их оценивают по-разному (от 200 до 600 чел.)¹. Книга Лидио Чиприани — первая большая работа об этом племени.

На фоне почти полного отсутствия сведений об онге появление книги, посвященной им, могло стать большим событием. К сожалению, этого не произошло. Причин тому было несколько. Это, во-первых, несовершенство методов полевой работы Чиприани, на что указывал, в частности, С. С. Сархар в статье «Численность онге и их поселения»²; во-вторых, его тенденциозная попытка отнестись онге к эпохе палеолита; в-третьих, тот факт, что автор, умерший в 1962 г., не успел довести работу над рукописью до конца, и она в весьма сыром виде была переведена с итальянского на английский. К этому можно добавить, что рукопись невнимательно отредактирована и небрежно издана (первая глава, например, кончается на полуслове).

Книга состоит из краткого введения редактора, столь же краткого предисловия автора и семи глав: «Население островов», «Безмолвные джунгли», «Духи джунглей», «Экскурс в доисторию», «Урожай меда», «Пища моря», «Единство негритосов».

Посвятив несколько лет изучению негритосов Африки и Азии, Чиприани пришел к выводу, что в далеком прошлом негритосы заселяли большие области, а сейчас от этого древнейшего населения сохранились лишь отдельные изолированные фрагменты. Почти все эти племена (бушмены, семанги, аэта и т. д.) испытали на себе влияние соседей, что изменило их антропологический тип и культуру, и лишь андаманцы в условиях изоляции сохранили наиболее древние черты. Автор относит андаманцев по уровню развития к эпохе палеолита: по его мнению, андаманцы заселили архипелаг с очень бедной культурой, затем пять тысяч лет назад какой-то неизвестный народ со светлой кожей занес сюда более высокую цивилизацию (в частности, гончарство, свиноводство), но он исчез, растворившись в местном населении (стр. 149), а с его исчезновением начался процесс культурной деградации андаманцев (стр. 74). Такова общая концепция автора. Что касается деталей, то здесь автор нередко противоречит самому себе, характеризуя одно и то же явление то как свидетельство сохранения примитивных черт, то как результат регресса. Так, в одном месте он пишет, что неумение добывать огонь говорит о большой древности андаманской культуры (стр. 148), а в другом — что это следствие культурного регресса (стр. 66). Редактор оставил в неприкосновенности обе противоположные версии и даже не счел нужным сделать примечание.

Нет необходимости подробно разбирать восходящую к В. Шмидту антинаучную концепцию «первичности» пигмейской культуры. Но нельзя не отметить связанных с этой концепцией попыток Чиприани примитивизировать андаманцев. По его словам, онге никогда не моются, кожа у них не боится лесных колючек, выступающий на их коже пот обладает свойством отгонять местных клещей, зубами они перегрызают гвозди толщиной до двух миллиметров, средняя температура их тела около 38°, подобно детям они

¹ См. Б. Я. Волчок, Онге Андаманских островов, «Сов. этнография», 1965, № 3, стр. 99—109.

² «Anthropos», Bd. 55, 1960, Hft. 3—4, S. 561—563.

находят удовольствие лишь в удовлетворении элементарных стимулов, все они имеют гомосексуальные тенденции и т. д. и т. п. Что касается хозяйства и культуры онге, то, по утверждениям Чиприани, у них нет никакой экономической системы, никаких форм обмена, нет никакого представления о власти, нет изобразительного искусства, нет легенд и преданий, нет пищевых и прочих запретов, нет обрядов, связанных с рождением и вступлением в брак, нет обрядов инициации, нет культа, молитв, жертвоприношений, они не умеют считать, у них нет понятий для выражения времени и пространства. Все эти негативные утверждения не могут не вызвать недоверия.

Что побудило английского издателя выпустить в свет столь несовершенную книгу? Уж не утверждение ли Чиприани, что в вымирании андаманцев виновны не столько английские колонизаторы (роль европейцев в этом процессе была, по его мнению, «сильно преувеличена», стр. 64), сколько сами андаманцы. Они будто бы вымирают в силу биологических причин, потому что тысячелетиями живут в изоляции, разбитые на маленькие эндогамные группы, что привело к бесплодию многих брачных пар (стр. 63). Разумеется, все эти утверждения об эндогамии и бесплодии — сплошной вымысел.

Нельзя не пожалеть о том, что народ Малого Андамана все еще остается мало изученным. Рецензируемая книга лишний раз свидетельствует об этом. Ведь именно слабая изученность онге дала возможность ее автору сообщать о них столь недостоверные сведения.

Н. А. Бутинов

НАРОДЫ АФРИКИ

Henri Raulin. *La dynamique des techniques agraires en Afrique tropicale du nord*. Paris, 1967, 202 pp., XXIV pl.

Серия исследований и документов, издаваемая Институтом этнологии при Парижском университете под редакцией профессоров Леруа-Гурана и Леви-Штрасса, пополнилась книгой Анри Ролен «Развитие земледельческой техники в Северной Тропической Африке».

В начале книги автор замечает, что его исследование — всего лишь скромная попытка несколько пополнить литературу по данной теме. На самом деле работа А. Ролен представляет собой фундаментальную монографию. Целью ее является изучение основных закономерностей развития земледельческой техники в связи с пространством и временем. В этом смысле она далеко выходит за рамки описательных работ. Именно широкий авторский замысел и обусловлен выбор географической области исследования, в которой представлены не только основные природные зоны обитания человека на севере Тропической Африки, но и главнейшие природные зоны всего субконтинента, лежащего к югу от Сахары.

Зона засушливых саванн и полупустынь Сахеля вместе с умеренно увлажненной зоной Судана несомненно обнаруживают черты сходства с обширными территориями востока и юга Африки, составляя в целом единый судано-замбезийский район. В то же время саванны и влажные тропические леса гвинейской области входят в выделяемый исследователями так называемый большой гвинейский район, охватывающий всю область влажных тропических лесов Африки с ее специфическими сельскохозяйственными условиями.

Но природная среда, по мнению автора, составляет лишь одну сторону тех явлений, которые оказывают влияние на развитие земледельческой техники. А. Ролен внимательно исследует и воздействие на технику человеческой среды в целом. Сюда он относит и влияние человеческого общества как социального организма, и те факторы, которые, на его взгляд, связаны с физической природой человека. Так, он полагает, что основные типы земледелия в известной степени обуславливаются особенностями физического строения человека, так как свойственные им типы сельскохозяйственных орудий могли быть сконструированы лишь соответственно главным антропометрическим характеристикам людей, создававших эти орудия. Понятно, что рассуждения подобного рода лишены каких-либо реальных оснований. Однако наиболее важным А. Ролен считает влияние социальной среды.

Уже в первой части книги автор дает конспективный обзор развития основных политических образований и социально-религиозной организации общества в Северной Тропической Африке. Он отмечает консервативную роль клановой структуры в сохранении традиционной, в том числе и земледельческой, культуры даже у исламизированных групп населения (стр. 27).

Основываясь на анализе влияний изложенных выше факторов, А. Ролен говорит об основных типах земледелия и ведущих земледельческих орудиях. Последний раздел особенно интересен для этнографа, так как в нем содержится систематизированное описание земледельческих орудий и дается очерк их распространения соответствен-

географическим условиям, с которыми, по мнению автора, также связано появление определенных рабочих функций орудий.

Автор выделяет две главных категории земледельческих орудий, предназначенных для обработки земли, — мотыги и орудия прополочного типа.

Особенности развития земледельческой техники в различных природных зонах Северной Тропической Африки исследуются во второй части работы, где автор приходит к выводу, что традиционные земледельческие орудия, господствующий способ обработки земли и общий уклад земледельческой жизни тесно связаны с этнографическими особенностями той или иной этнической группы (стр. 106).

А. Ролен иллюстрирует свою мысль многочисленными примерами, почерпнутыми преимущественно из истории африканского земледелия со времени европейской колонизации.

Специальную часть работы составляет рассмотрение процессов изменения земледельческой техники. Указывая на значительное консервирующее влияние традиционного разделения труда по полу и возрасту, автор высказывает мнение, что изменения в сельскохозяйственной технике зависят от демографических и экономических условий лишь в той мере, в которой они вызываются элементарными материальными потребностями общества (стр. 138).

Важную проблему происхождения и истории распространения земледельческой техники в странах Африки А. Ролен решает на материалах наиболее развитой сахельской сельскохозяйственной зоны Северной Тропической Африки. А. Ролен опровергает мифические представления о заимствовании из Европы прополочного орудия типа «илер». Он связывает его появление со спецификой природных условий южной окраины Сахары и развитием земледелия кочевников (стр. 156).

Вопросы развития земледельческой техники имеют особое значение в настоящее время в связи с предполагаемым значительным ростом населения Северной Тропической Африки — на 59—83% за двадцать лет, к 1985 г. (согласно приведенным А. Роленом данным по трем странам — Сенегалу, Нигеру и Чаду). Но сколько-нибудь значительное развитие земледельческой техники и земледелия в данной области представляется А. Ролену проблематичным. Он подчеркивает глубокую специфичность экономического развития этих стран, поскольку протекающие там этнические и исторические процессы крайне своеобразны. Вообще, отмечает А. Ролен, условия, сложившиеся в странах Северной Тропической Африки, мало благоприятны для развития земледельческой техники. Но, может быть, спрашивает он, залогом прогресса будут те внутренние силы, которые освободились в этих странах после завоевания независимости? Во всяком случае, заключает он, решение задачи надо искать на этом пути.

В целом следует сказать, что книга А. Ролена, несмотря на наличие ряда спорных положений, привлекает читателя ценным фактическим материалом и широтой постановки проблемы.

Л. А. Фадеев

НАРОДЫ АМЕРИКИ

Культура и быт народов Америки. Сборник Музея антропологии и этнографии, вып. XXIV, Л., 1967, 308 стр.

Очередной сборник работ ленинградских этнографов и антропологов посвящен памяти Ильи Гавриловича Вознесенского и подготовлен к 150-летию со дня его рождения.

В истории отечественной науки И. Г. Вознесенский (1816—1871) занимает особое место. Выходец из трудовой среды, получивший лишь самое элементарное образование, он не имел степеней и званий и не принадлежал к касте официальных ученых. И тем не менее этот одаренный самородок смог, благодаря своим незаурядным способностям и трудолюбию, оказать русской науке услуги, ничуть не меньшие, нежели иной дипломированный ученый муж. Находясь в 1840—1845 гг. в Русской Америке, этот скромный preparator Зоологического музея сумел собрать там ценнейшие этнографические материалы. Предметы, доставленные в Россию И. Г. Вознесенским, составили одну из важнейших частей той уникальной коллекции по этнографии народов Северной Америки, которой располагает и по праву гордится Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР.

Выход в свет сборника, посвященного памяти И. Г. Вознесенского, следует приветствовать вдвойне: и как дань уважения неугомимому труженику отечественной науки, и как первую широкую публикацию работ, хотя бы частично раскрывающих богатейшие фонды МАЭ в области этнографии Америки. Нельзя не отметить, что семь статей рецензируемого сборника (из одиннадцати) полностью или частично основаны на изучении коллекций, собранных самим И. Г. Вознесенским. Вместе с тем почти каждая из представленных здесь статей продолжает и развивает многолетнюю исследовательскую работу их авторов в той или иной области американистики.

Сборник открывается большой историко-этнографической статьей Р. Г. Ляпуновой «Экспедиция И. Г. Вознесенского и ее значение для этнографии Русской Америки» (стр. 5—33), построенной на большом архивном материале. Содержание работы, несомненно, шире заглавия: знакомая читателя с основными этапами малозученных до сих пор жизненного пути и научно-экспедиционной деятельности Вознесенского, Р. Г. Ляпунова дает вместе с тем как бы введение в историю русской этнографии Северной Америки. Другая статья Р. Г. Ляпуновой — «Зооморфная скульптура алеутов» (стр. 38—54) — построена на сопоставлении экспонатов алеутской коллекции МАЭ с опубликованными материалами зарубежных коллекций и служит удачным продолжением ранее опубликованных статей того же автора, посвященных изучению самобытной и ныне почти исчезнувшей культуры алеутов.

Большая, тщательно выполненная статья Э. В. Зиберт (стр. 55—84) переносит нас с островов на континент: в ней дано обстоятельное описание коллекций первой половины XIX в. по северным атапаскам. К этой работе примыкает статья И. П. Труфанова «Кенайские томагавки из этнографической коллекции И. Г. Вознесенского» (стр. 85—92), освещающая частный, но весьма интересный вопрос истории материальной культуры тех же атапаскских племен. Следует только отметить, что автор допускает ошибку, называя описываемый им вид оружия томагавком¹.

На широком материале, почерпнутом из сборов как И. Г. Вознесенского, так и других отечественных путешественников и ученых — от И. И. Билингса (1791 г.) до Ю. П. Аверкиевой (1930-е годы) — основана статья Р. С. Разумовской «Плетеные изделия северо-западных индейцев» (стр. 93—123), где большое внимание уделяется освещению вопросов техники и технологии ремесленного производства, что нельзя не поставить автору в заслугу.

Самый северный «край» освещаемого на страницах сборника этногеографического ареала представлен небольшим сообщением Д. А. Сергеева «Железные резцы из сборов И. Г. Вознесенского» (стр. 34—37). Автор, продолжая свои работы по этнографии Берингоморья, рассматривает здесь железные резцы, приобретенные у берингоморских эскимосов И. Г. Вознесенским, справедливо видя в этих предметах одно из доказательств раннего знакомства аборигенов Арктики с железом.

П. М. Кожин выступает в сборнике с двумя работами, переноса внимание читателя в значительно более южные области — на Юго-Запад нынешней территории США. В первой из этих статей — «Плетеные сосуды индейцев Калифорнии» (стр. 124—139) — перед автором стояла задача тем более трудная и увлекательная, что документация сборов И. Г. Вознесенского, из которых в основном и составилась коллекция калифорнийских предметов МАЭ, оказалась как раз в этой своей части неполной. По существу П. М. Кожину пришлось восстанавливать атрибуцию предметов определенным племенам спустя 125 лет после приобретения этих предметов. И, надо сказать, задача эта была выполнена исследователем с успехом. Другая работа П. М. Кожина представляет собою описание хранящихся в МАЭ образцов керамики индейцев пуэбло (стр. 140—146) — образцы эти в свое время были получены музеем от зарубежных этнографов в качестве дара. Отсюда, что автор твердо стоит на позициях сторонников теории конвергентности и не поддался соблазну истолковывать черты сходства указанных предметов с аналогичными памятниками материальной культуры народов Старого Света с позиций диффузионизма.

Большое место в рецензируемом сборнике заняли работы, посвященные антропологии и этнографии аборигенного населения Кубы: статья Т. А. Поповой и Э. Е. Фрадкина «Древние культуры Кубы» (стр. 147—179) и капитальное исследование проф. В. В. Гинзбурга «Антропологическая характеристика древних аборигенов Кубы» (стр. 180—278). Появление этих работ в нашей научной прессе — прямой результат тесных творческих контактов, установившихся после победы кубинской революции между советскими учеными и их коллегами с острова Свободы. В области антропологии и этнографии контакты эти выразились, в частности, в научных командировках ряда советских специалистов на Кубу и в передаче кубинскими учеными в дар Музею антропологии и этнографии небольшой, но весьма ценной археологической коллекции. Еще недавно изучение древнейшего прошлого Кубы было монополией узкого круга буржуазных исследователей (главным образом ученых США), а ученым-марксистам приходилось знакомиться с археологическими и этнографическими источниками по ранней истории Кубы лишь опосредствованно (и притом в интерпретации, отнюдь не всегда объективной). Ныне не только перед молодой, успешно овладевающей марксистской методологией этнографической и антропологической наукой Кубы, но и перед советскими учеными открылась возможность непосредственного изучения древних культур Кубы на подлинных памятниках.

Упомянутые выше статьи и являют собой начало, и притом далеко не безуспешное, такого изучения. Следует отметить, в частности, что Т. А. Попова и Э. Е. Фрадкин, не ограничиваясь описанием кубинской коллекции МАЭ, сопоставляют некоторые из ее экспонатов с предметами, хранящимися в других коллекциях музея и происходящими из иных частей света (стр. 159).

Работа В. В. Гинзбурга — детальное исследование в области краниологии аборигенов Кубы, где результаты, добытые во время научной командировки автора на остров,

¹ Ср.: Н. L. Peterson, *American Indian Tomahawks*, [New York], 1965.

обобщены вместе с данными, полученными при анализе черепов из других стран Западного полушария. Краниометрические принципы, разработанные Г. Ф. Дебецем и давно взятые на вооружение советскими антропологами, впервые применены здесь к кубинскому материалу. Детальная оценка работы, проделанной В. В. Гинзбургом, — дело будущего, поскольку его измерения (кстати говоря, сведенные в несколько больших, тщательно выполненных таблиц) и весьма интересные выводы, несомненно, послужат одним из исходных моментов для дальнейших, более широких обобщений в области антропологии и этногенеза аборигенного населения Нового Света в целом.

На заключительных страницах сборника внимание читателя достигает самой южной точки представленного в книге ареала — о. Ямайки. Этой земле, совсем недавно завоевавший независимость, долго не везло в нашей исторической и, в частности, этнографической литературе. Помещенная в рецензируемом издании статья А. Д. Дридзе «Маруны Ямайки во второй половине XVIII в.» (стр. 279—306) освещает одно из самых темных пятен в этнической истории острова — проблему марунов, т. е. беглых рабов-негров, на протяжении многих десятилетий мужественно отстаивавших свое право на свободное существование. Автору, располагавшему крайне скудными, отрывочными и зачастую противоречивыми данными документальных и мемуарных источников, удалось нарисовать весьма убедительную картину социальной организации, культуры и быта марунов в период сравнительно мирного «сосуществования» этой этнографической группы с колонизаторами (1738—1795 гг.). Статья А. Д. Дридзе, однако, лишь раздел большого исследования по социально-политической и этнической истории марунов (ср. стр. 279), и нельзя не пожелать, чтобы исследование это было опубликовано полностью.

В заключение — несколько общих соображений по сборнику в целом. Все работы, в нем представленные, отличаются стройностью аргументации, четкостью выводов, простотой и ясностью языка. Здесь, несомненно, сказалось не только научно-литературное мастерство авторов, но и должное качество редактуры. Хорошо выполнены (А. С. Филтеевым) многочисленные рисунки, а также картосхемы.

В то же время хотелось бы, чтобы по возможности в каждой статье, пусть посвященной самому узкому, частному вопросу, пусть чисто «вещеведческой», намечалась связь рассматриваемой частности с более общими, широкими проблемами (скажем, расоведения или этногенеза, этнической географии или истории культуры, и т. п.) — так, как это сделано, например, в статьях П. М. Кожина, В. В. Гинзбурга, Р. С. Разумовской и некоторых других авторов. Хотелось бы также видеть сборник свободным от мелких, но досадных шероховатостей. В частности, то, что названо в книге «Введением» (стр. 3—4) — не что иное, как предисловие. Малообоснованно, на наш взгляд, противопоставление предметов из этнографических сборов «древним образцам» (стр. 140); вряд ли следует считать удачным выражение «древние аборигены» (стр. 180 и сл.). Кое-где наблюдаются отступления от общепринятой транскрипции географических названий и личных имен — вместо правильного «Нуньес» читаем «Нуннес» (стр. 147, 181), вместо «Орьенте» — «Ориенте» (стр. 147—150, 153—154, 157 и сл.), вместо «Тринидад» — «Тринидат» (стр. 178).

И, наконец, пожелание на будущее. Американские коллекции Музея антропологии и этнографии Академии наук СССР поистине уникальны (истертый за последние годы этот эпитет в данном случае как раз не заключает в себе ни малейшего риторического преувеличения), они пользуются заслуженно высокой репутацией среди ученых всего мира. И у ленинградских этнографов — хранителей этих бесценных сокровищ — имеются широкие возможности продолжать на базе столь богатых коллекций успешные исследования в области американистики, охватывая все новые и новые географические регионы и этнические общности Западного полушария. Есть, таким образом, все основания надеяться, что в недалеком будущем появятся новые интересные научные сборники, посвященные раскрытию и анализу американских фондов музеев.

В. Л. Афанасьев



ГЕОРГИЙ ФРАНЦЕВИЧ ДЕБЕЦ

19 января 1969 г. после непродолжительной тяжелой болезни скончался выдающийся советский антрополог, доктор биологических наук, профессор Георгий Францевич Дебеч. Безвременно ушел большой ученый, замечательный товарищ, человек высокой принципиальности и редкого обаяния.

Георгий Францевич Дебеч родился 7 декабря 1905 г. в Томске в семье учителя. Шестнадцать лет он поступил в Иркутский университет и двадцати лет блестяще окончил его по специальности археология. Уже в студенческие годы Георгий Францевич наряду с археологией стал серьезно заниматься краниологией, пытаясь воссоздать историю различных народов. Этой теме он остался верен и всю свою последующую жизнь.

В 1927 г. Георгий Францевич поступил в аспирантуру Института антропологии при Московском государственном университете. Его талантливость проявлялась во всем, чем он занимался, и очень скоро он стал одним из ведущих научных сотрудников Института антропологии. В 1932 г. Георгию Францевичу было присуждено звание старшего научного сотрудника, а в тридцать шесть лет, в 1941 г., он защитил докторскую диссертацию на тему «Палеоантропология СССР». В 1944 г. Г. Ф. Дебеч был утвержден в звании профессора.

Жизнь Георгия Францевича — непрерывный подвиг, который он совершал легко и естественно как истинный ученый, безраздельно преданный науке. О Г. Ф. Дебече мало сказать, что он «принимал участие» в тех или иных исследованиях. Он создавал целые направления в антропологической науке, бескорыстно отдавая ей каждый день своей жизни.

Г. Ф. Дебеч начал свою исследовательскую деятельность со сбора и систематизации краниологических материалов. Не довольствуясь случайными сборами краниологических коллекций, характерными для периода до 1930-х годов. Георгий Францевич развил самую энергичную деятельность по получению костного материала из археологических раскопок; буквально уже через несколько лет эта отрасль антропологии превратилась в одно из самых мощных и результативных направлений антропологических исследований. Практически за десятилетие (с 1930 по 1941 год) он выполнил титанический труд по организации экспедиций, сбору, систематизации и обработке уже имеющегося краниологического музейного материала, представив итоги этой работы в книге «Палеоантропология СССР». Эта сводка гигантского материала с территории нашей страны представляет единственную в своем роде книгу, сочетающую биологический подход к костному материалу с использованием широкого исторического фона. Благодаря этой особенности «Палеоантропология СССР» сразу же стала и до сих пор является необходимым источником не только для антропологов, но и для археологов и вообще для историков ранних периодов истории общества.

Г. Ф. Дебечу принадлежит выдающаяся роль в разработке принципов использования антропологического материала как исторического источника и одна из главных, если не основная, роль в практическом применении этой концепции, в особенности для освещения сложных комплексных проблем этногенеза и ранней этнической истории. Георгий Францевич был человеком огромной эрудиции. Он одинаково свободно владел фактическим материалом не только по антропологии, но также по археологии и многим разделам этнографии. Эти знания Георгий Францевич широко использовал при решении этногенетических проблем. Он был выдающимся знатоком национального состава не только народов Советского Союза, но и мира в целом, и его уровень знаний в этой области поражал даже самых выдающихся специалистов.

Не будет преувеличением сказать, что изучение расового состава всех современных народов Советского Союза неотделимо от имени Г. Ф. Дебеца. В мировой научной практике нет другого человека, который собственными силами обследовал бы несколько десятков тысяч человек. Это был колоссальный и в полном смысле слова самоотверженный труд в течение более чем тридцати лет. Иногда Георгий Францевич по нескольку лет работал в поле, не возвращаясь в Москву. Именно благодаря этим работам изученность антропологического состава народов СССР ныне является эталоном для других стран мира. Помимо публикаций, основанных на результатах его обширных исследований, в архивах центральных антропологических учреждений остались ценнейшие коллекции материалов по ископаемому и современному населению, собранных Г. Ф. Дебецом; эти материалы еще долго будут служить науке как безупречный в методическом отношении источник.

Г. Ф. Дебец использовал метод быстрой и насыщенной антропологической съемки, когда за относительно короткий промежуток времени обследовались антропологические группы обширных районов или даже целых республик. Он работал у народов Европейской части СССР (русских, татар, мордвы, коми, эстонцев, латышей, литовцев и многих других), Камчатки, Чукотки, Западной Сибири и Забайкалья, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, республик Закавказья и Северного Кавказа. Часто в очень трудных условиях, особенно на Крайнем Севере и в Сибири, он работал один. Можно без преувеличения сказать, что все антропологические материалы, собранные Дебецом, полностью сохраняют свое значение и в наши дни и надолго останутся образцовыми. Это связано не только с высшим уровнем квалификации Дебеца — антропометриста, но и с единственным в своем роде масштабом определения описательных признаков, которым обладал Дебец, исследуя самые разные в расово-морфологическом отношении этнические группы.

Результаты исследований опубликованы Георгием Францевичем во многих статьях, в книге «Антропологические исследования в Камчатской области», в трудах Киргизской и других экспедиций. Последней по времени научной экспедицией Г. Ф. Дебеца по изучению расового состава народов была работа в Афганистане по приглашению Кабульского университета. Начиная с 1964 г., уже немолодым человеком, Г. Ф. Дебец один провел колоссальные по объему (около 9000 человек), исследования среди всех этнографических групп Афганистана. На машине, верхом и пешком он побывал у всех народностей Афганистана, часто там, где до него не было ни одного антрополога и этнографа, и один собрал первоклассный материал по 86 группам населения; в результате этого Афганистан на долгие годы останется одной из стран мира, наиболее полно обследованной в отношении расового состава своего населения. Опубликованный в очень сжатой форме в шести выпусках (брошюрах), этот фактический материал, обработанный автором, послужит необходимой основой для расоведческих работ будущих исследователей.

Характерная черта антропологических работ Г. Ф. Дебеца — особая тщательность обработки материала, которую он по преимуществу выполнял сам, чувство ответственности за каждую представленную цифру. В этом отношении его труды могут считаться непревзойденным образцом. Как правило, Г. Ф. Дебец выбирал скромные названия для своих работ, но во всех без исключения случаях содержание их было гораздо шире. Например, «Антропологические исследования в Камчатской области» содержат детальные материалы по современному и ископаемому населению практически всей Северной Азии, а также по многим этническим группам америндов — эскимосов, алеутов и индейцев Северной Америки и не механически перенесенные из литературных источников, а с контролем каждой цифры. Помимо огромного фактического материала, здесь изложена прекрасно аргументированная классификация антропологических типов Сибири. Эта книга уже около двадцати лет служит и будет еще долго служить и справочником, и образцом методически ясно решенных задач.

Занимаясь в течение нескольких десятилетий антропологическими исследованиями, Г. Ф. Дебец не мог не уделить внимания разработке методических вопросов. Ему вместе с А. И. Ярхо принадлежит разработка системы значимости признаков для расового анализа. Г. Ф. Дебец в программу краниологических исследований определения горизонтальной профилировки лица и степени уплощения области переносья, что вошло в программу исследований не только советских, но и зарубежных антропологов. Он разработал способ сопоставления краниологических данных с соматологическими, предложил метод получения характеристик по суммарным (по полу) материалам малочисленных краниологических серий.

Георгий Францевич обладал редкой работоспособностью. Та работа, которая, казалось, была по плечу лишь целому коллективу ученых, часто успешно выполнялась им одним. И всегда по отношению к «своей» работе у него присутствовал критерий «полезности для всех». Он охотно делился всеми имеющимися у него материалами. Многие методическими приемами, таблицами-сводками антропологических материалов по всему земному шару, требовавшими для своего выполнения огромного труда, задолго до их опубликования автором мог пользоваться любой антрополог. Одной из последних тем методического характера, разрабатывавшихся Георгием Францевичем, было установление веса и роста по ископаемым материалам, определение истинных величин частей скелета по отдельным костям и даже фрагментам костей, что наиболее часто встречается при археологических раскопках. Г. Ф. Дебец всегда стремился к наибольшей

степени объективизации антропологических материалов. Поэтому он так широко использовал графики, карты. Во всех своих выводах Г. Ф. Дебеч всегда опирался на цифры, а не на впечатления. Для его работ характерен лаконичный, строгий стиль, с максимальной простотой и ясностью изложения.

Георгию Францевичу принадлежит и широко известная классификация человеческих рас, вошедшая во многие энциклопедические и специальные статьи. Всегда стремясь к наибольшей конкретности и наглядности, он дал графическое изображение генеалогических взаимоотношений рас человека, что во многом способствовало популяризации основных идей советского расоведения.

Ученый антрополог самого широкого профиля, Г. Ф. Дебеч коснулся своим талантом и многих тем, лежащих в области антропогенеза и популяционной генетики. Ему принадлежит исследование костных остатков неандертальского ребенка из пещеры Тешик-Таш. Последующий анализ этой находки не добавил ничего принципиально нового к сказанному Дебечем. Однако сам Георгий Францевич неоднократно возвращается к этой находке, в частности в связи с вопросом о систематическом положении тешикташского черепа по отношению к двум морфологическим типам западноевропейских неандертальцев.

Георгий Францевич полагал, что неандертальцы являются представителями рода питекантропов; это и нашло отражение в предложенной им оригинальной классификации ископаемых гоминид. Она тесно переплетается с его взглядами на прародину человечества, на место в эволюции древнейших предков человека новых находок, сделанных Л. Лики в Восточной Африке. Г. Ф. Дебеч своими работами серьезно укрепил теорию центральноазиатской прародины человечества и вместе с тем одним из первых высказался в пользу синхронности орудий труда и костных остатков, найденных в ущелье Олдовай в Африке. Не занимаясь специально узко-антропогенетическими проблемами, Георгий Францевич прекрасно знал весь фактический материал, накопленный мировой наукой, и широко им пользовался при обосновании преемственности расовых типов древних и современных людей.

Еще в довоенные годы Г. Ф. Дебеч организовал несколько экспедиций, ставивших целью изучение распределения генных частот (на примере групп крови, аномалий цветного зрения). Война и послевоенная реорганизация Института антропологии помешали продолжить исследования этого рода, но Георгий Францевич энергично поддерживал развитие исследований этого направления, возобновленных в последнее десятилетие в отделе антропологии Института этнографии АН СССР.

Роль Г. Ф. Дебеча в формировании молодых ученых-антропологов чрезвычайно велика. Его энтузиазм, живой интерес ко всему, чем занимались его молодые коллеги, необычайно широкая эрудиция давно сделали мнение Георгия Францевича самым авторитетным во всем, что касалось изучения народов Советского Союза. Щедрое отношение к материалу и его постоянная готовность дать совет помогли многим начинающим антропологам, которые теперь уже работают самостоятельно в разных антропологических точках Советского Союза и за рубежом. Г. Ф. Дебеч по преимуществу занимался исследовательской работой, но неоднократно читал курсы по разным разделам антропологии на Биолого-точечном факультете Московского государственного университета.

Г. Ф. Дебеч пользовался мировой известностью и огромным авторитетом среди ученых всего мира. С 1956 г., точнее с V Международного конгресса антропологов и этнографов в Филадельфии, он непрерывный участник всех последующих конгрессов, включая и Конгресс в Токио в 1968 г. На VI Конгрессе в 1960 г. в Париже ему был поручен один из двух пленарных докладов. Доклад этот был посвящен проблеме эпохальных изменений расовых признаков, над которой Г. Ф. Дебеч работал много лет. Ему удалось, в частности, на огромном краниологическом материале доказать, что во многих популяциях развертывался в различные исторические эпохи процесс грацилизации. На этом же Конгрессе Г. Ф. Дебеч был избран Генеральным секретарем следующего, VII МКАЭН, который проходил в Москве в 1964 г. Георгий Францевич провел колоссальную организационную работу, и в том, что, по единодушному мнению зарубежных ученых, Московский конгресс по научному уровню и своей организации был наилучшим из послевоенных Конгрессов — огромная доля труда и таланта Г. Ф. Дебеча.

Его имя было хорошо известно в самых широких научных кругах. Еще в конце 1950-х годов Георгий Францевич по приглашению американских антропологов выезжал в США для изучения Ипиутакских краниологических и остеологических материалов, добытых при раскопках древних могильников на Аляске. Он принимал участие в работе конференции по проблемам арктической археологии в Дании в 1958 г., а в 1962 г. был приглашен участвовать в работе Конгресса раннеисторических эпох в Риме.

Г. Ф. Дебеч был одним из руководителей симпозиума ЮНЕСКО по биологическим аспектам расовой проблемы, созванного в августе 1964 г. в Москве. Георгий Францевич приложил много усилий для выработки текста Декларации о расах, впоследствии утвержденной на сессии ЮНЕСКО в Париже, в которой он принимал непосредственное участие.

С 1960 по 1968 гг. Г. Ф. Дебеч был генеральным секретарем Международных конгрессов антропологических и этнографических наук, членом-корреспондентом Парижского антропологического общества, почетным членом Греческого антропологического обще-

ства и с 1968 г. — вице-президентом Международного Союза антропологических и этнографических наук.

Работая в той области антропологической науки, которая всего ближе сопрягается с этнографией, по этнической антропологии, Георгий Францевич был широко эрудирован и в собственно этнографических проблемах. Тесная связь антропологии и этнографии — традиция «аучинской школы», воспитавшей Г. Ф. Дебеца.

Георгий Францевич не оставил специально этнографических сочинений, но в его обширном научном наследии почти нет работ, где он не касался бы так или иначе этнографических проблем.

Обширную свою этнографическую эрудицию Г. Ф. Дебеч приобрел частью в своих непрерывных научных поездках, частью из литературы. Его осведомленность в этнографии любой части света была поразительной. С ним можно было говорить о каком угодно этнографическом вопросе, и он всегда был на высоте его понимания, всегда умел высказать обоснованное, порой оригинальное суждение. Он хорошо разбирался в этнической структуре изучаемых им групп населения, в языковых и культурных взаимоотношениях, — будь то Закавказье, Средняя Азия или Дальневосточный Север. Достаточно привести два примера.

В сложной проблеме этногенеза киргизского народа очень важный источник составляет запутанная родо-племенная структура киргиз, резко выделяющая их из числа других народов Средней Азии. Но современное население Киргизии само уже плохо помнит свои старые родо-племенные деления. И Георгий Францевич, досконально их изучив, сам объяснял молодым киргизам взаимоотношения между их родовыми группами, и они приходили к нему за разъяснениями. Составленная Г. Ф. Дебечем схема родо-племенных делений киргиз помещена в книге С. А. Токарева «Этнография народов СССР».

Другой, самый свежий пример. В своих научных поездках по Афганистану Георгий Францевич сумел с поразительной точностью разобраться в сложном этническом и национальном составе населения этой страны. А ведь вряд ли найдется другое государство на земле, где этнический состав населения был столь запутанным, где процесс национальной консолидации протекал в столь сложных формах. Г. Ф. Дебеч сумел нарисовать ясную картину этнической структуры населения Афганистана, включив в нее сжатые и самые существенные данные о каждой этнической группе, — язык, расселение, религию, культурный облик, самосознание, связь с другими группами. Все это изложено в его последней работе «Антропологические исследования в Афганистане».

Можно было бы назвать и ряд других примеров ценного вклада Г. Ф. Дебеца в этнографическую науку: от составленных им этнографических карт Америки — до разработки нового графического метода изображения статистических данных о межнациональных браках. Но всего не перечислишь.

Широта научного кругозора Г. Ф. Дебеца — одно из тех ценнейших свойств покойного ученого, которые будут особенно помнить всеми знавшими его и которые должны служить примером для подражания молодому поколению. К нему ходили консультироваться все. И потому, что он много знал, и потому, что он, как все истинно талантливые люди, щедро делился своими идеями, и потому, что он заражал окружающих страстной любовью к науке.

Больно сознавать, что Георгия Францевича больше нет. Утрата его невосполнима. Нам остались его фундаментальные труды. Осталось воспоминание о замечательном человеке, показавшем пример бескомпромиссного служения науке, подлинного благородства, доброжелательства и скромности.

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ Г. Ф. ДЕБЕЦА

Итоги и задачи доисторической археологии в Западном Забайкалье. «Жизнь Будрятии», 1926, № 4—6 и 7—9.

Черепя из финских могильников (по коллекции Антропологического отдела МАЭ). «Сборник МАЭ», т. VIII, Л., 1929.

Краниологический очерк танну-тувинцев. «Сев. Азия», 1929, № 5—6 (29—30).

Черепи кочевников. З розкопів В. О. Городцова в Озюмському та Бахмутському повітах. «Антропологія», т. III, Київ, 1929.

Опыт выделения культурных комплексов в неолите Прибайкалья. «Изв. ассоциации научно-исследовательских институтов при 1-м МГУ», 1930, т. III, № 2А.

Антропологический состав населения Прибайкалья в эпоху позднего неолита. «Русский Антропологический журнал», 1930, т. 19, № 1—2.

Черепи з верхне-салтівського могильника. «Антропологія», т. IV, Київ, 1931.

Еще раз о белокурой расе в Центральной Азии. «Сов. Азия», 1931, № 5—6.

Турко-финские взаимоотношения в Поволжье по данным палеоантропологии. «Антропологический журнал», 1932, № 1.

Расовые типы населения Минусинского края в эпоху родового строя. «Антропологический журнал», 1932, № 2.

Чарапы Люцькага магіліку і старацных славян Беларусі. Ун-т Історыі АН БССР, «Працы сэкцыі археалогіі», т. III, Менск, 1932.

- Так называемый восточный великорусс. «Антропологический журнал», 1933, № 1—2.
- К вопросу о балтийском типе. «Антропологический журнал», 1933, № 3.
- «Неприветливые» и «радушные» (По поводу книги Д. А. Золотарева «Карелы СССР»). «Антропологический журнал», 1933, № 1—2.
- Антропологическое изучение Советского Севера. «Сов. Север», 1934, № 6.
- К антропологии древних культур Передней Азии и Эгейского мира. «Антропологический журнал», 1934, № 1—2.
- К характеристике остеологических особенностей южносибирской расы. «Антропологический журнал», 1934, № 3.
- Ульчи. «Антропологический журнал», 1935, № 1.
- Материалы для палеоантропологии СССР (Нижнее Поволжье). «Антропологический журнал», 1936, № 1.
- Тарденуазский костяк из навеса Фатма — Коба в Крыму. «Антропологический журнал», 1936, № 2.
- Брюни-Пшедмост, Кро-Маньон и современные расы Европы. «Антропологический журнал», 1936, № 3.
- Расы языки, культуры. Сб. «Наука о расах и расизм». «Труды Ин-та антропологии МГУ», вып. IV, М., 1938.
- Об антропологических особенностях скелета человека из Тешик-Ташской пещеры. «Труды Узбекского филиала АН СССР по истории и археологии», серия I, вып. I, Ташкент, 1940.
- Вепсы. «Уч. зап. МГУ», вып. 63, 1941.
- Антропологический очерк б. Лукояновского уезда. Там же.
- Антропологические исследования на Петровских озерах. «Кр. сообщения о научных работах Ин-та и Музея антропологии», М., 1941.
- Проблема заселения северо-западной Сибири по данным палеоантропологии. «КСИИМК», вып. 9, М.—Л., 1941.
- Фрагменты лобной кости человека из культурного слоя стоянки «Афонтова Гора II» под Красноярском. «Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода», 1946, № 8.
- О положении палеолитического ребенка из пещеры Тешик-Таш в системе ископаемых форм человека. М., 1947.
- Селькупы. Антропологический очерк. ТИЭ АН СССР, т. II, М.—Л., 1947.
- О древней границе европеоидов и американоидов в Южной Сибири. «Сов. этнография», 1947, № 1.
- Данные антропологии о происхождении туркмен. «Сов. этнография», т. 6—7, 1947.
- Палеоантропология СССР, ТИЭ АН СССР, т. IV, М.—Л., 1948.
- О систематике и номенклатуре ископаемых форм человека. КСИИМК, вып. XXIII, М.—Л., 1948.
- Антропологические исследования аларских бурят. КСИЭ АН СССР, вып. IV, М.—Л., 1948.
- Население средневековых городов Крыма. «Сборник МАЭ», т. XII, М.—Л., 1949.
- К палеоантропологии Тувы. КСИЭ АН СССР, вып. X, М.—Л., 1950.
- Заселение Южной и Передней Азии по данным антропологии. ТИЭ АН СССР, т. XVI, М., 1951.
- Антропологические данные о заселении Африки. Там же.
- Проблемы заселения Европы по антропологическим данным. Там же (в соавторстве с Т. А. Трофимовой и И. Н. Чебэксаровым).
- Происхождение коренного населения Америки. Там же.
- Антропологические исследования в Камчатской области. ТИЭ АН СССР, т. XVII, М., 1951.
- Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза. «Сов. этнография», 1952, № 1 (в соавторстве с М. Г. Левиным и Т. А. Трофимовой).
- Территория СССР и проблема родины человека. КСИЭ АН СССР, вып. XVII, М., 1952.
- Череп человека из плиточной могилы в Херексурин-Ури (Забайкалье). «Записки Бурят-Монгольского НИИ культуры», т. 16, Улан-Удэ, 1952.
- Палеоантропологические материалы из погребений срубной культуры Среднего Поволжья. МИА СССР, № 42, М., 1954.
- Палеоантропологические находки в Костенках. «Сов. этнография», 1955, № 1.
- Череп из эпипалеолитического могильника у с. Волошского. «Сов. этнография», 1955, № 3.
- О принципах классификации человеческих рас (по поводу статьи В. В. Бунака «Человеческие расы и пути их образования»). «Сов. этнография», 1956, № 4.
- Древний череп из Якутии. КСИЭ АН СССР, вып. XXV, М., 1956.
- Проблема происхождения киргизского народа в свете антропологических данных. «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», т. I, М., 1956.
- Антропологические типы населения СССР и проблемы этногенеза. В кн. «Этнографическое совещание 1956 г.», М.—Л., 1956.
- Антропологические исследования в Дагестане. ТИЭ АН СССР, т. XXXIII, М., 1956.
- Некоторые проблемы происхождения киргизов в свете работ Киргизской археолого-этнографической экспедиции. КСИЭ АН СССР, вып. XXVI, М., 1957.

5-й Международный конгресс этнографов и антропологов. «Сов. этнография», 1957, № 1 (в соавторстве с Д. А. Ольдерогге и И. И. Потехиным).

Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас. «Сов. этнография», 1958, № 4.

Методы расового анализа в работах Я. В. Чекановского и его школы. «Сов. этнография», 1959, № 3.

Антропологический состав древнего и современного населения Киргизии. «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», т. III, Фрунзе, 1959.

О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. «Доклады советской делегации на VI Международном конгрессе антропологов и этнографов», М., 1960.

Certains aspects des transformations somatiques de l'Homo sapiens, VI Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologues. Т. 1, Paris, 1960.

О путях заселения северной полосы Русской равнины и Восточной Прибалтики. «Сов. этнография», 1961, № 6.

Шестой Международный конгресс антропологов и этнографов. «Сов. этнография», 1961, № 1 (в соавторстве с М. Г. Левиным и Д. А. Ольдерогге).

О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. «Сов. этнография», 1961, № 2.

Череп из позднепалеолитического погребения в Покровском Логе (Костенки XVIII). КСИА АН СССР, вып. 82, 1961.

По поводу ответа Я. В. Чекановского. «Сов. этнография», 1962, № 4.
Paléanthropologie de l'Eurasie septentrionale. VI Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, М., 1962.

О физическом развитии и конституциональных типах древних народов СССР. «Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.», М., 1962.

Этническая антропология в работах русских антропологов конца XIX — начала XX века (Петербургская и Московская школы), ТИЭ АН СССР, т. 85, вып. II, М., 1963.

Об изучении физического развития древних народов. «Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.», М., 1964.

Об антропологическом типе древнего населения Финляндии. Сб. «Современная антропология», М., 1964.

Краниометрия. Методика антропологических исследований. М., 1964 (в соавторстве с В. П. Алексеевым).

Опыт определения веса живых людей по размерам длинных костей. Доклад на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве, М., 1964.

Новые данные о соотношении галечной индустрии австралопитековых обезьян и древнейших людей. «Сов. этнография», 1964, № 5.

Предварительные отчеты об антропологических исследованиях в Афганистане: вып. 1 — Антропологические исследования в Афганистане, М., 1965; вып. 2 — Антропологические исследования в восточных и центральных провинциях Афганистана, М., 1966; вып. 3 — Антропологические исследования в южных и западных провинциях Афганистана, М., 1966; вып. 4 — Антропологические исследования в северных, центральных и юго-восточных провинциях Афганистана, М., 1967; вып. 5 — Антропологические исследования пуштунов, парачей, индусов и брагуев, М., 1968; вып. 6 — Антропологические исследования узбеков, туркмен, хазара, таджиков, персов и белуджей, М., 1968.

О графическом изображении результатов статистического обследования межнациональных браков. «Сов. этнография», 1966, № 3 (в соавторстве с О. А. Ганцкой).

Физический тип людей днепро-донецкой культуры. «Сов. археология», 1966, № 1. Антропологические исследования в Афганистане. «Сов. этнография», 1967, № 4.

Скелет позднепалеолитического человека из погребения на Сунгирской стоянке. «Сов. археология», 1967, № 3.

Опыт краниометрического определения доли монголоидного компонента в смешанных группах населения СССР. Сб. «Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии», М., 1968.

Recherches Anthropologiques en Afghanistan. VIII Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologues (Tokio, September, М., 1968).

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. П. Аверкиева, С. А. Арутюнов, Ю. В. Бромлей (Москва). VIII Международный конгресс антропологических и этнографических наук	3
В. П. Алексеев (Москва). О первичной дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования	12
Л. Б. Заседателева (Москва). Эволюция общины у терских казаков в XVI—XIX вв. (От «вольной заимки» к частной собственности)	25
П. Г. Ширяева (Ленинград). Поэтические особенности и жанровая специфика песенного творчества русских рабочих (Дооктябрьский период)	37
Г. В. Жирнова (Москва). Русский городской свадебный обряд конца XIX — начала XX в.	48 1
Ю. В. Бромлей, М. С. Кашуба (Москва). Некоторые аспекты современных этнических процессов в Югославии	59
Т. А. Колева (София). О некоторых вопросах развития обычаев (На болгарском материале)	68
Ю. А. Мочанов (Якутск). Древнейшие этапы заселения Северо-Восточной Азии и Аляски (К вопросу о первоначальных миграциях человека в Америку)	79

Дискуссии и обсуждения

Ю. А. Савватеев (Петрозаводск). Петроглифы Карелии и наскальное искусство лесной полосы Евразии	87
В. В. Седов (Москва). Еще раз о происхождении белорусов	105

Народы мира

Информационные материалы

С. Пеертхум (Порт-Луи). Маврикий — новое независимое африканское государство	122
--	-----

Сообщения

Н. И. Каплан, В. А. Барадулин (Москва). Якутские народные художественные промыслы (По материалам экспедиции в Якутскую АССР в 1967 году)	129
Э. Е. Фрадкин (Ленинград). Полиэтиконическая скульптура из верхнепалеолитической стоянки Костенки I	135
Г. Ф. Коробкова (Ленинград). Результаты бинокулярного исследования мергеля из верхнепалеолитической стоянки Костенки I	142
И. К. Федорова (Ленинград). О десяти числительных рапануйского языка (Из словаря Агуэры)	144

Поиски, факты, гипотезы

Н. Р. Гусева (Москва). Течет Джамна (Очерк народного индуизма)	147
--	-----

Научная жизнь

Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков (Москва). Всесоюзное совещание «Личное имя»	158
Л. Х. Феоктистова (Москва). Десятая научная конференция Государственного этнографического музея Эстонской ССР	160
Г. И. Анохин (Москва). Четвертая всесоюзная конференция по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии	162

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

Л. А. Анохина, В. Ю. Крупянская, М. Н. Шмелева (Москва). Русское крестьянство в освещении американских этнографов	164
---	-----

Общая этнография

А. И. Лазарев (Челябинск) В. Е. Гусев. Эстетика фольклора 172

Народы СССР

А. А. Лебедева (Москва). Е. П. Бусыгин. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры XIX—начала XX в. 174

Народы зарубежной Европы

Л. Г. Барат (Уфа). *Gerhardt Heilfurt* unter Mitarbeit von *Ina-Maria Gevers*. Bergbau und Bergman in deutschsprachigen Sagenüberlieferung Mitteleuropas. Band I—Quellen 177

Народы зарубежной Азии

Н. А. Бутин (Ленинград). *Lidio Cipriani*. The Andaman Islanders 179

Народы Африки

Л. А. Фадеев (Москва). *Henri Raulin*. La dynamique des techniques agraires en Afrique tropicale du nord 180

Народы Америки

В. Л. Афанасьев (Ленинград). Культура и быт народов Америки. Сборник Музея антропологии и этнографии, вып. XXIV 181

Георгий Францевич Дебец 184

На первой странице обложки: японские девушки на улицах Токио (фото Н. А. Бутинова)

SOMMAIRE

Yu. P. Averkiéva, S. A. Aroutiounov, Yu. V. Bromley (Moscou). VIII Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques	3
V. P. Aléxiéiev (Moscou). Sur la différenciation raciale primitive de l'humanité. Foyers primordiaux de la constitution de races	12
L. B. Zassédattéliéva (Moscou). Evolution de la communauté chez les cosaques de Terek aux XIVe—XIXe siècles (du hameau libre à la propriété privée)	25
P. G. Chiryaieva (Léningrad). Particularités de poétique et traits spécifiques de genre des chansons de la classe ouvrière russe de la période d'avant Octobre	37
G. V. Jirnova (Moscou). Cérémonie de nocés urbaine russe de la fin XIXe—début XXe siècles	48
Yu. V. Bromley, M. S. Kachouba (Moscou). Quelques aspects des processus ethniques actuels en Yougoslavie	59
T. A. Koléva (Sofia). De certains problèmes de l'évolution des rites (d'après le matériel bulgare)	68
Yu. A. Motchanov (Yakoutsck). Les étapes les plus reculées du peuplement de l'Asie du Nord-Est et de l'Alaska (du problème de la migration primitive de l'Homme en Amérique)	79

Discussions et délibérations

Yu. A. Savvatéiev (Pétrozavodsk). Les pétroglyphes de Carélie et l'art rupestre de la région forestière de l'Europe	87
V. V. Sédov (Moscou). De nouveau sur l'origine des Biélorusses	105

Peuples du monde

Matériaux d'information

S. Peerthum (Port-Louis). Maurice — l'état nouveaux indépendant de l'Afrique	122
--	-----

Communications

N. I. Kaplan, V. A. Baradouline (Moscou). Industries artistiques populaires yakoutes (d'après les matériaux de la mission en R. S. S. A. de Yakoutie en 1967)	129
E. Ye. Fradkine (Léningrad). Sculptures polyeïconiques provenant du site paléolithique de Kostenki I	135
G. F. Korobkova (Léningrad). Les résultats d'une étude binoculaire des marnes du site de Kostenki I	142
I. K. Fiodorova (Léningrad). De dix numératifs de la langue de Rapa-Nui (du vocabulaire d'Aguera)	144

Recherches, faits, hypothèses

N. R. Gousseva (Moscou). Et le Djamna coule	147
---	-----

Vie scientifique

R. Kh. Djarylgassinova, M. V. Krioukov (Moscou). «Le nom personnel» conférence nationale	158
L. H. Féoktistova (Moscou). A la conférence scientifique de Tartu	160
G. I. Anokhine (Moscou). IV-ème conférence nationale pour l'histoire, l'économie, les langues et la littérature des pays scandinaves et de la Finlande	162

Critique. Bibliographie

Articles et aperçus critiques

L. A. Anokhina, V. Yu. Kroupianskaya, M. N. Chméliova (Moscou). Paysannerie russe à la lumière des ethnologues américains	164
---	-----

Ethnographie générale

A. I. Lazarev (Tcheljabinsk). V. E. Goussev. L'esthétique du folklore	172
---	-----

Peuples de l'U. R. S. S.

A. A. Lébédieva (Moscou). Ye. P. Boussyguine. Population rurale russe de la région de Volga moyenne. Etude historico-ethnographique de la culture matérielle du XIXe—début XXe siècles	174
--	-----

Peuples de l'Europe étrangère

L. G. Barag (Oufa). Gerhardt Heilfurt unter Mitarbeit von Ina-Maria Geverrus. Bergbau und Bergmann in deutschsprachigen Sagenüberlieferung Mitteleuropas	177
--	-----

Peuples de l'Asie étrangère

N. A. Boutinov (Léningrad). L. Cipriani. The Andaman Islanders	179
--	-----

Peuples de l'Afrique

L. A. Fadéïév (Moscou). H. Raulin. La dynamique des techniques agraires en Afrique Tropicale du nord	180
--	-----

Peuples de l'Amérique

V. L. Afanassiév (Léningrad). Culture et modes de vie des peuples, l'Amérique	181
---	-----

G. F. Debetz	184
--------------	-----

Sur la couverture: Les jeunes filles japonaises dans les rues de Tokio (Photo par N. A. Boutinov)

Технический редактор *Е. И. Гришина*

Сдано в набор 15/XI-1968 г.	Т-00387	Подписано к печати 12/II-1969 г.	Тираж 2185 экз.
Зак. 5439	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Усл. печ. л. 16,8	Бум. л. 6
			Уч.-изд. листов 18,6

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно, в готовом для печати виде, подписанные автором. И текст, и ссылки обязательно должны быть напечатаны на машинке с одной стороны листа через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, служебный и домашний телефоны.

2. Объем статей не должен превышать 24 стр., рецензий — 8—10 стр. К статьям должно быть приложено краткое резюме ($1/4$ — $1/2$ стр.).

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Ссылки помещаются внизу страницы, нумерация ссылок сплошная по всей статье.

4. Порядок ссылок на монографии: инициалы и фамилия автора, название работы (без кавычек), место и год издания, страница.

5. Порядок ссылок на статьи в журналах и сборниках: инициалы и фамилия автора, название работы (без кавычек), название журнала или сборника (в кавычках), год издания, том, выпуск или номер, страница. Все названия журналов и сборников давать без сокращений.

6. Помещенные в одной сноске ссылки на различные работы разделяются точкой с запятой.

7. Классики марксизма-ленинизма цитируются по последнему изданию.

8. Если в статье имеется несколько ссылок на одну и ту же работу, то во всех случаях, кроме первого, после фамилии автора надо писать: Указ. раб. Если в статье имеются ссылки на несколько работ одного автора, то во всех повторных ссылках надо после фамилии автора давать полное название работы без выходных данных.

9. Иллюстрации принимаются только в пригодном для воспроизведения виде (фото — контрастное на белой глянцевой бумаге, рисунки — тушью) в двух экземплярах. На обороте каждой иллюстрации должны быть указаны (мягким простым карандашом) фамилия автора и номер иллюстрации. Подписи под рисунками должны быть напечатаны на машинке на отдельной странице в двух экземплярах.

10. Требования, предъявляемые к картам: а) Карты, масштаба крупнее 1:10 000 000, должны быть составлены на новой основе. б) Географическая нагрузка карты должна быть согласована с картой масштаба 1:2,5 000 000 издания 1964 г. в) Все элементы карты должны быть рассчитаны на возможность издания ее в черно-белом цвете. г) Общий размер карты при возможном уменьшении не должен превышать разворота журнала.

Цена 1 р. 80 к.

Индекс 70845